

ГРИШ ВИЦОВ



ТЕШО ОЧАГА



ПОВИНИИ-СОВРЕМЕННИКИ

---

Гриш Бицоев

# Тепло очага

Повести  
и рассказы

*Перевод с осетинского*  
**Р. ТОТРОВА**

«Современник»  
Москва  
1974

С(Кав)  
Б66

**Бицоев Гриш.**

**Б66** Тепло очага. Повести и рассказы. Пер. с осетип.  
М., «Современник», 1974.

255 с., (Новпки «Современника»).

В вып. дан авт.: Бицоев Григорий Харитонович.

Повести и рассказы, входящие в этот сборник, поднимают тему высокой нравственной и гражданской ответственности человека перед обществом, перед современниками. Насыщенная богатыми россыпями осетинского фольклора и метким юмором, проза Г. Бицоева глубоко национальна и по-настоящему лирична.

Б 70303—220  
М106(03)—74 31Р—74

С(Кав)

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВРЕМЕННОК», 1974 г.

## Земля пребудет вовекИ

Была осень. был тихий, ласковый сентябрь в Осетии.

Мы стояли в городском парке у бурлящего водопада, и Гриш Бицоев рассказывал. Он вспоминал о своем детстве, о военных и послевоенных годах, и рассказ его был насыщен точными деталями, впечатляющими образами — всем, чем богата проза этого писателя. Рассказывал, как семья его переселилась вскоре после войны из родного села в другое, где и дом был получше, и жизнь посытнее. Но тоска по родному очагу оказалась сильнее сытости — семья вернулась обратно, в родное село. Подробности этой истории забылись, но конец ее я помню, будто слышал вчера, так органично сливается он с моим представлением о творчестве Гриша Бицоева... Когда впереди замаячили черепичные крыши первых домов, бабушка попросила остановить арбу, сошла на обочину, опустилась на колени, припала к земле родного села, той земле, с которой начинается понятие о Родине, стране, планете...

Я думаю о людях, с которыми познакомился по произведениям Гриша Бицоева. Время, сместившись, напряженно пульсирует, отсчитывая минуты, дни, недели Отечественной войны, и возникают лица крестьян, оставивших свое поле, чтобы защищать землю всей страны, возникают сумрачные улицы прифронтового села, жители которого — женщины и старики — думали о том, что наступает весна и нужно исполнить свой долг перед землей, вспахать и засеять ее. И неизвестно, как сложатся их собственные судьбы, но земля —

святых святых — пребудет вовеки. И жизнь человека обретает высокий смысл, и гибель его не может быть напрасной, и поле, жаждущее семян, получит их и сторицей воздаст сеятелю.

Долг перед землей — это и есть, пожалуй, та главная идея, которая скрепляет все творчество Гриша Бицоева, имеющего свою тему и верного ей. И я рад, что книга писателя, известного в Осетии, предстанет перед строгим судом всесоюзного читателя.

*Руслан Тогров*

---

**Повести**



## Тепло очага

### 1

Когда начали рыть окоп, Госка сказала:

— Сами себе могилы роем... И закапывать не придется, бомба засыпет.

— Страшное время, — вздохнула Маро. — Прячемся в землю, поближе к покойникам.

— А что нам еще остается? — шуная острем лопаты землю под тутовым деревом, проговорил Дзиппа. Ему хотелось и убежище устроить в тени, под густой кроной, и корни тутовника не повредить. — Мы — дети земли. Она нас кормит, она и от смерти уберезет. — Он улыбнулся. — Правильно я говорю, Серафима?

Слова женщины были так же безрадостны, как и вчера, когда они копали убежище во дворе Маро. Особенно у Госка. Все знают, что война не один еще светлый очаг погасит, но зачем твердить об этом все время? Речи Маро не так угнетали Серафиму, потому что в них были и злость, и угроза. В голосе же Госка звучали только слезы.

— Когда мы строили на берегу Терека оборонительный рубеж, полковник сказал нам, что каждый трудоспособный человек сейчас — солдат, — решила подбодрить женщину Серафима. — А солдат выкапывает столько окопов, сколько раз ему приходится целиться в неприятеля...

Дзиппа наметил границы убежища и первым взялся за работу.

— Солдаты бызуют и рядовые, и генералы, — улыбнулся он. — Форма рядового была бы к лицу Госка. Может, и мне выдали бы какой-нибудь поношенный мундир. Но тебе, Серафима, и Маро обязательно присвоили бы звание позыше. Тебе — сержанта, а Маро потянет, пожалуй, на старшину...

— О, господи, как жестоко ты нас наказываешь,— горестно вздохнула Госка.— Земля вся в ранах, кровоточит...

— Что за чума?! Что за холера?! — ругалась Маро.— И огонь не может их остановить, и железо... Пусть бог проклянет их навеки!

— Плохой человек и плохая погода долго не держатся,— сказал Дзиппа.— Не зря говорят: кто слишком старался, без ничего остался...

Старого Дзиппа Серафима помнит с тех пор, как помнит себя. От отца и от матери она привыкла слышать о нем только хорошее. А когда подросла, и сама поняла, что с таким соседом и жизнь кажется краше.

Однажды отец послал Серафиму с каким-то поручением к Дзиппа. Девочке не хотелось идти — она побаивалась хмурой, неприветливой жены соседа. Серафима робко отворила калитку, прошла через двор, поднялась на крыльцо, постучала. Никто не отозвался, и тогда девочка открыла дверь... Дзиппа спал, широко раскинувшись на кровати, мерно и глубоко дыша. Он спал так сладко, что ей стало жаль будить его. Постояв немного, Серафима на цыпочках двинулась обратно. Вдруг что-то мягкое ткнулось ей в спину и шлепнулось на пол. Обернувшись, девочка увидела белоснежную подушку у своих ног и услышала негромкий смех. Это смеялся Дзиппа — она встретила с его лукавым взглядом, и столько доброты было в его глазах, что он навсегда покорила сердце девочки.

В детстве Серафима частенько прибегала на ферму, помогала матери выгребать павоз, когда его вывозили на поля, и доить коров. Девочка часто встречала там Дзиппа. Однажды вечером, когда солнце уже садилось за горы, на ферме поднялся переполох. И сторож, и пастухи-мальчишки, и доярки — все бросились прятаться в дом, в котором они и обедали и ночевали. Кто-то, схватив за руку Серафиму, потащил ее за собой.

— Домбай идет! — слышались крики.— Домбай!

Во дворе остался только Дзиппа. Он смотрел на ворота, к которым приближалось стадо коров. Впереди, тяжело сопя и кося по сторонам налитыми кровью глазами, шагал черный, широколобый, похожий на скалу бугай.

Серафима похолодела от страха. Бросившись к матери, она стала просить ее: «Скорее! Пусть он убегает! Крикли ему — пусть бежит сюда!» Девочка вспомнила трагическую смерть мужа Маро. Как-то раз бугай, застав его во

дворе, поднял на рога и швырнул так, что тот пролетел несколько метров. Беднягу даже не довели до больницы, он скончался в пути. Люди говорили: «Раны бы на нем зажили, не смертельные были раны... От страха дух испустил».

Дзиппа же сам пошел навстречу быку. Старик был невысок ростом и неширок в плечах, Домбай возвышался над ним, как утес.

Серафима, дрожа от страха, спряталась за спину Госка. Выглянув, девочка увидела такое, что от удивления застыла на месте. Дзиппа, похлопывая быка по шее, вел его в хлев, а тот послушно шагал рядом и, ласкаясь, легонько подталкивал старика коротким тупым рогом.

И зарезали Домбая тоже с помощью Дзиппа. Если бы не война, жить бы еще бугаю да жпть... Дзиппа в тот день куда-то исчез. Все оставшиеся в селе мужчины, а было-то их всего пятеро, пытались вывести из хлева быка, но тот никого к себе не подпустил. И тогда в поисках Дзиппа обегали все село, нашли и привезли старика на ферму. Бык доверчиво потянулся к нему.

— Идем, Домбай,— приговаривал Дзиппа,— идем...

Он похлопывал бугая по холке, шептал ему что-то ласковое, и Домбай лег на землю и позволил связать себе ноги. Дзиппа тут же ушел, чтобы не видеть, как быку пережгут горло...

Тогда-то Серафима и поняла, что о силе человека нельзя судить только по его росту.

Сейчас слова старого Дзиппа для Серафимы, как спокойный дом в мирное время...

...Маро работала сноровисто. Корни, которые нельзя было перерубить лопатой, она рассекала топором: земля так и летела от ее лопаты. Когда окоп вырыли на четверть, Госка отошла в сторону, оперлась на черенок лопаты и с трудом выпрямилась. А в движениях Маро все не чувствовалось усталости. Серафима загляделась на ее руки — сильные, как у мужчины. Девушка не раз слышала об этих руках, но в работе их видела впервые. Эти непомерно длинные руки заметили еще на жатве. Серп Маро сверкал как молодой месяц: говорят, она сама заказала его кузнецу. Хватить таким серпом раз-другой — и споп готов. Все у Маро было особенное: и споп тяжелее обычного, и миску се шутя называли котлом, а ложку — ковшом...

— Уберегут ли нас эти ямы? — сомневалась Госка.—  
А если бомба свалится прямо сюда, на нашу голову?

— Бомбу с глазами пока еще не придумали, — сказала Маро, — а простая не различит твою голову среди других!

— Окоп накроем пружинной сеткой от кровати, и бомбы будут отскакивать в сторону, — улыбнулся Дзиппа.— Легкие отскочат, а тяжелые они на нас тратить не станут. Не такие уж они богатые!

Когда поговорили о бомбах, Госка ушла в дом, чтобы приготовить обед. В яме теперь стало тесно, и копали по очереди. Копали, пока не дошли до каменистого слоя.

— Без кирки нам не обойтись, — сказал Дзиппа.

Он вытер рукавом пот со лба и пошел через огород к своему дому.

— Я сбегаю! — бросилась вслед за ним Серафима.

— Нет, нет, — обернувшись, замахал рукой старик.— И кирку возьму и заодно на свою старуху взгляну...

Когда Дзиппа скрылся, Маро вздохнула:

— Не нужно было его отпускать. Ему неудобно, что на стол не ляжет кусок хлеба, принесенный из его дома... А его жена, эта скряга чертова, опять спрячет руки под передником — ничего, мол, в доме нет. Господи, и как он терпит ее! Из-за скупости ее всю жизнь ходит, опустив голову, людей стыдится...

Дзиппа вернулся, принес кирку и лом.

Кирка, высекая искры, дробила камни. То, что не брала кирка, ворочали ломом.

Серафима устала, руки ее онемели, на пальцах вздулись волдыри, но она не смела остановиться, отдохнуть хоть немного, потому что Маро должна была отдыхать раньше ее.

Кто сосчитает, сколько раз Серафима вонзила лопату в землю, сколько земли выбросила? Она, наверное, и шагов за всю свою жизнь столько не сделала.

Отяжелела земля, отяжелела... Потому, видно, что горем она полна, кровью напитана. Под Пятигорском ее даже кирка не брала, так она промерзла, но все равно — отогревали кострами и рыли. Руки коченели, холод, казалось, уже не умещался в теле, даже дыхание отдавало стужей, но люди работали, и Серафима работала... Пришлось испытать ей и тяжесть моздокской земли. Земля превратилась в камень, но и в этом камне, как трещины, прорезались окопы.

Земля Дзауджикау<sup>1</sup> оказалась не легче, нет, она была еще тяжелее, словно тяжесть гор вошла в нее.

Пламя войны коснулось и гор Осетии. Дальше враг не должен был пройти, и люди рыли окопы днем и в темную ночь. Рыли на берегу Терека, Ирафа, рыли возле родных сел.

Во двор, крадучись, вошла жена Дзиппа. Концы ее завязанного на лбу платка торчали, как рога. Она несла что-то, пряча под передником.

— Разве можно так рисковать? — встревожился Дзиппа. — Кто сейчас ходит среди бела дня по улице?

— А что, я по воздуху должна была пролететь? — сгрызнулась жена.

— Через огород, — сказал старик. Он улыбнулся ей. — Ты принесла нам поесть? Дай бог, чтобы твоя кладовая никогда не была пустой!..

В давний, голодный год колхозники работали в поле с ночевкой. Каждое утро им выдавали соевый хлеб, но и его не хватало. Кое-кто прихватывал кукурузные чуреки из дому... Жена Дзиппа почти не притрагивалась к своим порциям хлеба, складывала куски в маленький мешочек. Хлеб высыхал, черствел, а мешочек, висевший в изголовье ее топчана, толстел. Маро умоляла женщину: «Дай нам по куску, в рай попадешь». Жена Дзиппа поворачивалась к ней спиной и ворчала: «Принесите из дома, раз вам не хватает». Говорила так, будто они из-за лени оставляли свой хлеб дома.

В ту осень собрали богатый урожай. Кукурузу, выдающую на трудодни, колхозникам во дворы бричками привозили, прямо на землю сгружали. В то время жена Дзиппа сильно болела, но никто из соседок не хотел навещать ее: «Пусть сама за собой ухаживает, кусочница». Госка упрекнула их: «И без того известно, какая она. Не ради нее, ради Дзиппа пужно сходить». И сердца соседок смягчились...

Жена Дзиппа вытащила сначала из-под передника небольшую медную кружку с аракой, поставила ее на скамейку, потом достала еще тарелку с тонкими лепешками и вареными яйцами.

— Что-то куры наши молчат, не хотят нестись, — помолчав, сказала она. — С каких пор эти яйца собираю. Чего не бывает, думала, вдруг бог кого-нибудь принесет...

<sup>1</sup> Старое название города Орджоникидзе.

— Наши куры раньше пели так: «Яйцо! Яйцо! Яйцо!» — улыбнулся Дзиппа. — «Для нас это мўка! Для хозяина — радость! Для гостя — угощение!» — Дзиппа подошел к скамейке, взял яйцо, подержал его в руке, стал чистить. — Теперь гости в наш дом не заглядывают, — продолжал он, — и наши заносчивые куры перестали нестись...

Серафима сбежала в дом, принесла стулья и еду, приготовленную Госка, наполнила маленький рог аракой, передала его старику, а для Маро налила маленькую рюмочку.

Случалось, Маро выпивала две-три рюмки араки. В праздники мужчины сажали ее за свой стол. Старики ходили к ней за советом...

— Ну, дай бог, чтобы труд наш оказался ненужным и чтобы нашим солдатам не пришлось сидеть в окопах, которые выкопали вокруг села. Пусть таково будет желание всевышнего! — Старик снял мятую войлочную шляпу, посмотрел на рог, поднятый выше головы. — Пусть наши воины вернутся поскорее и разрушат эти окопы своими собственными руками! — Дзиппа улыбнулся Серафиме: — Скажи «аммен», мое солнышко, ты для нас вместо наших парней.

— Аммен! — сказала Серафима.

— Пусть благословит тебя бог, Маро, — сказал Дзиппа, чокнулся с ней и поднес свой рог к губам.

Маро опустила рюмку на колени, уставилась в землю. Вспомнила, наверное, своего единственного сына. Привиделось ей, быть может, как он с тяжелым возом дров въезжает во двор или как роет окоп. Серафима верила, что перед глазами Маро предстанет и Канамаг, племянник этой сильной, доброй женщины...

— О, Уастырджиг<sup>1</sup>, покровитель мужчин, пусть наши усталые путники будут твоими гостями! Укрой и обогрей их! — Маро подняла голову, и глаза ее сверкнули. — А те, кто зарится на чужое добро, пусть погибнут от ножей своих же сородичей! Пусть перебьют друг друга!

Госка все молчала, а когда гости разошлись, сказала, будто думая вслух:

— Они там в огне горят, грудь свою пулям подставляют, а мы убежище себе роим... Нет, ни за что я туда не полезу!

---

<sup>1</sup> Уастырджиг — один из богов в осетинской мифологии.

Война была еще далеко, но грохот ее уже докатился до села.

Рано утром женщины, ходившие за водой, видели, как, выйдя из лесу, шли по дороге солдаты.

Серафима застыла на месте с полными ведрами в руках. У каждого солдата висел за спиной вещмешок, скрученная в хомут шинель, торчал над плечом штык, и все это делало их неразличимо похожими друг на друга. Вот они приблизились настолько, что можно было увидеть, как кто-то из них хромот, у кого-то обвязана белым голова. Серафима почувствовала, как часто забилося ее сердце. Каждый из этих солдат мог броситься к ней, придерживая рукой приклад винтовки: каждый из них мог оказаться ее отцом или братом, это мог быть Канагат или сосед Кайти...

Солдаты ушли в сторону мельницы, и Серафима, проводив их взглядом, двинулась к селу.

Сколько деревьев было в том лесу, столько штыков мелькнуло перед глазами девушки, и каждый солдат, глядя на село, думал о родном доме, о домашней еде, о сухих портянках, о сладком, беззаботном, как в детстве, сне...

Войдя во двор, Серафима услышала знакомое гудение и, не глядя в небо, поняла, что это снова тот самолет, похожий на оконную раму. «Рама» оказалась выше того места, где Госка, приставив ладонь козырьком ко лбу, обычно замечала ястреба, готового обрушиться на ее дыплат. Полет «рамы» был спокойным и уверенным. Она и до этого не раз появлялась над селом, кружила, сколько хотела, и люди говорили: «Она видит дальше орла и все, что видит, фотографирует, не спрячешься от нее ни под водой, ни под землей».

Перед самым носом «рамы» возникло, распустилось, как одуванчик, белое облачко, и в тот же миг Серафима услышала глухой взрыв. Одуванчики один за другим вырастали возле самолета, но тот летел себе целый и невредимый.

«Рама» скрылась из виду, но ее монотонное гудение все еще доносилось до ушей Серафимы. Девушку била дрожь, будто она вдруг очутилась зимой в нетопленном доме; казалось, она сохла вся, увяла, как стебель подсолнуха поздней осенью. Хоть бы заняла ее Госка работой, хоть бы поговорили о чем-нибудь, что-то вспомнили.

Но у Госка были свои заботы. Она, склонившись над ка-

душкой, перемешивала рукой араккаг<sup>1</sup>, заквашенный совсем недавно.

Серафима не разрешала матери гнать араку. В подвале у них припрятана столитровая бочка. Она была полна, но в тот день, когда отец и брат Серафимы уходили на фронт, бочку откупорили, и теперь матери кажется, что араки осталось мало, а время тревожное — может прийти в дом хорошая весть, может и плохая, и тогда без араки не обойтись.

Серафима подметала в комнатах, и веник едва не валялся из ее рук. Девушка думала о самолете, об этой «раме». Каждый раз она уходит невредимой, и все знают — теперь жди беды.

Прямо над их домом небо раскололось на две половины. Черный «мессершмитт» вынырнул из облаков, и нельзя было остановить его, как нельзя остановить удар ножом, направленный в спину. Серафиме не хватало смелости взглянуть на жалкое небо — свастику, похожую на паука, она представляла себе даже с закрытыми глазами. «Мессершмитт» пролетел так низко, что чуть было не коснулся верхушек тополей на соседней улице. Казалось, самолет оставил за собой не пронзительный свист, а висящий вниз острием нож.

Времени на размышление не оставалось. Думать можно было раньше, когда сосед Дзинца, Маро и Серафима выбрасывали из могильной глубины тяжелые камни, когда было время и пот отереть со лба, и шуткой перекинуться.

Серафима сама не заметила, как оказалась возле матери.

В глазах Госка было такое спокойствие, будто о войне она и слыхом не слыхала. Но Серафиму не обманешь — каждую ночь мать молится о муже и о сыне.

— Что ты стоишь?! Бежим в окоп! — задыхаясь, крикнула девушка.

Слова эти никак не подействовали на Госка. Она неторопливо выпрямилась и повернулась к дочери, казалось, за эти мгновения можно было успеть вернуться из дальнего путешествия.

— Не пугайся больше, чем следует, — спокойно проговорила Госка.

Какие мысли занимали ее сейчас? Госка вспоминала давние мирные дни...

<sup>1</sup> А р а к к а г — масса, из которой гонят араку.

Вот у плетеных ворот очищенный от коры пивовый пень. На нем сидят рядышком отец Серафимы и Госка. Отец только что вернулся из гостей и позвал через плетень жену. Та ничем не выдала нетерпения, с которым ждала его. Ей неловко сидеть рядом с мужем, так не положено, по радостно от того, что он позвал ее. Госка, смущаясь, слушает.

— Знаешь, что я собираюсь сказать тебе? Можно обойти всю Осетию, но такой, как ты, не найдешь. Любое дело тебе под силу... Возьмись-ка ты за сына. Медлить с его свадьбой больше нельзя... Пусть и в нашем дворе заиграет гармошка. Пока я совсем еще не состарился, станцюю для тебя на посах...

— Разве ты не видела, как он низко пролетел? — тревожилась Серафима.

Госка вернулась из вчерашнего светлого дня в сегодняшний.

— Солдат в селе уже нет, — сказала она, — ушли солдаты... А мы на что ему сдались?

— А если он начнет бомбить?

— Кого же он будет бомбить? — усмехнулась Госка. — У нас тут кроме чапельника ничего нет.

Она снова погрузила руки в аракаг.

Ей все еще не хотелось возвращаться в сегодня. И виделось ей — радостью наполнен их двор, такой большой радостью, что ей и в трех дворах не уместиться. Празднично убраны комнаты и кухни соседок, которые пекут свадебные пироги... Лучшие парни села ведут невесту под руки. Она пока еще не знает, как ступить ей по этому двору, как войти в этот дом. Шаги ее осторожны, словно она боится споткнуться...

Звучит громкая песня:

Ой, ой, счастье с собой она вам несет!..

Песня и гармошка ведут невесту к старшим, к Госка...

А Серафиме ничего больше не осталось на этой земле, только нож, висящий острием вниз и готовый упасть в любую минуту.

Девушка слушала, слушала...

Где-то за селом, над обугленными стенами разрушенной фермы снова возник злобный гул. Время побежало, выплеснулось, как вода из опрокинутой чаши. Надо было что-то делать...

Серафима схватила мать за руку и не отпускала ее.

— Опять летит! Бежим! Я без тебя не пойду!

Небо лопнуло, разлетелось железными осколками...

Серафима потащила мать в убежище.

Теперь между ними и искалеченным небом было еще немного пространства. Серафима села, прислонившись спиной к стене и руками упираясь в пол. Земля приятно холодила руки, успокаивала. Девушка заметила, что сидит на соломе, и вспоминала как Дзиппа принес солому из сарая и сказал:

— Это вам вместо дивана...

Солома таила в себе едва ощутимую влагу и тепло, и страх Серафимы понемногу проходил.

— О, господи всеславный! — услышала она голос матери. — Возьми под свое крыло и защити тобою созданный народ! Услышь слова тех, кто честно жил на этой земле и не успел насытиться жизнью...

Слова будто склеивали трещины раненого неба. Слова вспыхивали искрами надежды, доносили до усталого солдата улыбку любимой девушки, слова становились броней для идущего в атаку, броней, которую пуля не берет...

По праздникам Госка пекла три пирога, складывала их в деревянной тарелке один на другой. Когда муж работал с ночевкой или праздник заставлял его в путь, Госка посылала за кем-нибудь из мужчин-соседей. Сама она никогда не брала в руки рог с аракой, чтобы произнести тост.

Теперь слова матери возвращали Серафиме свет дня.

Девушке не верилось, что будущее возможно, и мыслями она бежала в прошлое. Там была радость, бескрайний мир. Там она оставила тропы, по которым не успела набегаться вдоволь. Тогда она не знала, сколько ей лет — ее годы считали старшие. Старшие считали и годы соседского мальчика Кайти. Мать Кайти Уалпинка говорила:

— До пасхи оставалось еще три недели, когда родился Кайти.

Госка улыбалась:

— А у нас Серафима родилась, когда до пасхи оставалась неделя, а может, и еще меньше.

Между первой и второй пасхой было много месяцев, еще больше дней, и все это укладывалось в два года. Но ни Кайти, ни Серафима не задумывались о времени. Когда играли в лапту, никто не спрашивал, сколько тебе лет. Надо было уметь уворачиваться от мяча и быстро бегать...

Играли в прятки. Соседские мальчишки и девчонки.

Чем больше играющих, тем интересней игра. Каждое место, где кто-то прячется, — новая загадка. Пройти мимо этого места, значит быть обманутым. Сколько тайников найдешь, столько раз выиграешь. Все уже водили — кто два раза, кто три. Кайти же и Серафиме пока еще не пришлось жмуриться, считать громко, с паузами до ста, закрыв лицо кепкой, пропахшей потом. Мальчишки и девочки старались изо всех сил, чтобы Кайти и Серафима проиграли.

Все давно уже привыкли видеть их вместе, как выкают к двум колесам одной телеги.

Серафима ничего не знала и не понимала, пока не услышала однажды:

— Если бы не Кайти, рыбы Прафа давно бы съели тебя...

Эти слова ей сказала мать в присутствии Кайти, как бы сообщая самую приятную весть. Эти слова не раз еще говорили ей, и она привыкла к ним, как к звездам, которые зажигались по вечерам. Уалинка, встречая Серафиму, всегда вспоминала, как сын ее спас на реке девочку. Кайти стал самой светлой мечтой Серафимы. Кайти — дерево, Серафима — его тень...

— Такое место я нашел, что и за год нас не найдут, — шептал он девочке. Мальчик пылал огнем, ему хотелось скорее показать свой тайник. — Беги за мной и не оглядывайся...

Тот, чья очередь была жмуриться, считал во весь голос:

— Раз! Два! Три!..

Слова эти, словно камни величиной с кулак, летели, подгоняли прятавшихся.

Кайти бежал к дому Маро. Возле плетня он остановился, глянул назад:

— Быстрее!

— А если Маро застанет нас? — встревожилась Серафима.

— Давай, давай! Ее нет дома.

Если бы, перепрыгнув через плетень, они спрятались за сараем во дворе, их и тогда бы никто не нашел. Ребята не то что во двор, даже к тутовнику, росшему у ворот Маро, подойти боялись...

Маро следовало бы родиться мужчиной. Она была не по-женски крупна, голос гулкий, как эхо в горах, шаг длинной в сажень, а взгляд такой хмурый, будто она ни разу

не улыбнулась со дня рождения. Ласкового слова от нее никто никогда не слышал... Самым отчаянным из мальчишек удавалось иногда забраться на тутовник. Они надеялись, что хозяйки нет поблизости, но Маро появлялась, будто из-под земли. Никогда никого не ругала и поймать не старалась, но второй раз лезть на это дерево никому уже не хотелось...

Во дворе стоял стог сена. Как поставил его сын Маро, работавший чабаном, так он и стоял.

Кайти и Серафима залезли в сено, разгребли, растолкали его — получилось гнездо, в котором можно было даже сидеть. Девочке казалось, что шорох сена покрывает даже шум быстрого Ирафа, и она спросила:

— Ее, правда, нет дома?

— А ты не видела, какой замок висит на двери?

— А если она в саду?

— Не бойся, — улыбнулся Кайти, — она на мельницу поехала, повезла пшеницу молоть.

Наверное, солнечные лучи тоже прятались в сене — так душно было в стогу. А запах мяты казался таким сладким, таким пьянящим...

Когда Серафима поверила наконец, что Маро нет дома и ничто не угрожает им, слышались крики ребят:

— Кайти! Серафима! Вы-хо-ди-те! Больше не играе-е-ем!

Кричали по одному, кричали хором. Крики становились все тише и тише. Наверное, ребята устали ждать их и ушли. В стогу было так тепло и тихо, как в сказочном доме. И Серафима уснула, опустив голову на плечо Кайти...

Враг сбросил бомбу на сладкий сон ребенка.

Серафима почувствовала, как закачалась земля. На голову посыпались комья, в глазах потемнело.

— Господи, помоги... Обрати его в прах. Пусть падет он на землю...

Должна была сверкнуть искра надежды, не мог же этот самолет творить зло безнаказанно.

Госка, стоя на коленях, истово молилась. Где она только брала слова для своей молитвы?

Опять содрогнулась земля. На этот раз бомба упала где-то совсем близко. Может, погас чей-то соседский очаг? Среде бела дня закатилось чье-то солнце...

Серафима думала, что Госка заплачет, запричитает, но мать спова была спокойна и молчалива.

— Они будто целились прямо в дом Маро,— сказала девушка.

— Зачем себя пугаешь? — пожала плечами Госка.— Упала, наверное, где-нибудь в саду или в огороде.

— Осколки ее далеко разлетаются, а Маро, может быть, не успела добежать до окна...

Мать резко оборвала ее:

— Тебе что, больше не о чем думать?! Те, у кого пища пропиталась пороховой гарью, кому и во сне слышится только свист пуль, разве им лучше?

Снова спасительные мысли прилетели к Серафиме из прошлого, принесли ей покой.

Тогда бы она не поверила, что небо может рваться, как старые лохмотья...

Звезды сияли в бескрайней выси. Кайти и Серафима возвращались из клуба домой. На душе у девушки было тревожно, смутно, как после экзамена, когда, сдав письменную работу, она вспомнила, что не исправила ошибку. «Почему не видно никого из соседей?» — думала Серафима, но ей было приятно, что они идут вдвоем по темной улице, задерживаясь у каждого ухаба.

— Что, никого из своих соседей не видишь? — будто читая ее мысли, усмехнулся Кайти.

Серафима смутилась, словно ее уличили в чем-то стыдном.

— Идем скорее, — промолвила она.

— Если хочешь, можем даже побежать, — сказал Кайти.

Он был не из тех, кого легко уговорить, и не раз подтверждал это.

Не дойдя до дома Серафимы, Кайти остановил девушку. Они стояли возле того самого тутовника у ворот Маро.

Дом Маро смотрел на улицу двумя окнами, словно двумя глазами. Сейчас ставни были плотно закрыты. «Будто веки опустились на глаза», — подумала Серафима. Ей казалось, что они стоят возле спящего.

— Пойдем на берег Ирафа, побудем там ровно столько, сколько требуется на то, чтобы наполнить два ведра водой, — попросил Кайти.

— Нет, нет, — испугалась девушка, — кто-нибудь из наших обязательно выйдет встречать меня.

Тропинка, ведущая к Ирафу, начиналась у ее ног и терялась где-то в темноте.

— Слышшь, как шумит река? Пойдем посмотрим, ты ведь никогда не видела ее ночью...

Слова Кайти оплетали Серафиму, от них кружилась голова, и девушка не заметила, как он взял ее за руку.

— Отпусти меня, — тихо сказала она, глядя в сторону Ирафа.

Там, где тропинка спускалась с отлогого берега к реке, появился человек, ярко освещенный лунным светом. Серафима, как завороченная, смотрела на него, потом разом оборвалось все, и последнее, что она помнила, были руки Кайти, обнявшие ее. Земля кружилась юлой, и в самом центре ее были Кайти и Серафима, как две пылающие головешки, упавшие друг на друга...

— Серафима! — наступ ее резкий окрик. Словно камень бросили в ярко освещенное окно.

Вдребезги разбилось чистое имя девушки.

Когда она, очутившись у себя в комнате, разделась и вырнула под одеяло, Госка вошла к ней, постояла молча, потом сказала:

— Что это за позднее такое кино? Что ты ответишь своему брату?

Стены комнаты остановились, не кружилась больше. Но лицо Серафимы горело, горели губы, уже не принадлежавшие ей, горели следы рук Кайти на спине и на шее. Сон и тревога вступили в единоборство. Сможет ли Серафима посмотреть матери в глаза, когда взойдет солнце и настанет новый день? Не завертится ли снова земля юлой, когда девушка будет проходить мимо тутовника Маро? Что скажет КанаMAT, гостящий у Маро, когда проснется утром и вспомнит ночную встречу? А это был именно он, КанаMAT, никто, кроме него, не ходит так поздно купаться... Нет, Серафима не дойдет до школы, потому что не только у девочек девятого класса, но и у десятиклассниц не было ничего подобного...

На воспоминания девушки сбросили бомбу.

Когда рыли убежище, ни Дзиппа, ни Маро не знали, что бомба весит столько же, сколько сама земля. Знай они об этом, паверное, и окоп рыли бы поглубже, и потолок настилали попрочнее.

Серафима ждала, верила: в небе должны появиться тупоносые истребители. На коротких крыльях — звезды. Свастике не останется места в вышине, загорится черная свастика и рухнет на землю.

Земля еще не остыла от взрыва последней бомбы, а Госка уже волновалась:

— Пойду-ка я посмотрю на араккаг. И в прошлый раз он пропал у меня во время бомбежки.

### 3

В эту осень по дворам не развозили зерно, выданное на трудодни. Не виднелись за плетнями острые верхушки стогов, на столбах, подпирающих навесы веранд, не висели ярко-красные стручки перца.

Сколько птицы и скота бывало каждой осенью в хозяйстве Госка! А выйдешь со двора на улицу, и сердце радуется при виде колхозного стада, пасущегося на зеленом берегу Ирафа. Сколько уток и гусей белело в тихих заводях реки!.. Есть и сейчас коровы на колхозной ферме, но теперь и две доярки успевают их подоить, а пасет всего лишь один пастух...

Серафима беспокоилась — Госка давно ушла на ферму, уже проехал мимо их дома молоковоз с закрытыми наглухо бидонами, а матери все нет и нет. «Может, какая-нибудь корова заболела, — подумала девушка, — и они готовят ей лекарство?» Теперь доярки сами лечат коров — ветеринары на фронте.

Серафима долго стояла возле своих ворот, смотрела в сторону фермы и ни души не видела на дороге, на всем ее протяжении.

Девушка вернулась во двор. Остановилась под абрикосовым деревом. Листья лежали на земле, как зерно, рассыпанное для просушки. Двор казался неуютным, заброшенным.

Серафима нагнулась, подняла лист, другой — золотистый, желтый, багряный.

Бывало, деревья ломились под тяжестью мокрого снега, а девушка сидела за столом в теплой комнате, листала книги, находила между страницами сухие листья, и дом наполнялся мягкими красками осени.

Подбирая по дороге листья, она неторопливо двигалась к дому, поднялась на крыльцо, вошла.

Две железные кровати (спинки их в этом году не красились) стояли в противоположных углах комнаты. Постели были покрыты красным сатином, а поверх сатина — узорчатым тюлем, наволочки на подушках были расшиты бледно-розовой шерстяной нитью.

Между окнами, выходящими на улицу, на стене висело круглое зеркало размером с ту деревянную тарелку, в которую Госка складывала пироги. Зеркало купил отец, когда Серафимы еще и на свете не было... Чтобы посмотреться в него, надо было стать так, чтобы видеть себя точно в середине зеркала. Иначе либо нос искривится, либо подбородок вытянется, либо губы расплющатся. Зеркало стало таким с прошлой зимы, но ни Госка, ни Серафима не решались снять его... Под зеркалом, приткнувшись вплотную к стене, стоит стол с резными ножками. В семье его ценили особо — купили, когда родился брат Серафимы.

На столе — сложенные стопками книги. Каждая обернута в газету — это дело рук Серафимы. Госка не однажды напоминала, чтобы дочь спрятала книги куда-нибудь подалее, в безопасное место.

Соседи прятали фотографии ушедших на фронт, прятали треугольные письма, приносившие с войны скудные вести о родных, прятали праздничную одежду фронтовиков в такие дальние углы, куда и не доберешься сразу. И дома от этого становились темными, нежилыми будто.

Каждая из книг была для Серафимы дорогим воспоминанием. Каждая воскрешала какой-нибудь день ее жизни.

В пятом классе на уроке литературы учитель устроил соревнование: кто больше знает стихотворений Коста Хетагурова? Тогда-то и появилась у нее «Осетинская лира» Коста... Одним из первых библиотекарей села была тетка Серафимы. Даря девочке «Овода», она сказала торжественно: «В нашем селении никогда не было лучшей книги».

Канамат, племянник Маро, ни разу до этого не посмел взглянуть на Серафиму, но в тот день остановился перед ней и с трудом, словно ворочая огромную тяжесть, проговорил:

— Если ты не откажешься принять от меня этот подарок, жизнь моя будет светлей.

Он протянул ей бережно завернутую книгу. Дома Серафима развернула ее, прочла на обложке — «Герой нашего времени». С обратной стороны обложки было выведено ровными буквами: «Желаю тебе счастья, о котором ты и не мечтаешь»... В тот день Канамат ушел из села. Говорили, что в руке его был деревянный чемодан.

Слова, которые Канамат вывел на обратной стороне обложки, для Кайти оказались бы страшнее ножа, но у Серафимы все же не поднялась рука, чтобы стереть их. Если

бы Кайти увидел эту книгу — землю бы зубами грыз. Серафима ни разу не посмела возразить ему, словом на слово ответить и, конечно, молчала о Канамаате... Когда человек, освещенный лунным светом, шел со стороны Ирафа и почти поравнялся с ними, Серафима решила, что наутро из дома Маро выползут, вылетят черными воронами сплетни, и земля под ее ногами будет гореть всю жизнь. Каждый день, проходя мимо соседей, девушка будто по иголкам ступала, но сплетни так и не вылетели из этих окон, не выползли из дверей. Серафима стала замечать, что Канамаат избегает ее, прячет при встрече глаза. И, стыдясь и радуясь, она поняла — ее тайну он похоронил в себе.

Девушка брала со стола книги, листала их одну за другой, укладывала между страницами осенние листья.

Ей хотелось пайти подарок Канамата. С тех пор, как Кайти ушел на фронт, девушке некого было опасаться, и книга все время была под рукой. Никто из тех, кто мог бы взять ее, давно к ним не заглядывал. А Госка читать не умеет...

Серафима всполошилась. Не может быть, чтобы подарок Канамата пропал. Она заглянула за зеркало, перерыла ящики старого шкафа, побежала в другую комнату. Единственное укромное место, которое было там — это сундук. В сундуке лежали сапоги отца, праздничные туфли брата и разная мелочь, которую Госка пожалела выбросить.

Неожиданно в руках девушки оказался портфель из рябовато-коричневого дерматина. Ручка держалась только с одной стороны, замок давно поломался. Серафима была уверена, что этого портфеля нет уже и в помине.

— Какая ты хорошая, мама! — растроганно проговорила она. — А я всегда ругала тебя за то, что ты хранишь всякое старье.

Она вытерла подолом платья пыль с портфеля, соскоблила ногтем какое-то пятно...

Когда она пошла в первый класс, мать сшила ей сумку с короткими ручками. Зимой, когда мерзли руки, Серафима старалась засунуть сумку под платок, но тот был не слишком велик, и под ним никак не могли уместиться сразу обе руки и сумка. Тогда мать пришла к сумке такие тесемки, чтобы можно было носить ее за спиной.

Но мечта девочки — пройти по улице с настоящим портфелем — не угасала. Вслух она не могла сказать об этом, потому что брат ее учился уже в четвертом классе, но

и у него еще не было портфеля. Она терпела год, другой, третий... А когда перешла в шестой класс, подошла к матери и, всхлипывая, попросила: «Разрешите мне продать на базаре в Кадрабыныкау зеленую фасоль... Я хочу купить себе портфель». «Чтобы я не слышала об этом больше, — сурово глянула на нее мать. — Если слушать тебя, то можно разориться! Ты хочешь продать незрелую фасоль, а подумала ли ты о том, чем я набью ваши большие животы зимой?!»

Когда настала осень и начали убирать вьющуюся фасоль, Серафима попросила родителей: «Можно, я очищу жерди от плюща?» Жерди нужно было вытащить из земли и сложить до весны в сухом месте, но сначала очистить их, привести в порядок. Родители, обрадовавшись, переглянулись — вот и Серафима становится бережливой, хозяйственной... А девочка, обдирая плющ, собрала заодно и те стручки, которые ускользнули от зоркого глаза матери, подобрала с земли осыпавшиеся бобы. Фасоли набралось немало, и Серафима, решившись, показала ее матери: «Добавь еще немного к этому, и я куплю себе портфель». Сердце матери смягчилось, и она не только фасоль дала, но и прибавила к ней еще с десятков яиц.

Серафима купила, наконец, портфель и почувствовала себя счастливой. Тревожил ее только брат. Малейшего повода ему было достаточно, чтобы придраться, накричать на сестру. И задумалась девочка — как пройдет она с портфелем по улице? Как укроется от глаз брата? Портфель стал большой тайной Серафимы. Она нашла кусок рюда величиной с козынку, заворачивала в него портфель и старалась выйти из дому чуть раньше или чуть позже брата. Уроки у Серафимы кончались обычно раньше, и девочка, помахивая портфелем, гордо шагала по улице.

Зимой прятать портфель стало труднее, приходилось хитрить, изворачиваться, и, в конце концов, брат узнал про портфель. Серафима навсегда запомнила тот день... Брат налетел на нее: «Откуда у тебя это?!» Она крепко держала портфель за ручку, а он тянул его к себе, и ручка, не выдержав, оторвалась... Мать разняла детей, отобрала портфель и спрятала его...

Серафима улыбалась своим мыслям. «Когда вернется, — думала она о брате, — покажу ему портфель, сядем, вспомним детство»...

Глянув в окно, девушка увидела мать. Остановившись

у ворот, та сбросила с плечей тяжелую вязанку хвороста. Серафима вскочила и выбежала на улицу.

— Не удержалась я,— сказала Госка,— собрала в лесу...

Платок ее сполз на затылок, но она не замечала этого.

— Опять одна побежала в лес,— проворчала Серафима.— И завтра ведь будет день, и тоже нужны будут силы, чтобы стоять на ногах.

— Не захотелось возвращаться с пустыми руками...

— Вот возьму и выброшу все в Ираф! — Серафима подняла вязанку и понесла во двор.— Будто больше других нам нужно.

Госка, идущая следом, отвечала:

— Бог не даст всем погибнуть в один час, а зима уже на носу. Вдруг она будет суровая...

Девушка развязала вязанку, сложила хворост в сарай. «Надо бы накормить мать,— подумала она.— И огонь в печи разжечь»... Но когда вошла в дом, Госка уже достала кусок холодного картовджина<sup>1</sup> из шкафа и налила в кружку сыворотку.

Потом мать легла на тахту, вытянулась, кряхтя и охая, и Серафима ушла в другую комнату, чтобы дать ей отдохнуть. И только девушка подумала, что мать, устав, наверное, крепко спит, как услышала со двора ее голос:

— Дочка! Где ты?

Серафима глянула в окно. Госка вынесла из сарая две лопаты и пошла к палисаднику, сказав на ходу:

— Надень старые чувяки и приходи в маленький огород!

Маленький огород, обнесенный плетнем, накрытый обычно соломой, был сразу же за задней стеной дома. В плетне еще были целы все хворостины, а солому давно уже съели голодные коровы. Фруктовые деревья, посаженные отцом и братом Серафимы, дали в этом году первый урожай. Отец и брат любили свой сад и, будь они здесь сейчас, долго стояли бы под деревьями, разглядывая каждую веточку и тихо, неторопливо разговаривая.

К приходу дочери Госка уже успела поработать.

— Закопаем немного картошки в землю. Рано еще, но что поделаешь? Кто-то останется жить, и от него весной земля будет ждать семян...

---

<sup>1</sup> Картовджин — пирог с картофелем и сыром.

Раньше, пока от верхнего конца села до берега Ирафа не был вырыт противотанковый ров глубиной в два метра, пока на той стороне реки не поставили в три ряда столбы с колючей проволокой, пока зигзагообразные окопы не расплозились по лугам, слова Госка еще имели какой-то смысл...

— Поторапливайся, как можешь, мое солнышко. Воя, выбрось лопатой землю, — мать торопилась, будто засиделась без дела. — Вернувшись, наши мужчины не должны застать нас с пустыми руками...

Когда за селом, на берегу Ирафа, еще были целы длинные сараи колхозной фермы, когда их крыши не разобрали, чтобы накрыть дзоты, когда из села никто еще не собрался бежать, слова Госка еще можно было понять.

— Нельзя терять надежду, — бросала и бросала землю Госка.

Она говорила так громко, что ее могли услышать и в соседнем дворе. Говорила громко, будто жизнь не измерялась ближайшими днями, будто немецкий солдат еще не испил кавказской воды.

С улицы, через плетень, кто-то спросил:

— Что вы там роете?

Над голым забором показалась голова Уалинка. Можно было бы только кивнуть ей и снова взяться за работу, но Серафима подумала, что не видела Уалинка уже несколько дней и давно не заходила к ним. Сердце встрепенулось: полгода уже не было вестей от Кайти, и, может, наконец получили письмо, и Уалинка прибежала сообщить об этом?

— Кругом все горит адским огнем, а вы для кого-то запасы делаете... Пойдем-ка, Госка, надо идти к умершему...

Голова Уалинка до самых бровей закутана в платок, ее конопатое лицо очень бледно...

— Очаг мой погас! — лопата выпала из рук Госка. — Чей дом рухнул?

— Бедный Адаго скончался...

— Ай, Адаго, Адаго! И сыновей своих больше не увидит! — жалобным голосом проговорила Госка, и Серафима едва сдержала слезы.

Бомбы, сброшенные немцами, кому-то угодили в огород, где-то взорвались на улице. К Адаго же бомба попала прямо во двор. На беду свою старик оказался дома.

Нет больше Адаго, старика с шелковистой белой боро-

дой, нет тамады, произносящего хвалу всевышнему за праздничным столом.

Когда Уалинка и Госка уходили, соседка спросила Серафиму:

— Что это ты к нам не заходишь? И Дунекка никак не выберется из дома. Заглянула бы хоть к ней...

С верхнего конца села слышались причитания. Громкий крик сюда не донесся бы, а причитания были слышны.

«Каким дорогим стал человек, — думала Серафима. — До чего же мы бываем иногда равнодушными, как не умеем ценить друг друга!.. Кажется, это было в прошлом году. Адаго вез со двора правления мешок пшеницы на тележке. Серафима догнала его, и они потащили тележку вместе. На повороте девушка сказала старку: «Я помогу вам, провожу до самого дома». Адаго поблагодарил ее и сказал, что сам справится с тележкой. Серафима распрощалась с ним и пошла своей дорогой... И теперь, через год, она поняла, что долго будет помнить об этом и горько жалеть.

Она стояла и, отирая слезы, вспоминала Адаго. Благодаря таким, как он, множился фарн<sup>1</sup> села.

...В голодном году Адаго сторожил колхозные амбары. Многие завидовали его должности. Говорили: хоть початок в день принесет домой — и то прибыль. Пытались пробраться в амбары, но мимо зоркого сторожа не так-то просто было проскользнуть. Тогда решили взять старика хитростью. Достали крепкой араки и закуски. Как умел есть Адаго — знало все село. И вот однажды вечером заговорщики пришли к нему: порадуй нас, мол, окрыли своей песней. Полилась арака, и взлетела, воспарила песня. Каждая песня старика — сказание. Поведал Адаго о бедняке, который с гор на равнину приехал, чтобы купить немного хлеба для своих детей, поведал о том, как спесивые сыновья богатеев преградили ему путь. Оборвалась жизнь бедняка, но и он в долгу не остался... Начал Адаго со времен партов<sup>2</sup>, и забыли злоумышленники о своем деле, стали ему подпевать...

Серафима не могла больше работать. Она воткнула лопату в землю и пошла к дому. Остановилась. Стояла и смотрела рассеянно, как солнце садится за горы, и не понимала: зачем еще восходит оно? Зачем восходит, если не может согреть этот объятый холодом и страхом мир?

<sup>1</sup> Фарн — мир, спокойствие, пзобилле.

<sup>2</sup> Парты — мифические предки осетин.

Нелепо было стоять на месте, но еще труднее — взяться и сделать что-то. Поколебавшись, девушка решила: «Сбегаю-ка я к Дунекка, сходим вместе в дом к умершему. Станем у изголовья Адаго и наплачемся вдоволь».

Выйдя из ворот, Серафима встретила Маро.

— Девочка, дорогая моя, ты мне нужна.

Маро мало кого звала по имени.

— Тесно стало в этом мире, — сказала она. — Даже покойника не проводишь в последний путь, как положено. С околицы нас вернули... Черный ворон, принесший смерть Адаго, ушел невредимым, будь он проклят! — Маро присела на камень, лежавший у ворот, сунула длинную руку за пазуху черного платья, стиранного много раз и вылинявшего, и улыбнулась просительно. — Только я подумала зайти на почту, как встретила почтальона...

— Зайди в дом, Маро, — сказала Серафима.

— Не хочется мне в дом заходить...

— Тогда я вынесу стул.

— На стульях будем сидеть после войны.

Маро не умела говорить мягко. После ее слова пелегко было произнести что-то, ответить по достоинству. С хмурым взглядом выходила она из дома, и люди привыкли видеть эту суровость, потому что всю жизнь ее сопровождали горе и невзгоды. Маро стала такой, наверное, в тот день, когда ее похитили. Муж ее был старшим сыном в семье. Трусоватый, осторожный домосед. Давно миновала пора, когда ему положено было жениться, а он сидел себе спокойно и знать ничего не хотел. Обычай не позволял младшим братьям жениться раньше старшего, и нужно было что-то предпринять... Однажды мать его гостила в селе Маро, увидела девушку, и та ей приглянулась. Послали сватов, но отец Маро отправил их обратно. Тогда неугомонная мать позвала сыновей и сказала: «Пусть материнское молоко превратится для вас в яд, если вы не похитите эту девушку, потому что другая невестка мне не нужна»... Похитители взяли с собой мешок с мясом. На окраине села, в котором жила Маро, сняли колеса с арбы и понесли кузов на руках. Бесшумно внесли арбу во двор Маро. Собакам кусок за куском побросали мясо. Подперли кольями дверь той комнаты, в которой спал отец Маро. Схватили девушку, завернули в бурку и унесли... За похитителями погнались на бричке, но в перестрелке была ранена лошадь, и следовательно отстали...

Серафима знала мужа Маро. И телосложения он был нормального, и на здоровье не жаловался, но чего-то не хватало ему — какой-то жилы...

Работал он на ферме, пас телят. Этим от века занимались подростки, и заведующий как-то предложил: «Хочешь, сторожем тебя назначим?» Услышав это, муж Маро вскочил, перепуганный: «Ей-богу, не обманешь ты меня, не обманешь»...

Однажды мужу Маро поручили пасти дойных коров. Выгнал он их на луг, за реку, а к обеду река возьми да и выйди из берегов. Муж Маро поднял тревогу, закричал, замахал руками, стал звать на помощь. На ферме никого из мужчин в это время не было, и к реке побежали доярки.

— Пришел мой конец, Госка! — вопил с того берега пезадачливый пастух. — Спасайте меня, спасайте коров, иначе вода нас утащит!..

Все женщины были моложе Госка, стеснялись войти в воду — оголить при мужчине ноги. Госка перешла речку в платье. Завернула она коров, те нехотя вступили в бурную воду и двинулись вброд. Теченье было таким сильным, что коровы едва не падали с ног.

— Ой, утонут они! — причитал муж Маро. — Ой, утонут!..

Когда стадо переправилось, Госка отвернулась в сторону, подождала, пока пастух разделется, потом протянула ему руку. Так и вошли они в воду — Госка впереди, муж Маро — следом за ней. На том берегу доярки со смеху валялись на землю. А муж Маро бормотал:

— Прости меня, Госка... Ради бога, прости меня, если можешь...

Когда дошли до стремнины, Госка едва удерживала его руку в своей — так сильно он дрожал.

— Не отпускай меня, Госка! — умолял он. — Не бросай, прошу тебя! Не дай мне пропасть!..

Когда выбрались на берег, пастух снова запрычитал:

— Ой, конец мне, конец... Брюки мои там остались!

— Пусть за ними кто-нибудь другой сходит, — отмахнулась Госка.

— Ради бога, принеси мои брюки! Принеси...

Госка сняла с себя платок, через плечо передала его и сказала:

— На, укутайся пока. Сейчас пошлем к Маро кого-нибудь, принесут тебе штаны.

— Нет, нет, не говорите ей ничего! — взмолился па-  
стух. — Она не перенесет позора... Не перенесет...

Маро и сено сама косила, и дрова из лесу привозила. И, как вол, который всю жизнь тяжкие грузы тащит, ходила, глядя в землю. В день смерти мужа, она не пророчила ни слезинки, хоть женщины и подходили к ней, обнимали, как положено, говорили ей что-то жалостливое.

— Никого я не встретила, кто мог бы его прочесть, — говорила Маро, держа руку за пазухой. — По бумаге и по тому, как свернуто, вижу, что оно от Канамата.

Она вытащила письмо, но не торопилась передавать его, словно самого Канамата за руку держала.

Серафима едва сдерживалась. И она понимала сейчас, что никогда не была равнодушной к Канамату, что его нельзя забыть, как звезду, упавшую с неба и растаявшую вдали.

Письма с фронта — это опорные столбы, поддерживающие дома, это тепло, согревающее людей, это радость, заставляющая голодных забыть о пище... Почтальон редко стучался в ворота, от ожидания в глазах белело... И если письмо Канамата дошло до села, может быть, завтра придет весточка от отца Серафимы, от брата, от Кайти...

Учитель осетинского языка часто вызывал к доске Канамата. Буквы получались у мальчика нарядными, как празднично одетые пионеры, казалось, он не писал, а вырисовывал их. Сам же всегда был сдержанным, строгим. Ни слова лишнего, ни улыбки...

Она жадно вглядывалась в написанные карандашом строчки, и виделось ей — Канамат расстелил шинель, прилег, раскрыл книгу, и вспомнилось ему, наверное, как стоял он возле доски и весь класс слушал тихое постукивание мела, которым он писал...

Когда начинался урок, учитель превращался в охотника, высматривая в журнале очередную жертву. В эти тревожные мгновения Серафима удивлялась Канамату — тот сидел спокойно и ничуть не боялся, что вызовут именно его. Но и руку он никогда не тянул вверх, и девочка думала, что он не хочет лишней раз выходить к доске, выставлять напоказ разноцветные латки на штанах. Может, потому и смотрел он, стоя у доски, так, словно не видел никого в классе...

Серафима скользила взглядом по строчкам, и ей слышался, будто издалека, голос Канамата. Слова его — ше-

лест крыльев ночной птицы, шелест деревьев, растущих у крыльца.

Ей представилось, будто очутилась она рядом с Канама-том на поле боя. Буквально за секунду до того, как он сел за письмо, земля еще вздрагивала. Может, от взрывов, а может, от бпения множества сердец. Не сосчитать, сколько солдат, укрываясь, легло на землю, припало грудью к ней. А над солдатами — свист пуль и холод изрешеченного неба. Танки катились и катились, реки не удерживали их, деревья в лесу перед ними падали, скрежещущие гусеницы пережевывали холмы и равнины. Первый же танк должен был смять, раздавить солдата, и погасла бы алая звездочка на пилотке, но боец бросил в танк гранату, и железная громадина замерла, запылала жарким огнем...

И стало наконец тихо, и Канамат услышал слова, которые говорила ему Маро: «Сынок, в такое позднее время никто, кроме ведьмы, к реке не ходит».

Тогда Канамат не возразил тетке, по теперь он скажет ей: «Маро, прошу тебя, когда после ужина закроешь ставни, не заходи сразу в дом. Повернись лицом к Ирафу и постой немного, прислушайся. Ты и сама не заметишь, как ноги понесут тебя по теплой тропинке к реке... В это время к селу приходят воды, которые впитали в себя утреннюю свежесть гор...»

Серафима смотрела в письмо и видела в то же время, как по лицу Маро текут слезы. Девушка боялась, что и сама не выдержит сейчас, и перестала читать...

— Хоть вяжи его, все равно не удержишь. Перед слом он обязательно должен был побежать на речку, — Маро вытерла слезы куском бязи, края которой давно превратились в бахрому. — Может, неласкова была я с ним, слишком строга... Как узнаешь теперь об этом?..

«До чего велика, необъятна Россия! — писал Канамат. — Ходи по ней хоть целый год и еще столько, но ни конца ни края не найдешь. Думаю я об этом и диву даюсь: па что надеялся Гитлер, когда решил напасть на нас? Придется ему, как в сказке, по своим же следам убираться обратно... Греют душу мне, Маро, воспоминания о тихих вечерах на Ирафе, о тополях на улице... А недавно как я обрадовался! Это было поздно вечером. Привал наш длился столько времени, сколько ты стоишь на крыльце, посыпая своим курам просо или кукурузу... Того, что твой шерстяной матрас был мягким, я никогда не замечал, но до чего мягка земля!

Не с чем сравнить ее, не с чем... Как только я задремал, меня толкнул сосед, не найдется ли, мол, у тебя закурить? Ответил ему: не курю. Он сунул мне что-то прямо в руки. Я, говорит, тебе отдам свой подарок, а ты мне паек табака. Пощупал я его подарок и, оказалось,— домашние шерстяные носки! Из овечьей шерсти, мягкие-мягкие! Теплые, будто осталось в них тепло рук той, что вязала их. Даже пальцами чувствовал, что они были белоснежные. И, знаешь, Маро, мне показалось, что связали их из шерсти овцы, которую пасли на берегу Ирафа. Что осетника выткала пряжу в одну бессонную ночь...»

Серафима не стала бы дальше читать, потому что произнести эти слова было так же трудно, как пройти не торопясь сквозь пылающий новогодний костер. Но, если ты разбежался, как остановиться на полпути на крутом спуске?

«Вернул бы их обратно, но тогда я отдал бы ему и свои мысли. Такие мягкие носки могли связать руки девушки... похужей на Серафиму...»

— О тихий мой, молчаливый Канамат! Сколько же у тебя было всего припрятано, сколько слов ты держал под замком! — глубоко вздохнула Маро.— Читай, читай, родная моя...

Буквы были те же, слышался тот же голос: «Не верь болтунам, Маро. Держи наготове в корыте муку на три праздничных пирога. Три рога держи под рукой... Встречай нас, как положено. Не за дровами в близкий лес ушли мы из дома, но все равно придет время возвращения...»

Дочитав, Серафима подняла голову и улыбнулась.

Маро не могла оторвать полные слез и радости глаза от письма Канамата, осторожно щупала шершавыми пальцами бумагу, бережно поглаживала ее ладошкой...

В ушах Серафимы звучал голос Канамата. Те раны, что появились в ее сердце, когда небо над их селом разлетелось вдребезги, теперь заживали, и она чувствовала это.

Когда Госка вернулась с похорон Адаго, Серафима выбежала ей навстречу, сообщила о полученном письме. Разговорами о Канамате осветился их дом. Вот тогда и решила Серафима написать ему письмо... И она еще не успела придумать, как спросить адрес у Маро, а уже знала, что пошлет ему шерстяные носки, которые свяжет сама. Девушка посмотрела в глаза матери — ту одолевали какие-то свои тяжкие мысли, и неизвестно было, когда она от них

освободится. Серафиме почему-то показалось, что Госка встревожится, узнав о ее намерении, станет стыдиться: «Подумай об Уаллинка! Подумай о Дунекка! Каково им будет узнать, что ты вяжешь носки не для Кайти, а для другого»... Девушка расстроилась, ей стало обидно, но обида придала ей решимости.

— Мама, я сбегаю к Дзиппа и припесу прялку,— сказала она.— А ты приготовь шерсти на пару носков...

— Зачем тебе?

— В письме Канамата мне показалось... Носки, домашние шерстяные носки хочет Канама!

— Кажется, у нас...

— Нет, мама! Нет, нет! Попщи! Найди, где хочешь!

Она подбежала к матери, обняла, прижалась к ней.

Ночью при свете коптилки чесали и пряли шерсть, которую Госка выпросила у соседей. А утром, после ухода Госка на ферму, Серафима достала спицы и клубок белых ниток.

Пальцы послушно шевелились, было приятно ощущать гладкий металл спицы. Петлю на петлю называла девушка и представляла себе, как обрадуется Канама, когда возьмет в руки белые-белые, мягкие носки, и радость переполняла ее. Когда носки будут связаны, она постирает их и, пока будут сушиться, напишет Канамату. Она напишет все то, что не решилась бы сказать при встрече.

Петлю на петлю называла Серафима, вслед за одной мыслью рождалась другая. Пока еще они были сумбурины, бессвязны...

«Канама, прочитала я твое письмо и ожила. Тем, кто меня окружает, я виду не показываю, но тебе должна признаться — я оказалась такой слабой, беспомощной, что и сама не ожидала. Недавно немцы сбросили на наше село четыре бомбы, и я четыре раза умерла. Ничем не измерить то, что я испытала. Иногда мне кажется, что все от солдата до генерала испытывают такой же страх. И тогда мир наполняется причитанием Госка. Ей, наверное, постоянно снятся страшные сны, которых она никому не рассказывает. И когда начинает причитать — мраком ее слов наполняется наш дом. Хочется заткнуть уши и бежать, куда глаза глядят... Если бы ты знал, какой надеждой озарило меня твое письмо. Кажется, будто солнце взошло, весеннее солнце...

Почему я до сих пор молчала о своем светлом отношении к тебе? Могла же хоть намекнуть... Раньше я не смогла

бы этого объяснить, только теперь поняла — ты был для меня соседом, который каждое утро делился со мной теплом своего очага... Здесь тоже есть сильные люди, готовые поддержать и помочь. Ты, конечно, помнишь Таурзат? Она заведовала фермой. Теперь ей весь колхоз доверили. Я знаю, что могла бы услышать слово надежды и от нее... Но печаль своего сердца я хочу поведать тебе... Я от тебя жду доброго слова... Когда рыли окопы, жили в палатках, я была еще похожа на человека. Даже верила, что и винтовку в руки взять могу. А теперь сижу возле печки и грызу черствые чурочки. Я сама не пойму толком, чего требую от тебя. Придумай мне позорное прозвище, но посоветуй что-нибудь»...

Через открытое окно с улицы послышались чьи-то шаги, Серафима выглянула и увидела сестру Кайти Дунекка. Она была без платка, в старом, линялом платье, которое надевала, когда возилась во дворе. Сама открыла калитку и, шлепая просторными галошами, пошла к дому...

Дунекка была не из тех, кто без причины нагрянет в гости, и Серафима испугалась, увидев ее. Может, что случилось с Уалинка? Та иногда жалуется на боли в сердце... Серафима увидела яркий блеск в глазах Дунекка и пожно прижатый к груди лист бумаги.

— Письмо получили? — вскрикнула Серафима и бросилась к госте со спицами и пряжей в руках.

— А ты угадай от кого?

— Я и так знаю.

— И ты не обрадовалась? — Дунекка протянула было письмо, но опять прижала его к груди.

— Разве не слышишь, как сердце колотится? Пошли в комнату.

— Назови тогда его по имени.

— Его имя — солдат.

Рука Дунекка разом опустилась, едва удерживая лист бумаги, обида блеснула в ее глазах.

— Наверное, ты подумала: куда она мчится, как бешеная?

— Не говори так, — ласково сказала Серафима. — Если бы можно было выложить сердце на ладонь... Когда вы его получили?

— На, сама читай, — сестра Кайти протянула письмо. — Это он тебе писал. И мы от него получили такой же клочок...

Дунекка говорила еще что-то, кажется, уверяла девушку, что они с Уалинка даже глазом не взглянули на это письмо... Спицы кололи руки Серафимы, становились поперек, и она никак не могла развернуть лист бумаги.

Ей казалось, что она ждала этого письма очень долго. Девушка разглядывала, как чудо, буквы, написанные рукой Кайти, крупные, звенящие буквы...

«Доброе утро, соседка Серафима, живущая по правую сторону от нашего дома! Новостей у меня целая гора. Но я не хочу поручать их этому клочку бумаги. Время суровое — и всякое может случиться. Однако сердце мое чувствует, скоро встретимся мы с тобой. Да, обязательно встретимся. Ты стремись к этому, Серафима, и тогда мы обязательно встретимся. Кайти».

— Где он сейчас?

— Ничего такого не сообщает.

— Наверное, его часть где-то совсем близко.

— Наверное. Раз так пишет, значит на что-то надеется.

— А вдруг он ранен?!

— Как твой язык повернулся произнести такое?!

— Письмо какое-то странное... Нелегко ему, видно, приходится...

— Не до песен сейчас...

Некоторое время они стояли молча, каждая со своими загадочными мыслями.

— Носки хочешь кому-то послать? — спросила Дунекка.

— Так... Вдруг надумала, — сказала Серафима и, загнувшись, схватила соседку за руку: — Присядь, посидим.

— Нет, некогда мне...

После ухода Дунекка Серафима перечитала письмо Кайти, и снова оно показалось ей странным, полным намеков и невысказанных мыслей. Ей казалось, что о скорой встрече Кайти писал только для того, чтобы обнадеежить ее.

#### 4

Над селом прошла группа самолетов. Наступали сумерки, и Таурзат не могла разглядеть красные звезды на их крыльях. Но по звуку определила — это свои. Они летели оттуда, где над горами Осетии небо еще спокойно.

Где-то над лесом оборвался гул самолетов, и к Таурзат опять вернулись дорожке ее сердцу воспоминания.

Пройтись по главной улице села Таурзат решила неожиданно для самой себя, когда вышла из правления. Может, потому решила, что сегодня не произошло ничего такого, от чего бы могло содрогнуться сердце.

Листья осени осыпались и сухо шуршали под ногами.

...Когда они с мужем впервые вышли из дома вместе и пошли бок о бок по этой улице, тоже стояла осень, пора листопада. Но тогда улица вся была убрана — молодые певички подметали ее еще до рассвета. Таурзат тоже была новобрачной и знала, как трудно вставать каждое утро раньше всех в селе... И вот они шагали по улице, и Шахмат, муж ее, шел слева. Таурзат старалась, чтобы он, как положено, опережал ее на полшага, но это ей не удавалось. Заметив ее старания, Шахмат улыбнулся: «Нужно бы нам дня на два съездить в Дзауджикау, поучиться ходить вместе... Ну и симпатичные там пары!» Он взял ее крепко за руку и не отпустил, пока они не прошли всю улицу. Таурзат чувствовала спиной взгляды стоявших у ворот женщин, знала, что те осуждают их бесстыдство. Оглянуться она не осмелелась.

— Ты добьешься своего, сложат о нас позорную песню, — упрекнула она мужа.

— Шагай рядом, — строго сказал Шахмат. — Дорога ровная, можешь иногда и голову поднять... Скоро научишься букву от буквы отличать, и в один прекрасный день напишешь: «Я тоже человек!»

Шахмат насильно вытащил ее из дома, отвел в ликбез, открывшийся в доме учителя. Чтобы она не сбежала, проводил до порога комнаты, где собирались неграмотные...

Таурзат услышала топот скачущей лошади. Подковы, ударяясь о камни, тревожно звенели. Женщина сошла с дороги, прислонилась спиной к плетню. Хотелось, чтобы всадник не заметил ее и промчался мимо... Ей было жаль своих воспоминаний. Все реже и реже стал видеться ей Шахмат, и Таурзат страшилась — вдруг наступит время, когда из-за дымки дней не проглянет лицо Шахмата...

Всадник, поравнявшись с ней, осадил коня, остановился и спрыгнул на землю. Кнут взял в левую руку, которой держал лошадь за повод. Пока не подошел вплотную, она его не узнала.

— Габуш, это ты? — спросила неуверенно.

— Он самый, — сказал всадник и подал руку.

— Откуда ты?

— Где только не бываем мы с моим скакуном, — улыбнулся он.

— Когда я вышла из правления, подумалось, что надо бы еще мне задержаться, может, понадобится кому-нибудь. Но женщина есть женщина — она должна услышать еще и плеск воды, и звон ведер...

— И это надо, — кивнул головой Габуш.

— Знаю, ты не без дела, — сказала Таурзат. — Пойдем в правление.

— Нет нужды возвращаться туда. Пройдемся тихим шагом. Разговор у нас будет недолгий...

С Габушем она познакомилась прошлой весной. Возле соседнего села раскинулись сто гектаров их пахотной земли. «Дальним участком» называли это поле... Земли, расположенные возле своего села, женщины и старики могли еще кое-как вспахать, но что делать с дальним полем? И Таурзат отправилась в соседнее село. Ни на что не надеясь, зашла в правление. Габуш, знакомый тогда ей человек, сидел за столом. Она сказала, зачем пришла. Он, словно только что заметив ее, поднял голову и спросил: «Кто вас уполномочивал?» И опять стал листать свои бумаги. Таурзат ответила: «Ничего во мне председательского нет, но наши сельчане так меня величают...» А Габуш: «Мужчину бы я вернул, но как же быть с тобой?» Он помолчал, подумал, потом сказал: «Загляни ко мне через три дня».

Через три дня почернел их дальний участок...

— Говори тихо, чтобы никто не слышал, — сказал Габуш. — Ты, наверное, помнишь своих бригадиров, тех, что работали у вас перед войной?

— Помню, всех помню.

— Был у вас такой... Знал себе цену. Голос звонкий... Среднего роста, плечистый, плотнее меня...

— Может, ты Габола имеешь в виду, но он не был плечистым...

— Недавно мы убрали кукурузу и пустили на поле яловых коров... На границе земель вашего и нашего колхозов... Пастух стал собирать оставшиеся початки, заезжался, упустил коров, и те забрели на ваше поле. Откуда-то вдруг прискакал всадник, налетел на пастуха, стал кричать: «Кто дал тебе право чужие поля травить?!» Пастух пошел за всадником, стал извиняться. А тот ему ружье показал. Растерялся пастух — и быка угощают,

и коров нельзя бросить... Вечером прибежал ко мне со слезами на глазах, кое-как обрисовал обидчика, и оказалось, что он знал лошадь, на которой сидел тот человек... Вскоре мы нашли эту лошадь, но хозяин ее ни в чем не признался. — Ничего, мол, не знаю, в тот день лошадь была у меня во дворе, соседи видели ее и могут подтвердить...

— Не о Кайти ли ты говоришь? — спросила, будто припоминая вслух, Таурзат.

Они долго шли молча, потом Габуш сказал:

— Значит, это ваш?

— Да. Он был бригадиром. Но вы его знать не можете, вы тогда работали далеко отсюда...

— Не так уж и далеко, нас разделяли всего три села... Так вот, там, где я работал до войны, живут родственники его матери. — Габуш зорко поглядывал по сторонам. — Что он за человек? Ты его хорошо знала?..

Таурзат и Кайти встречались изредка, когда она забегала в правление. Она работала на ферме заведующей, а она всегда был в поле...

Считали его нахальным, заносчивым, но ей он казался человеком живым, деятельным. Да и бригадиром быть не так-то просто... Всем не угодить — кто-то и обидеться может, и злобу затаить... Как-то раз глубокой осенью одна из колхозниц несколько дней не выходила на уборку кукурузы. Оказалось, что у нее не было теплой одежды. Кайти, узнав об этом, тут же снял с себя телогрейку и отдал... Таурзат даже позавидовала ему: она не сумела бы так сразу найтись... Помнит Таурзат и одно бурное собрание, на котором много говорили о Кайти. Одни утверждали, что Кайти мог поступить в любой институт, но, как истый сын крестьянина, остался в селе. Многие хвалили его — мол, дай бог, чтобы каждый руководитель так понимал колхозника. Одному из тех, кто так горячо держал сторону Кайти, сказали: «Он создает все условия для тебя и для твоей пасеки, так почему бы тебе и не уважать его?» Возразили и другому: «Не думайте, что вокруг вас все дураки. Кайти при свидетелях тебя днем отчитывает, с грязью мешает, а вечером вы ужинаете вместе, горячий уалибах<sup>1</sup> едите».

Таурзат стала приглядываться к Кайти, хотела разо-

---

<sup>1</sup> У а л и б а х — пирог с сыром.

браться, попать его. Но грянула война, и в первые же дни ее Кайти ушел на фронт...

— Не знаю, что и сказать тебе, — пожалала плечами Таурзат. — Он был еще молод, а молодым свойственно ошибаться...

Они прошли мимо темного спящего дома и, не дойдя до другого, такого же темного, Габуш остановился. Лошадь прошла мимо, потянула его — загрузила, наверное, о своем стойле, свежей воде и охалке сена...

— Сбежал он, — сказал Габуш. — Дезертировал...

Таурзат знала, что Габуш был командиром истребительного батальона, но у нее и в мыслях не было, что он придет в их село с подобной вестью. Колхозное имущество пока все было здесь, и она думала, что он принес ей какое-нибудь секретное указание об эвакуации. Таурзат вспомнила, каким гордым, пезависимым был Кайти. Нет, струсить такой не мог...

— Приглядись повнимательней к их дому. Трудно сказать, чем может выдать себя человек...

— Хорошо, — Таурзат поправила платок, зябко передернула плечами. — Я тебя поняла...

Габуш вскочил на коня и скрылся в ночи. Вскоре стих и цокот копыт, и только сухие листья шуршали под ногами... Она подумала, что Габуш, наверное, тоже боится иногда, но виду не подает. Скорее в огне сгорит, чем о нем скажут, что он испугался... И на Шахмата из-за каждого куста смотрело дуло винтовки, и он это знал и все равно шел в ночь...

## 5

За селом, в стороне от кладбища, на котором похоронены те, кто умер своей смертью, возле своего очага, выстроились в ряд четырехгранные, близко стоящие друг к другу деревянные надгробья. Они видны издали, их уже много. Имена тех, кто погиб от первых пуль войны, выведены на них в черный день черными буквами.

Сколько было похоронок, столько белых деревянных памятников стоит сегодня рядом со старым кладбищем.

Не зажили еще исцарапанные в неистовом горе лица матерей, потерявших сынов своих. Траурные одежды носят уже половина сельчан...

Но никто не верит тому, что написано в этих «черных

бумагах». Люди надеются в душе, что деревянные памятники поставлены по недоразумению. Потому что с тех пор, как стоит их село на земле, не случалось такого, чтобы слезы лились в пустую могилу...

Сегодня на один памятник станет больше.

Таурзат получила извещение о смерти младшего сына Дзиппа.

Легче умереть, чем перешагнуть порог с этой вестью. Кто осмелится войти в дом Дзиппа?..

Таурзат старалась не думать об этом, но младший сын Дзиппа словно пришел к ней, стал перед глазами и стоял, не уходил... Как быстро он вырос! Когда он только успел стать солдатом?! Вроде совсем еще недавно приходил на ферму с отцом. Дзиппа бранил его за детские шалости. За то, что научил барана бодаться, и теперь рогатый прохода никому не дает... А мальчишка смеялся втихомолку... Ему обязательно нужно было сесть верхом на лошадь, на которой возили навоз. Дзиппа, улыбаясь, не без тайной гордости рассказывал, как младший его сын угрожал старшему — жепсь, мол, скорее, а то я за себя не ручаюсь, могу и раньше тебя привести в дом невестку...

Таурзат вспомнила о Кайти — ей показалось, что она проходит мимо их окон. Женщина осмотрелась и облегченно вздохнула. Нет, она ошиблась. Сейчас будет перекресток, за перекрестком угловой дом, потом дом Маро, за ним — Госка, а чуть дальше — дом Дзиппа... Между домами Дзиппа и Уалипка всего несколько шагов... Но почему вести о Кайти и младшем сыне Дзиппа явились к ней сразу же одна за другой? Вчера только она разговаривала с Габушем, а сегодня песет «черную бумагу» в дом Дзиппа... Весть о дезертирстве Кайти угнетала Таурзат. Лица односельчан казались ей бледными, изможденными, их голоса — тихими и горестными. Зато представившийся ей вдруг Кайти был огромен, и лошадь его была огромна, и неосязаемость этого, возникшего из тьмы всадника, напомнила ей прошлое: ночи, полные тревог и опасностей, ночи Шахмата...

Не всех раскулаченных успели тогда выслать, и они делали свои черные дела. Вывозили ночью припрятанный хлеб, продавали его на стороне. Уходило из села зерно, которое весной должно было лечь в пашню. И Шахмат не знал ни сна, ни отдыха...

Кайти ушел из села при свете дня, а вернулся темной

ночью... И никто не знает, что Кайти рядом, вернее, не сам он, а зловещий его призрак.

Таурзат не могла так вот просто сидеть и ждать, пока в мыслях ее существовал Кайти. Слишком сильна была в ней память о Шахмате... Когда Таурзат поравнялась с низеньким, крытым соломой сараем Госка, а до дома Дзиппа оставалось еще три десятка шагов, сердце ей подсказало: «Нет, не должны они пока знать об этом. Пусть живет для них младший сын, пусть вспоминают они его шалости, за которые строго журили его, пусть, любя, жалеют об этом»...

Кайти будет есть горячий чурек, Уалипка, глядя на сына, и воздухом одним удовольствуется, а из дома, что рядом с ними, день и ночь будут слышаться причитания...

Таурзат испугалась: а вдруг выйдет сейчас из этих ворот отец или мать погибшего? Что она скажет им? Остановившись в растерянности, повернула к Госка...

Идти по чисто подметенному двору — все равно, что вернуться к прошлым спокойным дням.

— Эй, есть кто-нибудь живой? — позвала Таурзат.

Хлопнула дверь, из дома выбежала, улыбаясь, Госка. Улыбаться-то она улыбалась, а в глазах сквозили беспокойство и испуг.

— На минуту к вам зашла, Госка, — как бы оправдываясь, сказала Таурзат. — К Серафиме, дело есть.

— Здравствуй, Таурзат, здравствуй, — радушно произнесла Госка, теперь уже спокойно глядя на гостью. — Обрадовала ты меня, зашла без приглашения, как своя. — Она кивнула на крыльцо: — Теперь порог дома переступи.

— Зайду к вам, Госка, только прошу, не беспокойся, не считай меня гостьей...

— Ладно, ладно, чем богаты, тем и рады...

— Госка, я же говорю, не в гости пришла я, по делу, ненадолго...

«Не пачнись, Госка, эта проклятая война, работали бы мы с тобой на ферме и горя не знали», — поднимаясь на крыльцо, думала Таурзат, и ей хотелось громко говорить обо всем добром, что думала она о Госка...

Какими далекими кажутся те светлые дни! Были ли они вообще?.. Как-то раз Дзиппа отпросился съездить в город. От их села, расположенного далеко от большой дороги, ой как непросто добираться до города! Нужно прошагать километров двадцать, и хорошо еще, если успе-

ошь к поезду, а то сиди на вокзале... Дзиппа же обернулся в один день и рассказывал: «Ей-богу, такой счастливой дороги я и во сне не видел! Ни шага не пришлось мне сделать пешком. А говорят, приметы ничего не значат... когда я уходил, мне повстречалась Госка, а у нее и пога легкая и глаз добрый — вот почему мой путь был таким удачным»... С тех пор все, работавшие на ферме, отправляясь в дорогу, просили Госка выйти им навстречу. А женщина, которой была поручена маслобойня, всеми святыми клялась, стоит Госка взглянуть на молоко, как все оно без остатка превращается в сливочное масло...

Какое это счастье, когда в душе твоей только добрые намерения.

— Что пишут ваши мужчины? — спросила Таурзат.

— Парень наш из тех, кого связистами называют, — заговорила Госка. — Пишет, что жив, здоров, но подика, поверь ему... Просил, чтобы пока ему не писали. Наверное, их опять куда-нибудь перебрасывают... А хозяин наш еще раньше прислал письмо... Как спасительное лекарство эти каракули на клочке бумаги...

— Ты бы хотела, конечно, чтобы они ежедневно писали... Поставь-ка себя на их место... Шахмат часто говорил: «Легче гектар земли вспахать, чем написать одно письмо». А война — это постоянная тревога. — Таурзат все время помнила о поручении Габуша, и теперь ей представился случай выполнить его. — А как соседи ваши? — спросила она. — Что слышно у них?

— Дзиппа получает письма от старшего, хорошо получает, по другой что-то молчит... И от сына Маро вот уже больше месяца нет вестей... А Уалинка получила письмо, три дня, как пришло. — Госка смущенно улыбнулась: — И нашей девушке он написал... Может, ты слышала, как Серафима в детстве упала в ледяную воду, и только благодаря Кайти осталась в живых... Тогда-то я и сказала: «Если вырастет она хорошей девушкой, никому раньше вас не отдам ее...» Сказать-то сказала, но над нами бог...

Радость Госка была похожа на безоблачное небо, и у Таурзат не осталось сомнений: конечно, кого-то другого приняли за Кайти... И она выругала Габуша за легкомыслие и излишнюю горячность. Ей стало легче на душе, и жизнь казалась теперь проще и понятней...

— Сколько наговорила я тебе, Таурзат...

— Это не просто слова, Госка, это дорогие вести... Да

не получить нам других вестей и от твоих мужчин и от тех, кто из села нашего ушел...

— Дай нам бог такого счастья, — вздохнула Госка. — Она помолчала, потом пытливо глянула на гостью: — Ответь и ты мне, Таурзат, что ждет нас? Останемся ли мы здесь или бросим село и уйдем?.. Не слышно ли чего-нибудь обнадеживающего? Неужели никак нельзя их оставить?

— Что тебе сказать, Госка? — пожала плечами Таурзат. — Ипчем я не могу тебя обрадовать. Радость от нас не стали бы скрывать. Но, думаю, горы они не пройдут. У нас здесь сильные укрепления... Так я думаю своей немудреной головой...

— Ну, уйдем мы, возьмем с собой то, что можно на плечо взвалить... А как быть с колхозным скотом?

— Коров в горы перегоним. Подумаем и об овцах. Ульи с пасеки раздадим колхозникам... Вот для этого мне Серафима и нужна...

Выйдя от Госка, Таурзат взглянула на дом Дзилпа, и сердце ее опять сжалось.

Она шла по улице и думала: пужно будет сообщить Габушу о письме Кайти...

## 6

Живущий на берегу реки бывает так беспечен, что остается без воды.

Уже стемнело, когда Серафима вспомнила, что в доме у них нет ни капли воды. Это смутило ее, как упрек уважаемого человека. Она взяла ведра — одно оцинкованное, новое почти, а другое с пеньковым кляпом, затыкающим дырку на дне, — и вышла из дома.

Стоял по-летнему теплый вечер, и Серафима была в одном ситцевом платьице, в матерчатых домашних чувьях матери. Незадолго до этого девушка вымыла голову сывороткой, потом несколько раз сполоснула теплой водой, но кислотатый запах все же остался. Серафима перебрала шелковистые распущенные волосы через плечо и пошла к Прафу...

Ходить по воду она стала гораздо позднее своих ровесниц. До нее ходил на речку брат. Сбега́л с пустыми ведрами вниз по тропе и бегом возвращался назад. Он делал это без всякой лени, но как-то раз его увидели с пол-

ными ведрами девчонки-одноклассницы и закричали издали: «Смотрите, смотрите, идет — ни капли не расплещет! А ведра у него деревянные, как маслобойки!» И брат отказался носить воду, сказав матери: «Что угодно буду делать, только не это»...

И Серафима стала носить воду. У женщин, которые приходили на речку с других улиц, были коромысла. Не у всех, но кое у кого из них коромысла пестро размазаны, и девочка завидовала женщинам; она бы тоже приносила домой полные ведра, если бы имела такое коромысло...

Тени скользили в ночной мгле, таинственные тени... Серафима шла по тропе почти наугад. Она смотрела в сторону леса, за Ираф, но ничего не могла разглядеть в густой тьме. Раньше в это время за рекой светились огни кабардинского села. Кто знает, может быть, сейчас с той стороны идет за водой девушка-кабардинка, идет и смотрит сюда, хочет увидеть знакомые огни, но и здесь темно, будто вымерло село...

Когда-то Серафима боялась выходить за ворота — всюду мерещились ей привидения, из-за всех кустов у бугорков выглядывали всякие чуднища... Теперь ей не мерещатся эти страшилища, но время, когда она верила в них, кажется девушке счастливым, как мечта...

Каждый раз, выйдя на берег, Серафима вспоминала тот день, давний, но заметный, как одинокое дерево в пустыне. Того, что тогда случилось, хватило для разговоров на долгие годы...

...Маленькой, ясноглазой, кудрявой девчонке надоело сидеть дома. Все здесь надоело ей, как старая, облзлая кукла. Выйти же за ворота — словно сказку услышать, чуда рукой коснуться. Хочешь, опрокинься навзничь и валяйся на земле, смейся, плачь — никто тебе не помешает... Взяла кудрявая девчонка да и открыла дверь. Замерла за дверью в коридоре, прислушалась. Разговор в комнате не оборвался, ни мать, ни отец не умолкли на полуслове, не бросились следом за дочерью. И она выскочила на крыльцо, пробежала по двору и первый раз в жизни сама открыла плетеные ворота — чуть приподняла, палегла на них, и ворота приоткрылись ровно настолько, чтобы можно было бочком проскользнуть в щель. Улица ошеломила девочку яркой белизной искрящегося снега и ослепительным сиянием солнца. Девочка глянула в сторону

реки — и там все было белым-бело. А тропинка, выйдя со двора, побежала вдоль плетня по улице, и дальше к заледенелому берегу. Девочка не была там с тех пор, как выпал этот ранний веселый снег... Идти по тропе было неинтересно, и она осторожно ступила в сверкающую белизну. Поставила ногу, убрала ее — задник нового ботинка отпечатался на снегу. Побежала, у спуска к реке повернулась лицом к дому — за ней вереницей тянулись ее частые, быстрые следы. Побегай она еще, следов осталось бы столько, будто здесь играли все соседские мальчики и девочки: вот было бы хорошо!

С обрывистого берега девочка увидела: исчезла заводь, в которой летом купались мальчишки. Там, где была вода, теперь лед, занесенный снегом, и посреди заводи стоит чей-то теленок.

Тропинка спустилась к самой реке и провалилась в дыру, величиной чуть побольше обычного таза. В дыре бурлила вода, точно также бурлит она, разбегаясь кругами, когда кипит в чугушке. Но в чугунок, стоящий на плите, руку не сунешь, а здесь — пожалуйста, держи сколько угодно. Ей захотелось хоть пальцем тронуть прозрачную воду, сквозь которую виднелись лежавшие на дне разноцветные камушки. Таких красивых блестящих камушков нигде больше не было.

Девочка успела лишь удивиться тому, что дно не так близко, как кажется...

Улыбка упала в воду.

В хрупком воздухе остался прерывистый крик, который потом уже не воспроизвести и не забыть...

Серафима помнит: когда глаза ее открылись, она увидела пронзительно ясное, чистое небо. Она лежала на спине, и постелью ее был свет, и вместо полога над ней — тоже свет. Откуда-то со стороны слышались, рассыпались сверкающими звездами слова. Первым, кого увидела Серафима, был соседский мальчишка Кайти. Он мелькнул на мгновение и растворился в ярком сиянии...

Госка долго потом не посылала дочь за водой. Босые, лохматые подружки ее плескались в речной заводь, наводя ужас на рыбью мелочь, а Серафима купалась в большом тазу, стоявшем во дворе...

Будь то вечером или днем, когда бы Серафима ни спускалась к берегу Ирафа, ей каждый раз вспоминались следы маленьких пожек на мокром снегу и белые, розовые,

голубые камушки в воде, и голос Кайти, многократно отраженный эхом: «Серафима!.. Серафима!.. В воду!..»

У самого края крутого обрыва, на гальке стоит Серафима, пока эхо не затихнет. Прислушается, подождет, но голос Кайти последнее время звучит не так ясно — наверное, она стала забывать его.

Серафима спустилась с обрыва по широким ступенькам, которые недавно выкопал Дзиппа.

В том месте, где брали воду, лежал длинный, плоский камень. Бывало, рано утром с полотенцем на шее сюда приходил брат Серафимы. Мыло свое положит на камень, войдет по пояс в воду и моется, отфыркиваясь. Вечером после работы любил посидеть на этом камне ее отец — подвернет штанины выше колен, опустит ноги в прохладную воду, сидит и думает о чем-то своем.

Как-то утром она застала здесь и Канамата. Увидела его в тот момент, когда, разогнавшись, бежала по крутому спуску к реке и уже не могла остановиться. Да и смысла в этом не было: звон ведер давно опередил и выдал ее. Серафима могла поклясться — КанаMAT и до этого, наверное, не раз приходил сюда, сидел молча и смотрел на быструю воду... Тогда же он подарил ей книгу...

...Серафима действовала не торопясь, уверенно, будто различала во тьме то ровное место, куда можно поставить полное ведро. Поспешит она чуть, и ночные страхи, наверное, завладели бы ею, сердце забилося бы, как птица в силках. И Серафима крестилась, не смотрела по сторонам — только под ноги, только на ступени, вздымающиеся, как грива скачущего коня. Сколько шагов она ускелась сделать?.. Снизу, из-под крутого обрыва, послышался какой-то шум. Может быть, камни осыпались сверху, может быть, чья-то неосторожная нога ступила на гальку...

Тропинка вырвалась из-под ног Серафимы, исчезла. Девушка резко оглянулась. Темнота сгустилась и приобрела форму человеческой фигуры.

Фигура застыла на месте.

Как Серафима поднялась по ступенькам, как взбежала вверх?! Крикнуть, сказать что-то связное не было сил. Язык испуганного человека непопята другим.

Наверху Серафима опять оглянулась: фигура пошевелилась, сделала шаг в сторону девушки. И тут она разглядела, что это фигура мужчины: она раздвигалась ниже пояса — человек был одет в брюки...

Только вбежав во двор, Серафима почувствовала под собой землю. И, разом обретя голос, крикнула:

— Мама!

— О, очаг мой погас! — из открытой двери вылетел испуганный возглас и вслед за ним на крыльцо выскочила Госка. — Серафима, что с тобой?!

Шаги, гнавшие за ней, стихли, не смея ворваться во двор. И Серафима, с трудом переводя дыхание, почувствовала тяжесть в своих руках: она все еще держала ведра, полные воды, и не решалась шага сделать, боясь, что ноги подкосятся и она рухнет, как срубленное дерево.

— Ты же тени своей боишься, — ворчала мать, — кто же послал тебя в такую пору за водой? — она взяла у дочери ведра. — Господи, я чуть не умерла от твоего крика... Что тебе померещилось?

Серафима часто дышала и, пытаясь унять дыхание, схватилась руками за грудь.

Две ступеньки крыльца показались ей высокой лестницей — она с трудом одолела их.

А Госка нашарила в темноте спички, зажгла керосиновую лампу, подняла ее, осветила на Серафиму.

— Присядь. На тебе лица нет.

— Видела его... Это был он...

— Кто-нибудь стоял у ворот?

— У реки... Возле обрыва... Со стороны Маро...

— Тебе, может, померещилось все?

— Мужчина... В руке была у него шапка...

— О, Уастырджи, не село у нас, а пустыня. Всего-то несколько стариков осталось...

— Мне показалось, что он гнался за мной...

— Да кто же это мог быть? Уж не дьявол ли?!

Утром Серафима не слышала, как проснулась Госка, как она привстала в своей простой бязевой ночной сорочке, как скрипнула ее кровать... За всех, кто на войне, за родных, за близких и дальних соседей, за односельчан и мужчин из других сел, за всех помолилась Госка, но и этого не слышала Серафима.

Она не заметила ни убранной кровати напротив, ни ярких лучей утреннего солнца, льющихся в окна. Ей снова померещилась черная фигура, сперва застывшая, а затем согнувшаяся для бега, и в фигуре этой было что-то угрожающее, ужасное...

Когда человек возникает из мрака там, где его не

ждешь — кем только не покажется он... Если бы девушка не испугалась тогда и повернулась к нему лицом, ей не пришлось бы гадать сейчас...

И все же он был вчера, этот человек. Не старик, нет — это был молодой мужчина: он бежал за ней...

— Эй, где ты, Серафима? — услышала девушка.

Голос Дунекка она узнала бы даже сквозь сон — густой, грубоватый, гулкий, будто обладательница его говорит с тугоухим, будто она недовольна чем-то и торопится выложить свои обиды.

Серафима никак не может забыть тот день, когда Дунекка выходила замуж. Гармошка оказалась бессильней на ее свадьбе, песни пелись, но их никто не слышал. Дунекка завладела вниманием гостей: рыдала бессовестно громко, словно оплакивала горькую утрату. От ее причитаний трезвели выпившие...

Говорят, в день свадьбы девушка бывает особенно красива, но Дунекка не украсили ни свадебное платье, ни шитая золотом бархатная шапочка, ни узорчатый кружевной платок...

Серафима смотрела на Дунекка и ничего не могла попятить. Сестру Кайти выдавали замуж не насильно, и тот, с кем предстояло связать ей свою судьбу, был ничуть не хуже своих ровесников.

Ровно через месяц Дунекка была возвращена в родную семью, следом за ней прибыло и ее приданое. С этого дня мир для Дунекка сузился до размеров собственного дома, двора и огорода. Серафиме легче было войти в ледяную воду, чем переступить порог их дома — она терялась, не знала, как вести себя, и слова нужного не могла найти. Войди только в их двор, и тебя сразу оглушит громкий плач Дунекка. Никто не осмеливался заговорить с ней, расспросить, прямо в глаза ей посмотреть. Серафима понимала — Дунекка еще не выплакалась до конца...

Кто-то обронил первое слово, и оно, словно комок мокрого снега, покатилося с улицы на улицу. Комок вырос в гору.

— В дом жениха не принесла девичьей чести...

— И зачем ее целый месяц держали? Разве кому-нибудь удавалось скленть треснувший кувшин?

— Но ведь за ней ничего такого не замечали. Она из дома-то почти не отлучалась, как же это могло случиться?

— За бедой не надо ходить далеко. Она и дома тебя найдет...

— Грешно говорить, когда не знаешь... Однажды у тети своей была в городе. Месяца два у них прожила...

— Какой-нибудь городской прохвост ей голову и вскрыжил...

Жестокими были эти слова, и Серафима содрогнулась, услышав их, но она знала также, что Дунекка любила погостить в городе и возвращалась каждый раз с обнозками, а глаза ее туманились мечтой, и она ходила, не чуя земли под ногами, будто на крыльях летала...

Когда река разливается и выходит из берегов, ей не хватает старого русла, и она образует множество рукавов.

Дунекка, возвратившись, начинала хлопотать по дому, старалась всем угодить, всех обласкать, каждому дарила тепло своих рук. Сняв городское платье, она облачалась в простенький домашний наряд — как бы начисто отрешалась от себя самой. Горела, словно лампа, но Серафиме свет ее казался холодным...

Дунекка подала голос, потому что не могла войти просто так, без стука. Серафима только приподнялась в постели, собираясь ответить, как дверь распахнулась, и в комнату не вошла, а скорее ввалилась рапняя гостья. Она тяжело дышала, прижимая обе руки к сердцу.

— Такой кошмарный сон мне снился... — Дунекка присела на табуретку у ног Серафимы, закинула одну ногу на другую. — Боже, что за страшный сон!.. Шли мы с тобой по каким-то дорогам... Вроде перед нами оказалась разлившаяся река... Мутная... Говорят, к хорошему... Я тебя не пускала. Но ты не послушалась меня, пошла вброд... Как проснулась, сразу же пришла к тебе...

— Сейчас у каждого на сердце тревога. Где уж хорошему сну присниться...

— Не заболей только... Что-то ты залежалась в постели...

— Почти не спала этой ночью... Так напугалась, что в себя не приду!

Серафима потянула одеяло повыше, зажмурилась, и комната сразу же наполнилась мраком, и Дунекка исчезла, а вместо нее возникла та черная фигура...

— В этом Госка виновата, — слышался голос Дунекка. — Зря пускает тебя на речку...

— Нет, нет! Не померещилось мне! Человека от камня или куста я еще могу отличить... На нем была телогрейка, в руке он держал шапку... Что-то у него было в руке, что-то было...

7

Едва Уалинка улеглась в постель, как возле окна тихо звякнуло что-то, словно железо о железо ударилось. Женщина испуганно приподнялась и застыла на месте, не зная, как быть и что делать. Но звук у окна не повторился, и она облегченно вздохнула: наверное, послышалось... В последнее время Уалинка ложилась спать не раздеваясь...

Сегодня, расстилая постель, она подумала: люди только ужинать садятся, а для нас уже настала ночь... Дунска быстро уснула, а Уалинка все думала, думала, думала...

— Господь всемогущий, — прошептала она так, чтобы ее слышала Дунекка, — помоги нам...

Снова звякнуло у окна, выходящего на улицу, и петромкий, но тревожный звук этот разбудил Дунекку. Она вскочила с постели, спросила:

— Кого ты ждешь?

— Он не собирался прийти сегодня. Может, тебе обещал?

— Нет, он ничего не говорил...

— Как бы соседи чего не заметили. Сегодня забегала к нам эта старая скряга, жена Дзиппа... А лопатку-то забыли спрятать...

Вечером, укладываясь спать, они вешали на гвоздь, вколоченный в оконную раму, железную лопатку, которой соскабливали остатки теста со стенок деревянного корыта... Кайти, подкравшись к окну, просовывал в щель проволоку и концом ее постукивал по лопатке...

— Жена Дзиппа — не охотничья собака, всего не заметит...

— Люди сейчас хуже собак...

В темной комнате конец проволоки дважды ударился о лопатку...

— Я выгляну на улицу из того окна, — сказала Дунекка.

— Будь осторожна...

Уалинка казалось, что все село слышит шаги Дунекка — резкие, осторожные к окну и торопливые обратно...

— Кайти, — сказала Дунекка. — Я выйду к нему.

— Я сама, я одета...

Уалинка на цыпочках вышла на крыльцо — смазанные свиным салом дверные петли не скрипнули. Было светлее, чем она предполагала, еще можно было различить ветви тутовника, росшего во дворе, и даже листья, трепетавшие на ветру. Уалинка оглядела дом Дзинна. Там еще не спали — сквозь щели ставен пробивался свет.

«Еще совсем рано, — стоя на крыльце, размышляла Уалинка. — Как раз то время, когда люди возвращаются с дальних полей, когда ищут заблудившуюся скотину»... И тут же пустые мысли отлетели, как пух с одуванчика, и сердце вновь наполнилось тревогой. «Неспроста он явился», — подумала она, глядя на сына, крашегося к ней...

Когда они вошли в дом и Уалинка приняла от Кайти телогрейку и увидела его глаза, она все еще пыталась понять, что заставило его прийти в неурочный час... Кайти долго не мог стащить с ног сапоги. Мать нетерпеливо замахала рукой, подгоняя его. Потом, взяв мокрые сапоги, забеспокоилась еще больше, поняв, что он перешел Ираф не там, где обычно.

Уалинка и Кайти вошли из коридора в комнату, а Дунекка, тепло одевшись, выскользнула на улицу. Там она затаилась, превратившись в слух и зрение.

— Случилось что-нибудь? — спросила Уалинка, присев на кровать рядом с сыном и приложив ладонь к его лбу.

— Ничего особенного...

— Ты шел по другой дороге?

— Наверное, в горах был сильный дождь, вода поднялась в реке.

— Свет тебе нужен?

— Нет.

— Не ждали тебя и не стали ужин варить.

— Ничего мне не надо.

— Что-то мне твой приход не нравится, — сказала Уалинка, не скрывая своего беспокойства. — Нас всего троє, и если мы друг друга не будем понимать, то как же нам жить?..

Кайти должен был прийти не раньше, чем послезавтра. Его одежда пока еще не нуждалась в стирке, про-

дуктов ему хватало... Да он и сам понимал, что не должен был пока являться домой — нечего зря рисковать. Но тот, кто живет в лесу, общается только с немymi деревьями и видит солнечный свет сквозь густые ветви, — разве сумеет он ужиться со своими мыслями?

Вначале Кайти бежал от них, как убегает человек, попавший под град. Он должен был жить только тем, что имело значение сейчас, сию минуту, могло спасти или погубить его. Для жизни такой ему нужно было зрение орла, нюх охотничьей собаки и ноги оленя. А думать... Нет, он боялся думать — это обезоруживало его. Но когда одиночество стало невыносимым, Кайти понял, что мысль — единственное его убежище. Идти от одного воспоминания к другому, путешествовать в прошлом, задерживаясь там, где тебе нравится больше всего, — вот что стало теперь любимым занятием Кайти. Многие забылось начисто, стерлось в памяти, не оставив следа, но далекий зимний день, когда Кайти спас Серафиму, остался навсегда. Потом он вспомнил, как стоял рядом с Серафимой, поступившей в институт. По этому случаю родители девушки накрыли столы, пригласили родственников и соседей. Гости с лоснящимися от жира губами говорили новопеченной студентке слова напутствия, а Серафима, слушая их, искала глазами Кайти. Кайти же смотрел в сторону, избегая взгляда девушки.

Он и сам себя не мог понять. Ему казалось, что он теряет девушку, и даже крепкая арака не могла заглушить его печаль... Та Серафима пришла к нему в глухой лес, стояла между деревьями. Те же глаза, та же улыбка. Тогда радость сделала ее еще красивее, и он приказал себе в тот день не видеть ее, забыть. А в голове его, в каком-то укромном уголке, жила мысль о том, как она переступит их порог, став женой его, и будет вместе с дипломом принадлежать ему... Серафима связывала его с людьми, с селом. Теперь ему не хватало того, что могли дать мать и сестра. Он должен был слышать ее голос, голос Серафимы. И Кайти, покинув свое убежище, пришел в село.

— Я должен видеть Серафиму, — сказал он.

— Ты в своем уме?! — перепугалась Уалинка. — Время ли сейчас говорить об этом?

— Я же не сватов собираюсь посылать... Позовите ее...

— Потерпи, всему свое время.

— Мне нужно сказать ей два слова.

— Забудь о ней! Слышишь, что я тебе говорю?! Беду паклччешь на свою голову!

Уалинка взяла его руку, положила себе на колени, стала гладить...

Кайти и Дунекка были совсем еще маленькими, когда умер их отец. Мать вырастила их, то лаская, то наказывая. Она не приучала их к словам, которые обычно говорят детям, нет, Уалинка вместо сказок рассказывала сельские сплетни. Когда Кайти подрос, это сослужило ему неплохую службу. Он знал с кем и как разговаривать. И если его замыслы совпадали с поучениями матери, делам Кайти сопутствовала удача... Когда он вместе со своей частью оказался на Кавказе, он решил отправиться домой почными, неведомыми дорогами. И, решив это, он сразу же уверился в своей правоте, будто Уалинка подошла и шепнула на ухо: «Думай о себе, какое тебе дело до всех»...

— Сидеть сложа руки больше нельзя, — сказал Кайти. — Немцы на днях будут здесь. Нужно следить за тем, что делается в конторе Таурзат.

— Все ульи с пасеки раздали по домам, — сообщила Уалинка. — Удивительные они люди, на что надеются? Будто Таурзат в гости к родственникам едет и просит соседей присмотреть за своим домом до ее возвращения, — она, усмехнувшись, покачала головой. — Пошли их, господи, в такой путь, чтобы они никогда назад не вернулись, чтобы мы их вовеки веков не увидели!

— Сколько ульев вы взяли?

— Четыре. Список Серафима составляла. Может, догадалась нас не отметить? Я ей намекнула...

— Нам нужен человек, имеющий доступ в правление.

— Какже у них новости? — пожала плечами Уалинка. — Кукурузу начали ломать, хоть она еще не поспела... Коров в горы угнали...

В селе только несколько человек знали обо всем. Это были старики, ровесники Дзиппа, которым доверяли колхозное имущество и которые отвечали за него. Один из них до войны работал трактористом. Неразговорчивый, хмурый, накорми его и взваливай любые тяжести. Только и знал он, что возился со своим трактором. Он и сейчас, наверное, разбирает трактора и зарывает по частям в зем-

лю. Скелет трактора — в одну яму, мотор — в другую... Этот тракторист живет здесь, неподалеку, но к нему не подступишься. Ни с кем из этих стариков не удастся договориться... Кайти вспомнил, как работал бригадиром. Тогда легче было найти нужных людей! Где они, те, кому он сделал столько добра и кто шапку-невидимку для него сейчас бы не пожалел?.. Кайти знал заботы и печали всех членов своей бригады. Был среди них один, всю жизнь мечтавший иметь пару коней. Но пришла коллективизация, и его лошади стали колхозными. Теперь он мечтал хотя бы работать на этих лошадях, но с желанием его не считались. Вручили бывшему коневладельцу тляку и отправили на поле. Он ругал и бога, который так зло надсмехался над ним, и председателя, который не доверил ему лошадей. Кайти, узнав обо всем этом, пошел в правление, и мечта страдальца осуществилась — он стал возчиком... У другого члена бригады заболела жена. Побежал он к председателю просить подводу, чтобы отправить жену в больницу. Председатель не помог ему. Кайти знал, что паряды возчикам дают еще вечером, а на заре каждый из них уже в пути. Кайти хорошо знал это, и все же он пришел к колхознику, который не получил подводу для жены, посочувствовал его горю, как бы невзначай упрекнул председателя в черствости...

Никого из этих людей в селе не осталось.

И тогда Кайти вспомнил Серафиму. Он знал, что Таурзат недавно была в доме Госка и долго сидела у них. Знал и о том, что Таурзат и Серафима вместе рыли окопы под Моздоком, что общее дело сблизило их и Таурзат доверяет девушке колхозные дела.

Хорошо видит тот, кто высматривает что-нибудь пужное для себя.

— Как бы мы не оказались в положении человека, который не подошел к кладу только потому, что боялся спящего сторожа, — сказал Кайти. — Все они не вывезут, а наше дело — не звать.

— Несколько амбаров уже полны кукурузой.

— Кукуруза — это пустяки! То, что перед глазами, никуда от нас не денется. Главное — проследить за тем, что они станут прятать...

Трижды звякнула железная лопатка. Неожиданные звуки эти прозвучали в тишине, как взрывы. Кайти замер в растерянности, будто оглушило его, а он не должен

расслабляться сейчас, а быть настороже, зорким, сообразительным и быстрым.

— Боже милостивый, помоги, — вырвалось у матери. — Кто-то выдал нас...

Слова ее отрезвили Кайти, и он четко представил себе захлампленный подвал и весь в паутине чердак... Нет, понял он, в доме оставаться нельзя, надо уходить.

— Беги в сени, — прошептала Уалинка, — лезь в подпол!

Нагнувшись резко, он схватил сапоги, зажал их под мышкой.

— Спрячь телогрейку, — сказал он и шагнул к дверям.

Во дворе его ждала Дупекка. Кайти не разглядел ее лица — сестра вся превратилась в руки: длинные руки, дрожащие, перепутанные. Руки тянулись в сторону дома Дзиппа. Кайти движением головы показал сестре — следуй за мной.

От дома до сарая три прыжка, но как долгод этот путь! Казалось, кто-то стоял на крыльце дома Дзиппа, стоял и следил за Кайти. У соседей, живущих с другой стороны, огород окружен канавой и обсажен колючим кустарником. Оттуда до двора Уалинка быстро не доберешься.

Кайти заскочил в сарай. В одной из глинобитных стен его была проломлена дыра, сквозь которую виднелись тополя, растущие на улице. «Они могут прятаться за стволами деревьев, — подумал Кайти. И еще подумал он: — Хорошо, что не зажигали свет в доме и мне не нужно привыкать к темноте»...

Справа к сараю примыкал хлев, слева — сеновал, огороженный колючей проволокой, чтобы скотина не тянулась к сену. За проволокой два стога сена: один остался с прошлой зимы, а другой недавно выменяли на араку. Кайти заглядывал сюда недавно и не обратил бы внимания сейчас на эти стога, но взгляд его упал на высокий, бесформенный ворох колючего полевого осота. «Вряд ли кому-нибудь придет в голову, что здесь можно спрятаться», — подумал он, выскочил из сарая, махнул сестре, чтобы та не отставала, и бросился к сеновалу. Разгреб колючий осот, вырыл убежище для себя, залез и свернулся калачиком. Он ничего не сказал Дупекка, но та и сама знала, что ей делать. Она быстро замаскировала брата, подравняла осот, обмела землю, чтобы не осталось следов, и, воровато оглядевшись, кинулась домой. Она успела скр-

путь с себя одежду, улечься в постель и разглядеть блевшее в темноте лицо матери, лежавшей на своей кровати...

Кайти вздрогнул, услышав, как щелкнула задвижка калитки, как затопали по двору чужие ноги, и он перестал понимать, что есть явь, а что ему чудится. Он почувствовал только, как запылало его лицо, потом руки, потом пламя прошло по всему телу. Он подтянул горящую руку ко рту, впился в нее зубами и ощутил солоноватый привкус крови... Послышался грохот — что-то рухнуло то ли на веранде, то ли на крыльце. Кайти вдруг ясно представил себе комнату, в которой он только что сидел с матерью, вернее, не всю комнату, а тот угол, куда Уалипка бросила второпях телогрейку. Да, мать могла забыть о ней, потому что не ждала его сегодня, растерялась, когда он явился. И Кайти представил себе, как кто-то из тех, чужих, запустил руку в карман его телогрейки, пошарил, нашел кисет с махорочной пылью, платок, пропахший потом...

И он уже ничего не слышал — ни топота торопливых ног, ни мужских голосов, ни того, что лепетали в отчаянье его мать и сестра. Ему мерещился светлый зайчик, высветиваемый карманным фонарем; зайчик порезвился на стене, скакнул на пол, вспрыгнул на сундук, стоящий в сенях. Следом за зайчком ринулись к сундуку люди, открыли крышку, отодвинули, обнаружили под ним вход в подпол, прикладом выбили дверцу...

Кайти снова услышал топот ног, упало что-то тяжелое, и он понял: полезли на чердак, уронили что-то... Грохот окончательно встревожил соседскую собаку, и она залаяла, подвывая, во все горло. Собаке было страшно в ночи, ее пугало мельканье темных фигур во дворе у соседей, и она чуяла всей своей шкурой, что там творится недоброе, и, пересплав страх, прыгнула через плетень и бросилась к сеновалу, заливаясь быстрым, как пулеметная очередь, гавканьем. Вот она кинулась на кого-то, ее огрели прикладом, и собака, завизжав, отступила, дыбя шерсть и поволочив скаля клыки...

Кайти приложил к пылающему лицу мокрое голенище, и ему показалось, что от сапога понел пар... А собака снова вскочила на кого-то и снова. Потом раздался долгий, жалобный визг, собака, скуля, махнула через плетень и умолкла. Послышался голос Дзиппа — старик успокаивал, ругал свою собаку и наконец загнал ее в хлев.

И стало вдруг оглушительно тихо, и в пеживой тишине

этой зловеще зашуршал, протыкая сено, трехгранный штык. Кайти увидел дальний, будто процеженный сквозь черное покрывало свет и даже не увидел его, а ощутил, словно скирда разверзлась и свет холодным языком лизнул его по щеке. И в тот же миг Кайти почувствовал, как к ноге его неторопливо подбирается острее штыка. Кайти попытался прикусить губу, но челюсть дрожала, тряслась, не повинаясь ему...

— Прощупайте сено,— сказал кто-то стоящий над его головой.

Штык вонзился в осот, будто в пустоту провалился.

Кайти наконец сумел поймать губу зубами, прикусил ее, как мог, но боли не ощутил. И он уже не думал ни о чем, сам превратившись в полевой осот, который мертв давно и не чувствует, как сквозь него проходит штык.

Кайти не слышал, как люди со штыками ушли с сеновала. Не слышал он и тихих, крадущихся шагов матери.

— Это я...

Голос, тихий, полный смертной тоски, вернул его к жизни.

Странное спилось Дзиппа... Ехали люди на арбах по ухабистой дороге. У одной арбы поломалась ось, и колесо покатилося в сторону. А Дзиппа перенесся с ухабистой дороги на зеленую лужайку возле реки и стал пасти овец. Вдруг откуда-то появился его младший сын, взялся дразнить круторогого барана, бодаться с ним лоб в лоб. Баран никак не мог одолеть парня и, взбесившись, превратился в огромного бугая. Дзиппа, испугавшись, стал звать сына, но тот, не слушая отца, смеялся, дразнил бугая, убегал, уворачивался, и это длилось бесконечно долго, до тех пор, пока бугай, изловчившись, не сбросил юношу в пропасть...

Дзиппа проснулся в холодном поту.

Он попытался забыть увиденное, повернулся на правый бок, закрыл глаза, но сон не шел к нему.

Он боялся лишней раз пошевелиться — не дай бог проснется жена, и слушай тогда ее разговоры. Дзиппа никогда не был с ней слишком откровенным. Вечером, когда старик вышел на лай собаки, он видел, как вооруженные люди свалили по двору Уалинка. Единственная правдоподобная мысль, пришедшая ему в голову, заставила его похолодеть. Страшно было глянуть во двор Уалинка. Дзиппа загнал собаку в хлев, бросил ей кусок чурека и посмешил

вернуться в дом. Жена приготовилась слушать его, но он сказал всего лишь:

— Наверное, это солдаты. Не разглядел хорошо.

— Ну да? — усомнилась жена. — Что понадобилось солдатам в доме Уалинка?

— А этого, кроме них самих, никто не знает. У военных людей свои секреты...

На днях, вернувшись с уборки кукурузы, Дзиппа повел усталую лошадь на водоной. Коня он оставил наверху, а сам спустился с ведром вниз, к реке. Когда, набрав воды, он возвращался, между домом Госка и его собственным ему почудилось что-то странное — то ли человек, стоящий на четвереньках, то ли овца, бредущая к дому. Дзиппа удивился еще больше, когда эта странная фигура повернулась резко и исчезла, будто сквозь землю провалилась. Ошеломленный старик, вернувшись домой, сел за стол, подпер голову руками и задумался. А жена все вертелась рядом, подозревая неладное, расспрашивала его, надоедала, но он отмалчивался. Тогда, рассердившись, она проворчала:

— Что-то скрываешь ты от меня, по глазам вижу, но зря они у тебя скачут, как всадники...

Теперь Дзиппа думал, что между фигурой, стоявшей на четвереньках, и солдатами, суевившимися во дворе Уалинка, существует какая-то недобрая связь, и мысль старика снова и снова возвращалась к Кайти. «Дай бог, чтобы это не оказалось правдой, — пытался успокоить себя Дзиппа, — чтобы я посмеялся над своими подозрениями».

Хоть Дзиппа и чувствовал, что день не принесет ему успокоения, ему все же хотелось, чтобы утро наступило поскорее, ведь за работой забываются и горе, и печаль.

Он задремал ненадолго, а когда открыл глаза, уже начало светать. Старик поднялся, натянул свои залатанные брюки, надел вязаную шерстяную рубашку, сузил ноги в чулки и, выйдя на крыльцо, остановился в раздумье. А солнце поднималось все выше, и Дзиппа долго смотрел на восток, алеющий светом зарю, потом на село, на крыши домов, выглядывая, кто из соседей уже начал топить.

Зайдя в дом, старик свернул сигарку, подошел к печке и открыл железную дверцу...

Даже в то счастливое довоенное время, когда не надо было ходить по соседям за огнем, в доме Дзиппа печь растапливали без спичек. Дзиппа говорил: «Очаг — это сердце дома, а сердце работает даже тогда, когда человек спит».

Буковую чурку бросали в печь, когда та уже догорала, засыпали золой и прикрывали дымоход. Разгреби рано утром золу — и сверкнут золотыми искрами жаркие веселые угольки...

Дзиппа нашел в печи уголек, маленький, величиной с бусинку, вытащил его щепкой и закурил. Старикуну показалось, что огоньки в печи вот-вот погаснут, заглянутся пеплом, и он выдернул из полы своей телогрейки немного ваты, положил на вату уголек и понес его во двор. Набрал в сарае сухой соломы, сунул в нее вату с огнем и стал размахивать руками. Когда солома разгорелась, он поспешил с ней в дом, к печке. «Дым из нашей трубы должен подняться раньше других дымов, — думал старик. — Соседки не должны тревожиться об огне. Пусть идут к нам. Что бы говори, — улыбнулся он про себя, — а в нашем доме все же есть мужчища»...

Во время завтрака Дзиппа решил так: «Скажу-ка я Госка или Маро, чтобы они сходили к Уалинка, позвали се на уборку кукурузы, а заодно пусть выведают, что же у них все-таки случилось»...

Вскоре во дворе послышался голос Маро. Дзиппа повернулся к жене:

— Пойди-ка, позови ее сюда.

— Не войдет она в дом так рано, — ответила жена, — постесняется.

— А ты придумай что-нибудь, скажи, что я заблел и хочу ее видеть.

Маро вошла в комнату, остановилась у порога. В руке она держала совок — за огнем пришла.

— Что с тобой, Дзиппа? — спросила она. — Захворал, что ли?

— Увидел тебя и выздоровел, — улыбнулся он, встал, пододвинул гостье стул. — Садись, позавтракай с нами, славную фасоль сварила моя старуха.

— Посешь, посешь, — торопливей, чем положено, поддерживала мужа хозяйка.

— Спасибо, — берясь за ложку, поблагодарила Маро, — дай бог, чтобы запасы ваши не скудели.. Люди обычно скрывают свои недостатки, а я вот мучаюсь любопытством и признаюсь в этом...

Дзиппа вопросительно глянул на нее.

— Что это ночью ваша собака так лаяла? — поинтересовалась Маро. — Будто корову вашу угоняли со двора...

— Это к Уалинка солдаты приходили,— поспешила сообщить хозяйка дома.— Собака на то и собака, чтобы лаять,— вздохнула она,— но вчера ее собачья душа чуть не вылетела вон!

— Слышала, все слышала,— сказала Маро, обращаясь к Дзиппа.— Вчера мой бычок куда-то запропастился, пришлось мне до самой ночи искать его, а когда яшла в терновнике и гнала домой, под крыльцом у них,— она показала в сторону дома Уалинка,— что-то шевелилось. Какая-то тень за дерево спряталась...

— А Серафима как напугалась возле реки,— покачала головой жена Дзиппа.— Всеми святыми клялась, что видела мужчину.

— А я говорю о женщине,— сказала Маро.— Я даже окликнуть ее хотела, а потом поняла — ведь она от меня прячется...

— Когда к ним ни постучись,— проговорил Дзиппа,— всегда ворота на запоре.

— Может, обыск у них был? — высказала предположение Маро.— Но они на днях письмо получили...

— И я, Маро, о том же самом думаю,— сказал Дзиппа.— Хоть убей, не выходит у меня это из головы.

— Нет,— засомневалась Маро,— не может быть... Он ведь хорошим работником считался, доверяли ему.

— Что верно, то верно,— Дзиппа достал из кармана кисет с табаком,— работать он мог.

— Никогда не забуду, как мне по паряду дрова привозили,— сказала Маро.— Послали сына хромого Агубе, но тот не поехал. Тогда Кайти избил его до полусмерти и на следующий день снова погнал в лес. Я только потом узнала об этом...

— На одном собрании,— громко заговорил Дзиппа,— кое-кто взялся хвалить своего бригадира, метил его в председатели... Хромой Агубе ничего особенного не сказал тогда, посомневался просто — не рано ли, мол, поднимаете его на такую высоту,— Дзиппа встал, подошел к плите, закурил.— А Кайти запомнил это и при случае отомстил... Ты-то, наверное, думала, что он о тебе заботится. Нет, дорогая, отец его был душевным человеком, но он пошел не в отца...

— Страшный глаз у нашей соседки, страшный,— вздрогнула жена Дзиппа.— Была у нас корова,— стала рассказывать она,— хорошая корова, много молока давала.

Уалинка как-то удивилась, увидев ее: «Ну и вымя у вашей коровы!» В тот же день корова заболела, стала хиреть, кожа да кости остались от нее.

— Может быть, ты ее кормить перестала? — улыбнулся Дзиппа.

— Тоже мне, скажешь! — обидлась его жена. — Последний кусок ей отдавала...

В дверь постучали, и хозяйка, не договорив, пошла открывать. Возле крыльца с совком в руке стояла Госка. Ее тоже пригласили в дом и усадили за стол.

— Ни за что не поверю, что вы не говорили тут о вчерашнем вечере, — сказала Госка. — Я видела, как Дзиппа успокаивал собаку, загонял ее в сарай...

— Вот и мы понять не можем, что за люди были во дворе Уалинка, — кивнул Дзиппа.

— Какие-то огоньки вспыхивали и гасли, — добавила Госка.

— Карманные фонари, видно, были у них.

Все замолчали, раздумывая, потом Госка сказала:

— О-хо-хо, что за времена настали? Как вспомню тот вечер, когда Серафима прибежала с реки белей, чем эта стена...

## 8

Мысль стала оружием. Тот, кто не обдумывал сейчас завтрашний день и не готовился жить в нем, был похож на сухостойное дерево, на замшелый пенек. Серафима, не найдя выхода своим мыслям, отчаялась, не знала, как жить дальше, и, когда Таурзат пришла к ним в дом, в сердце девушки заглянул луч надежды...

Вчера вечером Таурзат опять постучалась к ним, вошла, села за стол, взяла Серафиму за руку и, улыбнувшись, заговорила:

— Может, я и надоела тебе, девушка, но ты не гони меня, а послушай... Завтра овец колхозных будем раздавать. Помогли мне. По одному барашку мы хоть за пазухой спрячем. Думаю, до обеда раздадим их. Хочу заранее поблагодарить тебя, пожелать, чтобы война скорее кончилась, стало в мире спокойно, и один из барашков, которых вы возьмете себе, стал жертвой на твоей свадьбе...

Люди медленно собирались во дворе колхозной фермы. Овцы сгрудились в дальнем углу загона, жались друг к другу, нюхали землю. В стороне негромко разговаривали

Дзиппа и хромой Агубе. Вскоре приехала на бричке Таурзат.

— Дзиппа, — спросила она, — чего вы ждете?

— Мы готовы, — ответил старик. — Может, ты скажешь что-нибудь людям?

— Не дети же мы, — пожалала плечами Таурзат. — Расстаемся мы ненадолго, скоро опять будем, встречаясь, говорить друг другу «доброе утро» или «добрый вечер». Будем работать и сидеть за праздничными столами... А теперь давайте поступать так, чтобы в день нашей общей радости никому не пришлось смущаться. Ну, что еще сказать?..

От слов Таурзат люди заулыбались, стали громче разговаривать...

Серафима смотрела на Таурзат, и ей казалось, что та ничуть не изменилась с тех пор, как девушка впервые увидела ее. Ни разу, наверное, она не принарядилась, и Серафима не могла представить ее себе, идущей вместе с другими женщинами на свадьбу и несущей в белом узелке три пирога, вареную курицу и графинчик с аракой.

...Тогда Серафима многого не понимала... Днем отец и брат сели в бричку и укатили со двора. А вечером Госка, накормив ужином дочку, долго ждала мужа и сына, но те все не возвращались, и мать, накинув на плечи платок и укутав в старый шарф Серафиму, сказала:

— Дойдем хоть до околицы. Тревожно мне. Не первый раз они поехали в лес за дровами, по все же боюсь, как бы не случилось беды...

Серафима едва тащилась, веки слипались, и она мечтала лишь о теплой постели. Она бы не отказалась, если бы мать взяла ее на руки и понесла. Они долго шли, потом повернули обратно. Когда стали возвращаться, девочка увидела, что кто-то идет им навстречу, испугалась и прижалась к матери.

— Не бойся, — успокоила ее та. — Не все еще спят, есть и такие, как мы, бродяги...

Мимо прошла женщина ростом чуть повыше матери. Обута она была в сапоги, в руках несла что-то похожее на косу или на вилы. Мельком взглянула на них и прошла дальше...

— Что это у нее в руке? — спросила Серафима.

— Винтовка...

— Настоящая?! Из которой стреляют?

— Она самая...

Девочке не верилось, потому что до сих пор она видела оружие только у мужчин.

— А в кого она будет стрелять? — спросила она.

— Ни в кого.

— А зачем тогда ей винтовка?

— Ты еще маленькая, и тебе незачем знать слишком много.

— Когда нужно сделать что-нибудь, ты говоришь, что я уже большая.

— Все равно ты ничего не поймешь.

— Пойму.

— Она мужу идет помогать. Те, у кого много пшеницы и кукурузы, увозят по почам зерно из села и где-то продают. Муж Таурзат следит за дорогами, чтобы никто не мог ни пройти, ни проехать без разрешения. А Таурзат ему помогает...

— Он такой сильный?

— Он большой начальник. Самый большой начальник в селе.

Но когда девочка увидела Таурзат днем, та не показалась ей ни суровой, ни воинственной, и вскоре Серафима забыла о словах Госка, и виделась ей только винтовка, и она пыталась понять — что же такое происходит, почему женщина должна ходить с винтовкой, с настоящей винтовкой, из которой стреляют.

Кто знает, сколько времени прошло с той ночи до другой, когда Серафима узнала, что убили Шахмата, мужа Таурзат?.. И до этого девочка не раз видела, как хоронят, люди возвращаются с кладбища и постепенно все забывается... Шахмата искали десять дней, и каждый день приносил в село новые слухи, один страшнее другого. Одна старуха на окраине какого-то города нашла изорванную, перепачканную кровью одежду. Там же нашли и труп Шахмата, зашитый в мешок и зарытый наспех...

В тот день Серафима видела Таурзат не заплаканную, а суровую, и девочка поняла — этого горя женщине хватит на всю жизнь...

Госка и Маро вместе пришли на ферму, взяли по три овцы и погнали их домой.

Уалинка и Дунекка попросили записать за ними шесть голов. На тех, кто старался взять как можно больше, Таурзат смотрела неодобрительно. Уалинка успела шепнуть Серафиме, которая вела список:

— Больше трех не пиши, все равно никому твоя бумага не понадобится... Ты нужна мне, — добавила она громко, — зайди вечером к нам.

Серафима, покраснев от стыда, смотрела на список, на цифру 6, стоявшую напротив фамилии Уалинка. Если бы даже сейчас упала с неба резинка, то и тогда девушка не смогла бы стереть написанное. «Зачем заставляет меня делать то, чего я не могу? — мучилась она. — Если бы не знала меня, тогда еще куда ни шло, но ведь знает, знает, что я не сделаю этого».

Одна старуха, поставив крест вместо подписи, спросила Таурзат:

— А если ваши бумажки пропадут, тогда как?

— Совесть-то не пропадет, — ответила Таурзат. Она долго смотрела вслед старухе, потом сказала: — Думает, я не поняла ее. Не посмела она, иначе бы сказала: «Если земля перевернется дважды и все останется на своих местах, только тогда вы получите своих овец. Не па что вам надеяться, были вы или не были — никто об этом и не вспомнит»...

Домой Серафима возвращалась вместе с Дзиппа. Шли они в село, охваченное беспокойством, в холодные свои дома. Безрогая овца старалась сбежать с дороги на обочину, но к задней ноге ее Дзиппа привязал веревку, конец которой держал в руке. Овцу надо стричь, но даже сквозь шерсть торчит ее острый хребет. Следом за овцой плелся худенький ягненок, блеял жалобно, обращаясь к матери, а та отвечала ему тихо и печально. Ферма осталась далеко позади, но Серафиме казалось, что это блеяние слышно и там, и в селе.

Безрогая овца тащила Дзиппа за собой. Серафима то отставала от старика, то догоняла его. «Почему он молчит все время?» — думала она. Девушке хотелось, чтобы старик улыбнулся ей и сказал: «Осень пройдет, а за ней зима. Настанет весна, Серафима, новая весна»...

Сумерки пришли из леса, со стороны войны, и, казалось, в воздухе запахло кровью и порохом...

На краю села, у капавы, Серафима увидела двух женщин. Они кричали и размахивали палками. Дзиппа тоже заметил их, но Серафима узнала женщины раньше — это были Уалинка и Дунекка. Девушка подумала, что они гонят свою корову. Ей захотелось, чтобы корова бросилась бежать и эти женщины следом, чтобы она, Серафима,

и Дзиппа не догнали их и шли себе, как сейчас, вдвоем. Если же придется идти с Уалинка и Дунекка, сколько двусмысленных слов будет произнесено! Уалинка выскажет все, что не посмела сказать при Таурзат, всем перемоет косточки, никого не пощадит...

— Серафима, скажи-ка мне, — обратился к девушке Дзиппа, — это не наши ли соседки машут там палками? Никкак не разгляжу...

Оказалось, мать и дочь неистово молотили колхозного коня Байтугана...

...Байтугана в бричку всегда запрягали с правой стороны. С левой обычно шел Булан. Отец Серафимы часто говорил: «Таких лошадей нет больше нигде и никогда не будет». Он говорил это, помахивая искусно сплетенным кнутом, от одного звонкого щелчка которого воробьи мигом резлетались с тутовника.

Кнут отец держал для порядка — лошадей он никогда пальцем не трогал. Накормленные и напоенные, они блестяли так, будто яйцом смазаны. Еще издали было видно белое пятно на лбу Байтугана, горящие глаза, наостренные уши. Каждый раз, когда бричка вкатывалась во двор, Серафима вспоминала историю, которую любил рассказывать ее отец...

Куда только колесо не покатится, куда только дорога не свернет. Запесло отца в дом, где три дня подряд гнали араку, где текла она непрерывно тоненькой горячей струйкой. Когда отец входил в дом, он не заметил порога, а когда выходил, порог стал высотой с гору... Долгий путь предстоял отцу Серафимы. Утомился и не заметил, как уснул, качнулся вперед и упал под задние ноги лошадей. Проснулся от жгучей боли в боку. Было темно — ни луны в небе, ни звезд. Отец Серафимы пошарил вокруг, и рука его наткнулась на копыто Байтугана, на дышло, на постромки, и он понял, что с тех пор, как упал, лошади не сделали ни шага. И он подумал, что они стояли бы так до самого утра, и сердце его наполнилось радостью, и сон прошел, и боль в боку утихла...

От прежнего Байтугана осталось только белое пятно на лбу. Шерсть потускнела, будто ее не чистили никогда, живот обвис, голова клонилась к земле, ребра выпирали, как обручи...

— Какого черта мы его взяли?! — ругалась Уалинка. — Старая кляча!

Она швырнула палку на землю и уставилась на приближающихся Дзиппа и Серафиму...

Дзиппа, подойдя к Байтугану, ласково похлопал его по щеке, глянул укоризненно на Уалинка и спросил:

— Зачем он вам? У вас ведь даже телеги нет...

Так спросил он, хоть должен был сказать другое, и Серафима думала о том же — как они осмелились забрать коня домой? Кто позволил им?

— Чего там говорить о телеге? — заворчала Уалинка. — Это же не конь, а пень, его с места не сдвинешь!

— Бедный Байтуган, — покачал головой Дзиппа. — Что с тобой стало...

Дзиппа помнил Байтугана еще жеребенком и мог бы, наверное, рассказывать о нем, как о человеке, рассказывать долго и красиво... Но старик молчал, вздыхая горестно, и Серафима думала, что он горюет о незавидной судьбе Байтугана, попавшего в руки Уалинка и Дунекка.

Дзиппа дернул веревку, привязанную к ноге овцы, и зашагал к селу. Серафима растерянно смотрела ему вслед, потом повернулась к соседкам и спросила:

— Может, помочь вам?

— Иди, иди, мое солнышко, помоги тому, кто пуждается в этом, — Уалинка ткнула пальцем в сторону Дзиппа. — А мы справимся сами, доберемся как-нибудь... Ты только не подумай о нас ничего такого, — будто испугавшись, зачастила она, — обязательно зайдя к нам вечером...

Когда Серафима догнала старика, тот, не глядя на нее, сказал:

— Осталась бы с ними.

— Они меня к тебе послали.

— А ты никого обидеть не захотела? — улыбнулся Дзиппа. — Даже солнце не греет всех в одно и то же время.

— Разве Байтуган еще годится для работы? — помолчав, спросила девушка.

— Посмотрел я на них, и вспомнилась мне одна притча, — сказал старик. — В одном доме выросли три сестры. Две старшие вовремя нашли свое счастье. Пришло время выходить замуж и младшей, но женихи перестали заглядывать в их дом. Время текло, как воды бурной реки, а девушка сохла в отцовском доме. Посмотрел на все это отец и сказал: «Выдам ее за такого же несчастливца, как она сама». В один прекрасный день этот несчастливец явился к ним, и отец отдал за него свою младшую дочь... Прошло

какое-то время, и заняло отцовское сердце — как там его дочь, как они живут, несчастные? Холодно, наверное, и пусто у них в доме... Не выдержал отец, отправился проведать их. Смотрит, а дом у них — полная чаша. Задумался он: «Какой бог им помогает? В чем кроется их счастье?» Приглядывается отец, присматривается и однажды замечает — счастье дома спрятано в глазах собаки!.. Отец девушки был человеком алчным, и понял он: не будет ему покоя, пока не выпросит у зятя с дочерью эту собаку. Едва он заикнулся об этом, как получил ее в подарок. Привез он собаку домой, смотрит в ее глаза, но никакого счастья в них не видит. Бросил он все дела и снова помчался к зятю. Ищет, высматривает — где же оно, счастье? На этот раз оно оказалось в глазах барана. Тогда отец попросил зятя: «Если ты хочешь что-нибудь сделать для меня, зарежь этого барана». Зять так и поступил... Когда жарили шашлык, капля жира упала в огонь, затрещав, подпрыгнула и пристала к губе маленького мальчика, внука жадного старика. Мальчик облизал губу, и счастье дома перешло в его глаза. Покрутился старик, повертелся и понял, что тут он беспилен: мальчика ему никто не отдаст, — Дзиппа умолк, оглянувшись, чтобы еще раз увидеть Байтугана. — Никакого проку не будет им от этого старого коня, — сказал он, — по они обязательно погонят его домой, потому что помнят Байтугана молодым и думают, что счастье села кроется в его глазах...

## 9

Дни сокращались, словно шаги усталого человека. Потом каждый из них покажется длиною в год. Старый Адаг не выдержит, встанет из могилы... Через поваленные ворота вкатятся во дворы машины врагов...

Одна весть опережает другую, одна страшнее другой.

— Эй, вставайте! Поторопитесь!

Утренний свет преломился от истошного крика Дунекка.

Серафима, будто горящую головешку к ней поднесли, вскочила с постели и увидела испуганное лицо матери.

— Что случилось?

— Не знаю, — отвечала Госка. — Уалинка и Дунекка что-то пронюхали опять...

— Вставайте! — орет под окном Дунекка. — Таурзат и ее друзья ночью сбежали в горы!.. Скорее, а то колхозное добро растащат без вас! — в ее голосе злорадный смех.

Растерявшаяся Госка хватала все, что попадалось под руку: корзинку, мешок, шпагат... Серафима, умывшись наскоро, выбежала на улицу, следом за матерью. Они смешались с толпой, устремившейся к правлению колхоза. Все эти люди — и женщины, и старики — казались Серафиме листьями, сорванными с деревьев злым ветром, а ветер, кажется, никогда уже не утихнет...

Раньше во дворе правления негде было пройти — всюду стояли подводы, машины, трактора, плуги. Теперь двор чист, как беговое поле... Напротив здания правления — длинные амбары, крытые черепицей. Раньше они всегда были полны, из каждой щели виднелись золотистые зерна кукурузы...

Люди остановились, сбившись в кучу, смотрели издали на амбары. Серафима подумала, что не случайно они держатся на расстоянии и не случайны их крики, летящие, словно камни, в сторону красных черепичных крыш.

— Смотрите-ка, там Гыццыл!<sup>1</sup> — воскликнула одна из женщин, стоящих рядом с Серафимой.

— Да, это его проделки, — подтвердила другая.

— Где он? — спросила третья. — Покажите его.

— Вон туда смотри, на крышу крайнего амбара.

— Вижу! Ишь куда забрался! Чтоб он шею себе свернул!

— А что это у него в руках?

— Клянусь богом, это граната!

— Граната! Граната!

Кто из женщин не знал, что такое граната? Самого солдата еще не успеешь увидеть, как заметишь висящую на его поясе гранату. А сколько солдат перешло через Ираф...

Граната в руках Гыццыла — это затаившаяся беда.

Никто из сельчан не помнил, когда родился Гыццыл. Отец и мать его исполнили свой долг перед миром, но природа отнеслась к нему с суровостью мачехи. Говорят, Гыццыл даже срока своего не дождался в утробе матери. Кто-то сказал, взглянув на новорожденного, что он меньше кулака. Кто-то добавил: «Такой маленький, что меньше и не бывает». Слово пошло из уст в уста, вернулось туда, откуда вышло, и прилипло к новорожденному: Гыццыл! Пять лет полз он на боку и добрался до границы вселен-

---

<sup>1</sup> Гыццыл — буквально маленький, малыш.

пой — до своих ворот. Вскоре стал доставать самые низкие ветки, потом научился добывать чурек из-под сита, висящего на стене, но так и остался Гыццылом, и никто не знал его настоящего имени... Нельзя было определить время года по его одежде. Козырек его кепки всегда был повернут назад. И свадьба и похороны — праздничный пир для него. Гыццыл никогда не обидел даже муху, но девушки шарались от него, как от нечистой силы...

С самого начала войны Гыццыл стал жить во дворе правления колхоза. Забыл дорогу домой. И ночью сторожил колхозное добро, и днем. Люди, посмеиваясь, называли его то членом правления, то заместителем председателя...

Сейчас он сидел на крыше крайнего амбара, и глаза его сверкали, как угли, с которых только что сдули пепел. А люди, толпясь в отдалении, осыпали его проклятиями.

— Чтоб ты провалился сквозь землю!

— Слезай, а то подожжем тебя вместе с амбаром!

— Начальство твое шашлыки в горах жарит, а ты свою дуриую башку на ветер выставил!

— Подожди, немцы придут, они тебя за ноги повесят!

Проклятия летели одно за другим, и женщины, выкрикивая их и посмеиваясь, старались перещеголять одна другую. Старик же в заплатах на ногах, в шерстяных носках, в плешивых каракулевых шапках и войлочных, мягких, как лопухи, шляпах стоял поодаль, будто не замечал ни Гыццыла с его гранатой, ни женщин... Серафима с интересом поглядывала на стариков. Уговорить Гыццыла слезть с крыши — все равно, что найти воду в пустыне; взять у него гранату — все равно, что в подоле таскать горящие угли. «Сумеют ли старик, — размышляла она, — сплести из слов ловушку, в которую попадет Гыццыл?» Ей стало жалко слабоумного. Раньше она проходила мимо него, как мимо сухого дерева, а сейчас ей хотелось защитить несчастного, угадать его тревожные мысли, которые он не в силах высказать. Она понимала — то, что происходит сейчас во дворе правления, кажется Гыццылу кошмарным сном. Этот двор казался ему хранилищем бесценных сокровищ, а люди из правления и он сам должны были беречь и защищать это богатство. И только в служении этом жизнь его обретала смысл, и он, сидя на крыше амбара, готов был сражаться и умереть...

Люди, столпившиеся во дворе правления, увидели вдруг, как Гыццыл сунул гранату за пазуху, закричал

что-то нечленораздельное и замахал руками. Казалось, он радуется чему-то, и люди пытались догадаться, чему именно.

— Смеется,— сказала в тишине одна из женщин.

— Пускает нас,— предположила вторая.

— Пошли!..

Словно щепка, отскочившая от полена, из толпы вырвалась одна из женщин. Гыццыл тотчас же преобразился, выхватил из-за пазухи грапату и замер, подняв ее над головой. В тот же миг послышался торопливый цокот копыт, и Серафима, оглянувшись, вскрикнула:

— Таурзат!

Имя это прозвучало, как выстрел. Толпа умолкла, и Серафиме показалось, что женщины, застыдившись, сейчас начнут расходиться по домам. И, может быть, так бы оно и случилось, если бы не раздался скрипучий, сварливый голос:

— Что ты нам скажешь, Таурзат? Чем успокоишь?

— Приятно видеть вас, Дума,— Таурзат соскочила с коня, подошла к высокой сухопарой старухе.— Какой ветер принес вас сюда?

— Сын мой от души поишачил здесь! Пришло время рассчитаться за его труды...

Дума жила на самом краю села. Сразу за ее домом начиналось бескрайнее кукурузное поле. Люди поговаривали, что из кукурузы, украденной с этого поля, Дума гонит голубую, как небо, араку. Рассказывали также, что краденной кукурузой Дума откармливает и кур, и индюков, и поросят...

Говорить с Думой, все равно что в костер сухие щепки подбрасывать. Таурзат оставила ее и, повернувшись к Уалинка, кивнула на мешок, висевший у той за плечами:

— Хоть бы ты тележку какую-нибудь подыскала себе. Разве можно так надрываться, такие мешки таскать? Ты ведь, Уалинка, раньше ведро воды не могла поднять, боялась за свой радикулит...

— Ты о своем мешке думай! — Уалинка исподлобья глядела на Таурзат.— В колхозе ведь много добра было, много чего можно с собой в горы унести... Да направит вас господь в такие ущелья, откуда назад не возвращаются!

— Давай, давай, Уалинка,— улыбнулась Таурзат.— Хватай все, что можешь! Только помни: когда весной мы

постучимся в твои ворота, не выходи к нам с пустыми руками, хотя бы горсть зерна сохрани для посева...

Серафима, слушая Таурзат, оглядела толпу и увидела, что людей во дворе правления собралось совсем немного, и нет здесь ни Маро, ни Дзиппа, пришли сюда только такие, как Дума, Уалинка и Дунекка. И девушке вспомнилась услышанная еще в институте восточная пословица: — «Когда караван поворачивает назад, хромой верблюд оказывается впереди».

## 10

Клочок неба, вписывающийся в четырехугольник окна, вмещал в себя легкие облака, похожие на белую шерсть, только что распушенную на чесалке... Серафиме не хотелось вставать с постели, и девушка, жмурясь от ярких лучей утреннего солнца, лежала и размышляла о том, что ждет ее сегодня, и предстоящий день дробился на множество рассчитанных заранее, будто прожитых уже, частей. А день обещал быть нелегким, нужно сделать много мелких и крупных дел, и времени на все это едва ли могло хватить.

Серафиме представлялась извилистая горная дорога, и она видела себя, идущей по этой дороге, и боялась посмотреть вверх — мрачные громады скал нависали над головой, грозя обрушиться вниз, сметая все на своем пути. А внизу, слева от дороги, глубоко в ущелье бушевала река, разбиваясь на тысячи брызг, выбрасывая на камни клочки пены... Дорога вьется и вьется, взбираясь на перевал, и, поднявшись на вершину, девушка видит солнечную долину и маленькое селение, в котором живет сестра Госка.

Вчера вечером мать и дочь долго сидели за столом, обсуждая этот путь, каждую его подробность, будто никто еще не ходил этой дорогой и была она такой же запутанной, как клубок ниток, которым вдоволь наигрался котенок.

Вчера они решили, что Серафима уйдет в горное село к тетке, и девушка подумала, что мать наконец-то успокоится. Но Госка долго не могла заснуть, ворочалась в постели, вздыхала, потом сказала: «Как же ты пойдешь одна? Хоть бы попутчик какой-нибудь нашелся... Мне, что ли, пойти, проводить тебя?» Серафима молчала, и мать, обидевшись, буркнула: «Тебе и дела ни до чего нет»...

А девушка думала в это время о Таурзат, как прискакала та на коне, одетая в мужскую одежду и по-мужски си-

дящая в седле, а копь всхрапывал, перебирая ногами. Потом, когда люди разошлись со двора правления, Серафима подошла к Таурзат и попросила:

— Возьмите меня с собой.

— А ты знаешь, куда мы уходим?

— Нет.

— Мы организуем партизанский отряд.

— Я тоже хочу с вами.

— Господи, ну какая же из тебя партизанка?! — засмеялась Таурзат. — Ты ведь слова громкого не можешь сказать, не то что винтовку взять в руки...

Серафима не сказала матери об этом разговоре — Госка бы тоже посмеялась над ней, а потом, рассердившись, отругала...

Девушка встала, умылась кое-как, наспех причесалась, накинула старое пальто, в котором давно уже не выходила даже во двор. Госка не любила, когда дочь ее надевала старые вещи, но теперь она и платок разрешит повязать дочери, и самый обшарпанный чемодан даст в дорогу. Скажет, вздохнув:

— Потом будешь паряжаться. Придет еще время...

Серафима знала, что возьмет с собой. Мать уже отобрала вещи и чемодан приготовила, а потом, наверное, побежала к соседям. Что, интересно, она у них выпросит? Может, головку свежего сыра, может, банку топленого масла...

Девушка подождала мать, но так и не дождавшись, вышла на улицу. Нужно было перед отъездом проститься с соседями, и она заколебалась у ворот — пойти ли ей сначала к Уалинка, к Маро или к Дзиппа? Подумав, она решила: «Пойду сначала в дом Кайтп»...

Вот уже неделю, а то и больше, Серафима не была там. Как-то Дупекка, встретившись с ней, схватила ее за руку, хотела потащить к себе, но Госка взглядом показала дочери: не соглашайся, не ходи. Когда Дупекка ушла, мать сказала:

— Я не хочу сказать о них ничего плохого. И относятся они к тебе хорошо, и приглашают от души. И ты не ребенок — вольна поступать как знаешь... Обычай наши не вчера появились и не завтра умрут. Не хочу я, чтобы кто-то мог сказать, что ты между их домом и своим протоптала тропу...

Но к сегодняшнему дню это не относилось. Мать сама не отпустила бы дочь, если бы та не попрощалась с соседя-

ми. И не только с соседями — сегодня Серафима прощается со всем селом. Кто знает, когда она вернется сюда и кого застанет в живых?

В дом Уалинка девушка попала не сразу. Покосившиеся ворота их были плотно закрыты, и сколько Серафима ни стучала, никто из дому не вышел. По обычаю не полагается, подойдя к дому, выкликать женское имя, произнести же «Кайти» почему-то было очень трудно... Девушка постучала еще, потом бросила в окно камешек и тотчас же услышала скрип отворяемой двери.

— Иду, иду! — с крыльца сбежала, зашлепала большими галошамп, надетыми на босу ногу, Уалинка...

Дом соседей, если ты дружно живешь с ними, бывает знаком тебе, как твой собственный. И голоса его обитателей, и запах пищи — все тебе привычно здесь и близко... Дом Кайти стоял неподалеку от дома Госка, но для Серафимы ни Уалинка, ни Дунекка не были просто соседями, и девушка будто не во двор к ним вступала, а в свое светлое будущее. На широкое цементное крыльцо, казалось, не сама поднималась, а шаферы вели ее, бережно поддерживая под руки, и она ступала осторожно, боясь запутаться в подоле своего длинного свадебного платья... Серафиме всегда хотелось, чтобы Кайти жил где-нибудь подальше, в другом селении, чтобы впервые она переступила порог его дома под радостную свадебную музыку...

— Это ты, Серафима? Входи, входи! — не дошлепав еще до калитки, заговорила Уалинка. — Ну и жизнь! Целыми днями ворота не открываем! Даже на улицу выйти не хочется!.. О, господи, за что обрек ты нас на такие муки?

Пока Уалинка возилась с задвижкой, Серафима раздумывала, не зная, входить ей или не надо, и, в конце концов, решила попрощаться здесь, у ворот.

— Заставила ты меня поскучать! Сколько времени ты не была у нас? — Уалинка схватила Серафиму за руку, притянула к себе, обняла. — Ипой раз думаю, может, обиделась она на нас... Сама ведь знаешь, солнышко мое, ты мне дороже единственного сына...

Трудно глядеть, не отрываясь, на солнце, но еще труднее смотреть в глаза Уалинка. Если бы она не так часто сыпала словамп, может, радость ее и не казалась такой нарочитой, не папомнила бы вещь, выставленную на показ.

— Удивительный ты человек! Держи тебя хоть до завтра посреди двора, и то ты будешь молчать... Пойдем в дом!

— Я так забежала...

— А я и не говорю, что ты возьмешь наш дом и взвалишь его на плечи!

— Мне бы увидеть Дунекка... Я тороплюсь...

— Идем, идем! У меня тесто как раз подошло, будем лепешки печь.— Уалинка, не отпуская руку девушки, вела гостью через двор.— Дунекка, дочка, смотри, кто к нам пришел!

Занавеска крайнего окна отодвинулась, и в раме появилось веснушчатое лицо Дунекка.

— Всегда ее волоком надо тащить!

В коридоре на самодельной вешалке висела латаная-перелатаная телогрейка, которую носили по очереди то Уалинка, то Дунекка. Под вешалкой на чисто вымытом полу стояло две пары галош. В дальнем углу коридора раньше была дверца, ведущая в подвал. Летом, когда Серафима заходила к ним, Уалинка проворно спускалась в подпол, выносила оттуда в деревянной чаше холодное домашнее пиво. Не допить до конца считалось неприличным, а осушить чашу до конца сил не хватало; чаша казалась Серафиме бездонной. Теперь в этом углу стоит сундук, который, наверное, принадлежал свекрови Уалинка. Слева от сундука — филенчатая дверь. Серафима с радостью открыла бы ее и вошла, потому что дверь эта вела в комнату Кайти. Но распахнулась не эта дверь, а другая, справа, и Серафима увидела Дунекка и ощутила приятный запах свежего теста. А Дунекка выхватила из печи дымящуюся поджаренную лепешку и бросила ее на непокрытый, дожелта выскобленный стол.

— Здравствуй, долгожданная гостья,— Дунекка подвинула к столу табуретку, покачала головой, как бы давая понять, что Серафима своя ей, а свою можно и пожурить.— Присядь, сделай милость!

— Я в горы еду, Дунекка.

— Посиди пока с нами, а потом хоть в Тбилиси, хоть в Ереван, куда хочешь езжай,— Дунекка, видно, не собиралась слушать гостью. Она глянула в окно, задумалась, спросила: — А куда мама делась?

— Мне нужно еще к соседям зайти...

— А твои спутники все готовы? Где они ждут тебя?

— Что я, маленькая, что ли? В каждом селенпи у нас родственники... Будут у меня попутчики или нет, я все равно пойду. Ночью буду останавливаться у родственников, а днем шагать себе потихоньку...

Серафиме хотелось поговорить о предстоящем пути, утвердиться в своем решении, почувствовать дорогу, ожидающую ее.

— Бросаешь нас, бежишь?! — перебила ее Дунекка. — А кто в селе останется? Только те, кто в сумерки нос из дому боится высунуть? Ладно, — махнула она рукой, — идите, все равно от врагов вы нас не защитите!

— Зачем ты так говоришь, Дунекка? Я же ничего плохого не сказала...

— Может, Таурзат под тобой костер развела? Подпалила тебя? Уговорила? Может, и мне с вами уйти? Говорят, шашлык, нарзан и горный воздух очень полезны для здоровья!

«Вот, Дунекка, и проговорила ты, — подумала Серафима. — Долго, однако, ты таила эти слова, глубоко прятала их»...

— Если бы Таурзат взяла меня с собой, я была бы счастлива, — с несвойственной ей резкостью ответила Серафима. Она не могла заставить себя посмотреть Дунекка в глаза. — Все лучшие люди ушли с Таурзат...

Дунекка отошла от печи, подвинула стул к столу, села, опустила голову на руки, ухмыльнулась, собираясь сказать что-то язвительное, но вдруг вскочила, бросилась к двери, выкрикивая что-то невразумительное. Серафима испуганно оглянулась. Порог, через который она только что нехотя переступила, исчез, исчезла дверь, сколоченная из толстых досок, исчезли свежепобеленные стены... Кайти вошел в комнату, Кайти заполнил собой все...

— Можно к вам? — услышала Серафима.

Да, это был Кайти, но из-за плеча его не торчал штык, на голове не было пилотки со звездочкой, не было на нем кожаного ремня с отекающей на бляхе звездой...

Дунекка окаменела, не добежав до двери. Серафима, вскочив, испуганно глядела на Кайти.

— Гость — это посланец бога. Дунекка, почему ты не усадила нашу гостью?

Это говорил чужой, украденный у кого-то голос. Настоящий голос Кайти остался где-то в далеком прошлом.

Раньше, застав Серафиму у себя дома, он весело кричал:

— У нас в гостях дочь Алдаровых! Носите ее на руках! Тащите ей кресло из слоновой кости!..

Никогда, даже в самую сырую погоду, Кайти не надевал галоши, даже в самые лютые морозы не носил шерстяные носки, никогда его брюки не пузырились на коленях: отутюженные до блеска стрелки напоминали острия кинжалов... Раньше до первых холодов Кайти расхаживал в доме и по двору в беленьких маечках, обтягивающих его и подчеркивающих силу, которой, казалось, для одного человека было многовато... Сейчас Кайти стоял в старой отцовской рубашке, тысячу раз стиральной, бесформенной, линялой. Давно не стриженные жесткие волосы его неряшливо кудрявились на шее и на висках и были тусклыми, как шерсть старого Байтугана.

— Иди к матери, — покосившись на сестру, сказал Кайти.

Серафима испугалась того, что может остаться с ним наедине. Нужно было сообразить что-нибудь, найти предлог, чтобы выйти вместе с Дунекка. Но пока она размышляла, Дунекка успела выскочить из комнаты...

— Серафима, — будто из-под земли она услышала голос.

«Шлеп-шлеп», — еще услышала она и отпрянула, давая дорогу галошам. Она взглянула на него — Кайти, улыбаясь, тянул к ней руки, будто между ними ручей журчал и Серафима собиралась прыгнуть через него.

Нет, если бы она прыгнула, то только в другую сторону.

— Серафима, я не верю... У тебя же не каменное сердце... Хочешь, письма твои паизусть повторю?

Упав на колени, он ползал где-то вниз, слезы катились по его щекам и падали на пол.

Руки!.. Серафима только сейчас заметила, что руки его неестественно бледны, будто их никогда не касалось солнце... Раньше эти пальцы, как клещи, зажимали перекладчину турника на школьном дворе, и Кайти вертелся, пока у зрителей, таких же, как и он, парней, не начинали от зависти кружиться головы... Бледные руки тянулись к Серафиме, как щупальца.

Между девушкой и Кайти вырос вдруг стол с резными ножками. Кайти, будто отброшенный, упал на стул, схватился руками за голову.

— Я будто на крыльях летел сюда, мечтал об этой встрече.— Кайти поднял голову, скрежетнул зубами:— Мне же, как собаке, бросили черствый чурек!

Серафима чувствовала себя, как на островке посередине разлившейся, бурлящей реки: и уйти ей было некуда, и суши под ногами оставалось все меньше и меньше...

— Серафима,— руки Кайти вяло легли на стол, набрякшие веки опустились на глаза,— честное признание избавит меня от мук или загубит окончательно... Знаю, этого не миновать...

Вздых Кайти послышался откуда-то из-под самых ног. И во вздохе и в словах, произнесенных с такой печалью, сквозила явная фальшь. Серафима не знала такого Кайти, который гнулся бы под тяжестью собственной вины.

— Ты одна была в моих думах,— продолжал он.— Нас разделяли поля, леса, горы и море... Но тогда я был ближе к счастью, чем теперь. Тогда я верил — наградой за все мои страдания мне будет улыбка любимой...

«Ночью возле реки я видела Кайти,— подумала Серафима.— Это был он».

Едва она поверила в эту мысль, как давний страх возродился, и уже не Кайти виделся ей, а ночной призрак, живое воплощение ужаса.

— ...Мы стояли на одном берегу, на одном! Я слышал твое дыхание, слышал, как бьется твое сердце! С тех пор я считаю твои шаги... Что еще суждено испытать мне? Стою под солнцем, а оно не греет меня... Ничего в мире нет такого, что я пожалел бы отдать, чтобы хоть раз взглянуть на тебя... Той ночью, когда ты пришла за водой... Едва я узнал тебя, как ты исчезла. Даже слово мое тебя не достигало...

«Когда ранним утром ко мне явилась Дунекка,— терзалась Серафима,— почему я не задумалась ни о чем, не усомнилась?»

— Война делает взгляд человека пристальным, снимает пелену с его глаз. Война открывает настоящую цену правды... Ты притворяешься слепой, пытаешься не видеть то, что давно уже яснее ясного, пытаешься обмануть себя...

Учитель осетинского языка в каждом слове искал большую идею. Предложения, которые придумывал Кайти, учитель заглавными буквами выводил на доске...

— Мы ни в чем не виноваты... Жизнь преподносили нам, как сплошной праздник, нас учили говорить лозунга-

ми... Осетин расправил плечи и выбрался из темного ущелья!.. Отобрали его надежду — лошадь и плуг, загнали в колхоз... Солдата бросили в огонь, подставили под пули. Солдат должен остановить стального великана, солдат, вооруженный несчастной винтовкой...

Отметки Кайти всегда были украшением классного журнала. Когда перечисляли лучших учеников школы, Кайти называли первым. Кайти всегда умел красиво говорить. Одни слова забываются, другие остаются навеки. Как-то раз она поспорила с Кайти и, как всегда, проиграла. «Счастливая ты, — снисходительно улыбнулся он, — чему тебя учат, тому ты и веришь... А в жизни не все так просто... Разве можно всех причесывать под одну гребенку? Близнецы и то хоть чуть, но отличаются друг от друга, а ведь не все вокруг нас близнецы... Одни стоят ниже, а другие забралась выше ледников Казбека... Вот они-то, сильные, и должны быть хозяевами жизни». Пафос, с которым произносилось все это, не оставлял сомнений в том, что Кайти относит себя к последним...

— Земля уже столько крови впитала, — говорил он теперь, — что не сможет больше ни капли принять... Семиглавой России отрубили шесть голов, душа ее на волоске держится... К утру немцы будут здесь. Твоя Таурзат пусть хоть в медвежью шкуру залезет, и то не напугает их. Пустые наши дома задрожат от их смеха...

Когда-то Уалинка сидела за столом там, где сидит сейчас Кайти, а Госка сидела напротив, и Уалинка, помахивая комсомольским билетом сына, ворчала: «Это же игрушки-погремушки, которыми забавляют малышей»...

Дверь в комнату была чуть приоткрыта — в щель не пролез бы и мизинец. Над медной ручкой блеснул чей-то глаз, и дверь тихо затворилась. Серафима не поверила бы, если бы ей сказали, что все это время ни Дунекка, ни Уалинка не стояли за дверью, не подслушивали, приложив ухо к щели. Девушка решительно шагнула к порогу.

— Мне надо идти...

Ей показалось, что не пошла она, а побежала. Но Кайти оказался еще стремительнее — вскочил, встал между девушкой и дверью.

«Э-эх», — скрежетнул он зубами, и Серафима подумала, что он схватит сейчас, что попадет под руку, ударит ее...

Дороги после школы были одна заманчивее другой. Серафиме сказали дома: «Учись либо на врача, либо на

учителя». Желание старших совпало с ее собственным, и Серафима поступила в педагогический институт...

Кайти как мальчик из легенды выбрал из множества дорог три. Сначала назвал финансовую школу; если эта мечта не сбудется, он станет инженером; если не получится — тогда юридический институт... Но вышло так, что в руках Кайти оказались ручки плуга... Кайти — колхозник, Кайти — учетчик, бригадир... Кайти — гордость села, его будущее, его опора...

«Не то удивительно, откуда взлетает орел, а то, куда он прилетит!» — как зачин поэмы была эта фраза Кайти. Он выбрал самого быстрого из колхозных скакунов, оседлал его, взял кнут, выплетенный хитро, с султанчиком на кнутах-овище. Щелканье этого кнута долетало до самого города, до Серафимы...

— Ты обманула меня. Солнце грело тебя с одной стороны, а ты смотрела в другую... Впрочем, когда и какой женщине хватало одного солнца?! Не трону тебя, не бойся, еще не дошел до того, чтобы женщину ударить... Скажи-ка, Маро тебе письма приносит или ты сама к ней ходишь?..

Кто это ему сказал? Дунекка! Больше некому. Она видела, как Серафима читала письмо Канамата.

— Говори, какими надеждами тешит себя твой Канамат? Наверное, и точный срок победы сообщил тебе?..

Кайти подскочил к ней, обнял цепкими руками, прижал ее к себе.

— Никому не отдам тебя, никому!.. Я — судьба твоя, судьба!.. Я появился между тобой и рыбами! Я тебя спас!..

— Отпусти меня!.. — Серафима уперлась локтями в его грудь, пыталась вырваться. — Оставь меня!..

Когда Серафима входила в коридор, она не заметила ничего подозрительного. Теперь же догадалась, что дверца, ведущая в подвал, спрятана под сундуком, а дно сундука, наверное, выбито... Когда-то в этом сундуке прятали деньги, книжкал прадеда, приданое невесты... Теперь он стал дверью, ведущей во тьму...

— Сынок! — голос Уалинка раздался, как неожиданный выстрел.

Кайти увял разом, обмяк.

Дверь отворилась, будто сама по себе.

— Пропали! — Лицо Уалинка было перекошено, руки судорожно прижаты к груди. — Идут!.. Таурзат проклятая!..

Серафиму словно толкнул кто-то, как толкают сани с горы. Но сани не всегда скатываются благополучно... В коридоре девушка наскочила на Уалинка. Та схватила ее, будто веревками опутала, — Серафима даже вскрикнуть не успела. Уалинка подняла ее, как пушнику, отнесла назад в комнату, затворила за собой дверь, упала на колени, умоляюще протягивая руки:

— Очаг мой! Очаг мой! Наша ты, из нашей семьи! Не уходи, не губи нас! Не делай этого! Не разрушай наш дом!..

Слова Уалинка обжигали Серафиму, как искры, летящие от костра, и, словно спасительная вода на пожаре, из глаз девушки хлынули слезы, и она удивилась, подумав, что не плакала до сих пор, и слезы придали ей ярость и силу, и она рванулась, будто прыгнула через костер, выскочила на крыльцо, на свет, увидела солдат, входящих во двор, встретилась взглядом с Таурзат...

# Дети великого Гато

## 1

Сквозь щели ставен в комнату рвался радостный свет весеннего утра. Туган встал, задернул занавеску, снова лег и закрыл глаза. Торопиться ему было некуда. Утро не обещало ничего нового, ничего он и не ждал от него. Солнце поднимется в зенит, потом опустится за горы — пройдет еще один пустой, бесхлопотный, скучный день. Как вчера и позавчера, как завтра и послезавтра...

Скрипнула, отворяясь, дверь. Туган натянул на голову одеяло, давая понять, что день его еще не начался и пачнется не скоро.

Послышались тихие, осторожные шаги. «Отец», — сразу же поплыл Туган. Только он мог войти так неслышно, только от него так пахло соляжкой.

Сколько раз этой весной Туган видел своего отца? Пашет тот от зари до зари, будто конец света настанет, если колесо его трактора выйдет из борозды. Когда он бывает дома, Увадз, отец Тугана? Забежит иногда на минутку, робко, на цыпочках подойдет к спящему сыну, и разнесется по комнате неистребимый запах соляжки.

Тугану хочется выглянуть из-под одеяла, увидеть светлое, смущенное лицо отца, но что ответит Туган, куда спрячет глаза, если отец заговорит с ним?

Увадз остановился посреди комнаты, постоял, глядя на сына, потом шагнул вперед, наклонился и прошептал, словно радостную тайну выдавая:

— Я не вернусь сегодня. В сарае тляка. Возьми ее и пройдишь по огороду...

Раньше, когда Туган был маленьким, отец, разбудив его утром, говорил тем же тоном: «Вставай... Забирайся ко

мне на плечи... Пойдем в магазин... Накупим всего-всего...»  
Как давно это было...

— Не ленись... Отдыхать лучше в полдень, в жару...

Туган знает: неразговорчив отец, роняет слова, будто по зернышку в пустой мешок бросает. Знает и другое: отец ищет повода поговорить с ним, а уж слова, которые он припас для сына, одно горше другого. Вот-вот, кажется, отец начнет разговор, но нет, все не может решиться. Стоит посреди комнаты, повздыхает, повернется и уйдет. Все невысказанное унесет с собой. Как вчера и позавчера...

Когда отец отшагал уже полдороги до поля, Туган встал, умылся наскоро, пошарил в шкафу, нашел зачерствелый ломоть пирога с сыром и, откусывая на ходу, пошел через двор к сараю.

Тяпку, наверное, целый год не точили, на острие ее можно было танцевать босиком. Туган хотел привести ее в порядок, но, пока будешь искать молоток да камень какой-нибудь вместо наковальни, пока отобьешь острие и заточишь его напильником, утро кончится и пачнется жара. Волоча за собой тяпку, он вышел было из сарая, но тут же вернулся, увидев соседскую старуху Сопо. Она приходилась ему какой-то дальней родственницей по отцу.

Случалось иногда — дом Увадза вдруг мертвел. Не курился дым над грубой. Увадз, мать Тугана Ниффа и сам Туган сходились под одной крышей, но родной очаг не грел их. Они входили в дом, будто в холодный омут ныряли. Ни слова не услышишь, ни звука. И тогда, как по тревоге, прибежала к ним Сопо. Разгорался огонь в печи, появлялось парное молоко в подойнике, в шкафу — горячие пироги...

Плстень между их огородами был реденький, как решето. Старуха копошилась на своих грядках и тоже заметила Тугана. Теперь она не уйдет. Она глаз с него не спустит, и работу оценит, и инструмент, а язык у старухи, как бритва. Сопо — не Увадз, за словом в карман не полезет.

Когда Туган появился наконец в огороде, Сопо выпрямилась, опираясь на рукоять своей тяпки, и ехидно усмехнулась:

— Утром стук молотка далеко слышится...

— Может, и тебе надо поточить что-нибудь? — так же схидно осведомился Туган.

— Ладно, ладно! — махнула рукой старуха. — Нагнись, а то вон уже вьюнок по тебе полез...

Когда Туган прополоснул площадку, которой хватило бы для свадебных танцев, Сопо подняла голову.

— Что молчишь? — спросила она. — Ты ел?

— Не помню, — Туган выпрямился, пощупал живот, озадаченно пожал плечами, — вроде бы ел, а вроде и нет... Придется на рентген сходить, проверить...

Старуха покачала головой, бросила тяпку и резво засеменаила к дому. Вскоре она появилась с белым узелком в руке. Пройдя вдоль плетня в дальний конец огорода, она поставила узелок, сквозь который проглядывали края тарелки.

Туган, сглотнув слюпу, вопросительно глянул на старуху.

— Работай, работай! — заворчала Сопо. — Осла, чтобы не ленился, морковкой приманивают.

— Хочешь, друзей позову? — предложил Туган. — За десять минут всю работу сделаем.

Старуха молча полола свою грядку.

— Стоит только свистнуть...

— Зачем свистеть? — усмехнулась Сопо. — Возьми в руки рог с аракой, и они тут же слетятся.

Когда солнце перевалило за полдень и Туган добрался наконец до белого узелка, в огороде появился низкорослый, юркий Толас. Он деловито подсел к Тугану и так ретиво принялся за еду, будто три дня до этого голодал. Проглотив не жуя последний кусок сыра, он весело подмигнул Тугану:

— Сегодня в нижнем конце села свадьба!

— Чья?

— Какая нам разница?! Там у нас свой человек — Снука. Он просил меня, приходите, мол, обязательно.

— Выпить тебе захотелось, вот и возомнил, что приглашают...

Снука... Рано или поздно Туган должен был встретиться с ним, рассчитаться наконец за все. Сколько раз уже Туган собирался сделать это, но все откладывал, сдерживал себя. Не потому, что боялся, нет. Останавливало другое: об этой драке сразу же узнала бы Хани. Позабыв обиды, она примчалась бы из города, а уж отчитывать — это Хани умеет...

Но если Снука приглашает, отчего бы и не пойти? До драки, может, дело и не дойдет, а поговорить с ним, словом слово выманить нужно.

— Слушай,— сказал Туган,— раз ты затеял доброе дело, сделай его как следует...

— Понял! — вскочил на ноги Толас.— Мы с Сиука выйдем тебе навстречу, схватим под руки — пусть все видит, что мы силой тащим тебя.

Сиука, встретивший Тугана, улыбнулся ему, как старому другу:

— Пойдем, пойдем скорее!

— Боюсь, надолго это,— озабоченно нахмурился Туган.

— Никто тебя не задержит,— сказал Сиука.— Тебе и Толасу я отдельный стол накрою.

Путь от ворот дома, где была свадьба, до накрытого стола показался Тугану бесконечным. Тугана заметили сразу. Ему хотелось подойти к собравшимся во дворе, поздороваться, но люди смотрели на него недружесливо, настороженно. Туган, смутившись, опустил голову.

Когда сели за стол и Толас, возбужденно хихикая, стал потирать руки, Туган ткнул его локтем:

— Сиди спокойно. Мы в гостях.

Нет, подумал он, сегодня нельзя. Ни о какой драке здесь и речи не может быть. Люди не простят мне, если я на свадьбе затею что-нибудь. Ни за что не простят...

Туган так ни разу и не встал из-за стола. Сидел молча, думая о своем. Даже на танцы не пошел взглянуть.

Когда время приблизилось к ночи и гости начали произносить прощальные тосты, к Тугану подсел Сиука и, прижав губами к его уху, прошептал:

— Ты должен выпить со мной. Пойдем.

— Я тороплюсь,— слабо возражал Туган,— мне надо уходить.

— Тогда не стоит терять времени. Идем скорее...

Они зашли в кладовую. Сиука запер за собой дверь, откупорил бутылку, налил по стакану. Выпив, Сиука опустил на плечо Тугана тяжелую руку:

— Давай поговорим...

В другом месте Туган сбросил бы руку Сиука, но тут сдержался.

— Я давно хочу тебя спросить,— глаза Сиука чуть увлажнели,— почему ты не любишь меня?

— Такие вопросы задавай девушкам,— усмехнулся Туган.

— Нет, ты скажи,— упорствовал Сиука.— В чем дело?

— Я пойду,— сказал Туган.— Спасибо за все.

— Нет,— замотал головой Сиука,— подожди меня на улице.

Он догнал Тугана, взял его под руку, потянул за собой:

— Давай пойдем к нам...

— Хватит на сегодня,— отмахнулся Туган.— Пойдем лучше посидим у реки.

Они двинулись к лесу, туда, где виднелись строения колхозных ферм, к реке, журчанье которой было хорошо слышно в ночи. Едва они вышли за село, как их нагнал Толас.

— Я тоже хочу с вами,— пролепетал он, качаясь, как хилое деревце на ветру.

— А не помнишь ли ты, где твой дом? — усмехнулся Туган.

— Во-он,— Толас, потоптавшись на месте, ткнул пальцем в сторону села.

— Вот и шагай туда,— подтолкнул его Туган.— Понял?

Туган смотрел, как Толас, едва переставляя неверные ноги, бредет по дороге, а Сиука, вдруг засмеявшись, спросил:

— Помнишь, как ты умел свистеть в детстве? Сейчас не сможешь уже, наверное...

Если засвистеть здесь, услышат на фермах, подумал Туган. Сегодня ему не хотелось напоминать людям о себе. Он не забыл, как смотрели на него там, на свадьбе.

— Жизнь — хитрая штука,— как бы размышляя вслух, говорил Сиука.— Человек всегда должен знать, кому он может свистнуть в трудную минуту.

«Уж тебе-то я не свистну», — усмехнулся про себя Туган, и вспомнилось ему, как Сиука, когда учился в школе, таскал тайком кое-кому из учителей то фрукты, то овощи, то араку. Ребята смеялись над ним, говорили, что скоро он начнет дарить учителям поросят.

Окончив школу, Сиука не стал поступать в институт. Нет, он устроился на молочную ферму, схватился за коровьи соски...

Они свернули с дороги и пошли вдоль реки. Под погами хрустела, перекатываясь, мелкая галька.

— Я чувствую,— говорит Туган,— ты хочешь что-то сказать, да все тянешь...

— Боюсь, ты не так поймешь меня...

— Тогда поговорим в другой раз.

— Слушай, — Снука остановился, — есть возможность сделать деньги...

— Разве я мешаю тебе? — пожал плечами Туган.

— Давай сделаем это вместе. Из тех, кто на твой свист выбегает, тоже кое-кого возьмем... Ехать можно хоть сейчас.

Интересно, размышляет Туган, зачем я ему понадобился? Что это он меня умасливает? А-а, догадывается он, ему пужны люди... Бригада во главе с Снука... Хмельная мешанина ворочается в голове Тугана — выпитое дает себя знать. Ехать можно хоть сейчас... Но я уже съездил, мелькает трезвая мысль, съездил...

Многих односельчан Тугана заманила эта дальняя дорога. Росспя велика и, если смотреть из тесной Осстии, кажется, что где-то можно приспособиться, урвать, ухватить свой кусок. И снаряжаются паспех дикие бригады, едут, мчат, стараясь обогнать друг друга, заключить выгодный договор и работать день и ночь, думая только об одном — деньги, деньги, деньги... Кто знает, с чем возвращались любители дальних странствий — он, Туган, не заглядывал к ним в карманы. Но с чем вернулся он сам, Туган помнит хорошо. В прошлом году и его соблазнили. Ехали долго, с пересадками. Добрались наконец до места, взялись за работу. Но Тугану уже не хотелось денег. Он изнемогал от песчаных бурь, от изнуряющей жары тех мест: даже ночью, когда и двери и окна были распахнуты настезь, он дышал, как рыба, выброшенная на берег...

— Я знаю самую пастоящую целпну, — голос Снука слышался будто издали.

— Давай-ка отложим этот разговор, — сказал Туган и добавил заплетающимся языком чуть слышно: — Последний стакан давит на меня, как могильная плита.

Снука схватил его за рукав:

— Слушай, куда мы плетемся?

— Перемет свой хочу проверить, может форель попалась... Вон, возле шиповника...

— Бракопьерствуешь? — усмехнулся Снука.

Туган резко остановился, высвободил свою руку.

— Может, и ты послушаешь меня?

— Да уж пойму тебя не хуже Толаса...

Тугану хотелось сказать что-то значительное, но он

никак не мог собраться с мыслями и, злясь на себя, стал говорить вовсе не то, что следовало бы сейчас, и не так; язык едва ворочался, голос звучал глухо, слова, как булыжники, падали каждое само по себе:

— Ты и сам знаешь эту сказку... Они учились в школе вместе... Но один получил аттестат, а другой — нет... Многие готовились поступать в институт... А тот, о ком я тебе говорю, с аттестатом под мышкой пошел на ферму коров доить...

— Когда закинул перемет? — безразлично спросил Снука. — Может, зря мы поперлись в эту даль?

— Совсем не зря... За то, что он доил коров, ему дали бумажку, в которой было написано: «Вот настоящий человек, мы верим ему, откройте перед ним дверь института»...

— Без бумажки ты букашка! — хохотнул Снука.

— Стал этот человек студентом, — гнул свое Туган. — Коровы мычаньем проводили его в светлый путь...

— Может, хватит, а? — поморщился Снука. — Что-то голова трещит...

Споткнувшись о камень, он тяжело повалился на землю. Туган поднял его, поставил на ноги и потащил за собой. Снука спотыкался обо все, что попадалось под ноги: о камни, о пни, о кочки...

— Душно, — стонал он. — Хоть бы ветерок подул. Остановись, давай хоть закурим...

Туган еще чувствовал силу в себе, и он не верил Снука, подозревая, что тот не так пьян, как притворяется, чтобы увильнуть от разговора. А разговор только пачкался...

— Наш дояр стал учиться заочно... Нашел себе работу... Решил обосноваться в городе... Начал захаживать в общежитие мединститута... Там жила одна девушка, его односельчанка...

Едва он проговорил это, как Снука, увлекая его за собой, ухнул в яму, Туган ударился коленом о камень и, вскипев от злости, вскочил, поднял Снука, тряхнул его изо всех сил:

— Кончай свои фокусы! Стой!

Нет, разговор не получился. Жалея, что он затеял его сегодня, Туган молча тащил обвисшего Снука и думал о Хане. Его мысли мелькали, одна опережая другую, исчезали и возникали вновь, горячечные, бредовые, безумные...

Из города в село приполз слухок. По дороге он оброс, наверное, и руками, и ногами. Туган долго ничего не знал, но вот наконец дошло и до него... Снука, оказывается, стал слишком часто навещать в общежитие к Хани. Услышав это от Толаса, Туган сломя голову бросился в город, но Снука там не нашел. Не нашел он и Хани. Весь вечер просидел он, ожидая ее в общежитии медицинского института, и одна из ее соседок рассказала, что Снука действительно бывает у них...

— Прощу прощения, — Снука вялой рукой ткнул куда-то в темноту, — зайду-ка я за дерево...

Перемпгивались звезды на небе, убаюкивающе журчала река.

Туган постоял, ожидая, потом сел. Ощутил ладонью ласковую землю. Лег, прижавшись к ней щекой. Земля плавно покачивалась, и было так хорошо и покойно в мире...

## 2

Проснулся он от обилия солнечного света. В комнате было так тихо, что если бы ласточка села на крышу, он бы услышал. Туган с наслаждением потянулся и вдруг замер, только теперь поняв, что проснулся в чужом доме: чужая люстра свисала с потолка, чужой шкаф стоял у стены. На подоконнике — горшки с цветами. На полках — корешки аккуратно составленных книг. Глянув на них, Туган подумал, что давненько уже не читал ничего, с самой школы, пожалуй...

Рядом, у кровати, на спинке стула висели его брюки, почищенные и выглаженные чьей-то заботливой рукой, черным глянцем сверкали его старые башмаки.

«Что это за дом? — раздумывал Туган. — Кто привел его сюда? Кто позаботился о нем?»

Он попытался воскресить в памяти события прошлой ночи. Туган почувствовал боль в ноге, ощутил саднящее, распухшее колено... Да, Туган тащил Снука, они шли, спотыкаясь, по берегу реки, но что было потом? Что-то ведь было, наверное?.. Нет, память его вчера уснула раньше его самого.

Туган сел и потянулся было к брюкам, но тут послышались чьи-то шаги, и он поспешно нырнул под одеяло.

Отворилась дверь, и в проеме ее возник, как в рамке.

портрета, председатель колхоза Шахам. Он стоял, упираясь своими большими руками в косяк, и улыбался. Кто-то угодно ожидал увидеть здесь Туган, но не Шахама, не этой приветливой его, спокойной улыбки.

— Люблю поваляться утром в постели, — смущенно пробормотал Туган. — Привычка у меня такая...

— Нина спала здесь, — сказал Шахам, и улыбка его погасла. — Она тоже любила поспать...

Значит, я в доме Шахама, понял Туган. Этот дом всегда казался ему таинственной страной, в которую, как ни старайся, все равно не попадешь. Дом этот красив был своими обитателями. Здесь жили Шахам и его жена Залухан. Здесь жила веселая синеглазая Нина... У Шахама и Залухан долго не было детей, поговаривали даже, что они собираются разойтись из-за этого... Потом родилась Нина, и жизнь их засветилась радостным светом... Ярок был этот свет, но недолог. Умерла Нина. Как-то вдруг, внезапно. И снова Залухан и Шахам остались одни...

Шахам вошел в комнату, снял широкополую войлочную шляпу, пригладил ладонью седые волосы. Сел за стол, опустил тяжелые руки на колени.

— Ну, что молчишь? — спросил он.

— Разве кто-нибудь давал мне слово? — пожал плечами Туган.

— Слово? — нахмурился Шахам. — Раз ты его просишь, давай соберем село, позовем твоих приятелей и послушаем вас.

— А что?! Если посадите нас в президиум, мы найдем что сказать!

— Почестей вам не хватает? Пора, значит, наградить вас по заслугам!..

Слова эти задели Тугана, и ему захотелось ответить тем же, напомнить Шахаму кое-что, заглянуть в его прошлое...

Разное говорили про Шахама. Рассказывали, что в молодости он из-под самого носа старших, сидящих за праздничным столом, мог утащить символ их мудрости — вареную телячью голову. А украсть на свадьбе чашу с медом, приготовленную для причастия, — это был сущий пустяк для него. Но говорили так же, что Шахам лучше всех плясал и всегда был первым в работе... Однажды кто-то оклеветал его. Он узнал об этом днем, а ночью дом клеветника сторел дотла. В ту же ночь Шахам исчез из села,

как в воду канул. Вернулся он спустя много лет, уже после войны. Жизнь, видно, неласково обошлась с ним — он по-седел, стал молчаливым, вспыльчивым.

— Молодость не повторяется, — голос Шахама помягчел. — В молодости человек должен гореть, свет от него должен исходить...

— Ваше время было другое, — сказал Туган, как бы соглашаясь с ним и завидуя, — время соломенных крыш... Свет молодости тогда мог превратиться в зарево пожара...

Шахам, пристально глянув на него, встал, прошелся по комнате, взялся за спинку кровати, помолчал.

— В глаза мне об этом никогда не говорили, — произнес он наконец, — все больше намекнуть старались. Точь-в-точь, как ты сейчас. — Шахам опять замолчал, потом улыбнулся вдруг. — Когда сторел этот дом, меня, наверное, все проклинали, даже родители... А зря. Я в то время был уже далеко от села и знать ничего не знал о пожаре...

Туган затих, смутился — чужая жизнь раскрывалась перед ним, жизнь человека, которого он и уважал и побаивался.

— Закончили мы нашу сельскую школу и потянуло нас в город, — рассказывал Шахам. — Люди тогда на край света шли, куда угодно, лишь бы учиться... Был у меня друг, ты не знаешь его, он не вернулся с войны... Пришли мы с ним к председателю сельсовета, просим: пошлите нас на рабфак, хотим учиться. Председателем был тогда один человек... Жил он в верхнем конце села. Покойника худым словом грех вспоминать, но и хорошего о нем не скажешь... Уперся он, ни в какую. Нам, говорит, учебные головы не нужны, нам нужны рабочие руки... А сын его собственный тоже ходил в нашу школу, еле-еле тянул. Кто-то из учителей сказал ему однажды: па твоим лбу только орехи колотить...

Кто же он, этот житель верхнего конца села? — Туган стал вспоминать всех председателей. Одного, второго, третьего... Но они живы. Кто же тот, о ком рассказывает Шахам?

— Он часто засиживался в сельсовете допоздна. И в тот вечер он был там. Мы залезли в окно, подступили к нему... В руках — отцовские кинжалы, — Шахам улыбнулся. — Что бы мы делали с кинжалами, если бы он отказал?! Но председатель, перепугавшись, подписал наши бумажки, шлепнул печатью — дело было сделано. Но за-

держиваться после этого в селе, сам понимаешь, мы не могли...

Шахам замолчал. Что еще крылось за его словами? Почему он не называл имен? О чем думал сейчас?

— А пожар? — спросил Туган. — Кто же спалил дом?

— Это и сейчас можно установить. Надо смастерить вебольшой домик с соломенной крышей, позвать сына того председателя, взять кресало, чиркнуть, раздуть трут, сунуть его в солому и смотреть в глаза сына председателя.

— Кем он стал? — спросил Туган. — Он закончил школу?

— Не только школу... Он времени зря не терял. — Шахам повернулся к Тугану, и взгляды их встретились. — Все это дела прошлые... Знаешь, что я тебе скажу? Страшно, когда о своем прошлом человек вспоминает с горечью...

Туган растеряннo смотрел на него.

— Я часто слышу о тебе, — продолжал Шахам, — я о твоих друзьях тоже... И то, что о вас говорят, мне не хочется сейчас повторять. Да ты и сам знаешь... Пить араку и бездельничать — это вы умеете. А что потом? Что ждет вас в будущем?

Туган со всей остротой почувствовал неловкость своего положения. Он увидел себя со стороны, лежащим в постели перед Шахамом, и ему захотелось провалиться сквозь землю.

— Вот ты спрашиваешь про сына того председателя, — слышал он ровный голос Шахама. — Он стал не лучше, чем был, но не о нем сейчас речь. Речь о нас с тобой... Как нам оправдаться перед селом?

Шахам умолк, потом улыбнулся, и лицо его сразу разгладилось, помолодело...

— Господи, что же сию?! Гость-то до сих пор без завтрака!..

Он вышел из комнаты. Туган, вскочив, стал одеваться. «Гость, — казнил он себя. — Как же все-таки я оказался здесь? Почему я не у Толаса? Если бы я проснулся в сарае у Снука, мне не пришлось бы удивляться. Но почему я здесь? Как это случилось?..» Память молчала, как немая...

Если бы Состыкк нашел его там, у реки, он не оказался бы в доме Шахама. Если бы Туган ночевал у Цыплу,

никто не почистил бы его туфли. Он знать не знает, есть ли уют у Азрыма, вот арака у него всегда есть — это ему известно. Туган перебрал всех своих друзей, тех, чьи ворота он открыл бы и с завязанными глазами, а думал все время о Шахаме. Каким-то непостижимым образом тот заставил его встретиться с самим собой, и встреча эта получилась безрадостной.

Дверь в комнату осталась открытой, и Тугану представилось, как Шахам тащил его в дом: волочащиеся по земле ноги, бессильно повисшая голова... Картина эта была отвратительной, но он досмотрел ее до конца. И, досмотрев, увидел все это снова, с той только разницей, что у порога стояли теперь отец, Сопо и Хани, стояли и смотрели, как Шахам несет его пьяного.

Туган повернулся к окну, ему захотелось выпрыгнуть на улицу и сбежать. От Шахама, от себя самого... Но куда убежишь от себя?

— Что задумался? — окликнул его из кухни Шахам. — Пытаешься предсказать завтрашний день?

— Нет, — виновато улыбнулся Туган, — пытаюсь перекинуть мост от вчерашнего вечера к сегодняшнему утру.

— Ну, и как?

— Не получается!..

— Не хватает помощников? Толаса? Цыппу? Состыкка?.. Вы ведь привыкли наводить мосты сообща...

Он замолчал, не договорив.

С улицы донесся тул приближающейся машины. Шахам вышел из кухни, прислушался.

— За мной едут, — сказал он. — Где моя шляпа? — Он вошел в комнату, улыбнулся: — Хорошо, что мы успели поговорить... А завтракать тебе придется одному, сам хозяйничай...

Машина подкатила к воротам, пронзительно и нетерпеливо взревел клаксон. Шахам глянул на Тугана, положил руку на его плечо:

— Все правильно... Оглянуться на прошлое полезно. Но мост, по которому ты пройдешь в завтра, — важнее. А мост этот рано или поздно придется наводить...

Нет, завтракать Туган не стал. Едва машина отъехала от ворот, он выскочил из дома, чтобы, не дай бог, не встретиться еще и с Залухан, женой Шахама...

Долго и бесцельно бродил Туган по безлюдным сельским улицам. Все были в поле — работы невпроворот. Можно было, конечно, пойти к Толасу, но тот спал на верняка, а, проснувшись, чем бы развлек Тугана? Разговорами о том, как плутал вчера, возвращаясь домой? Или о том, как болит с похмелья голова?

Нет, Толас не смог бы объяснить, почему он, Туган, сегодня чувствует себя чужим в родном селе, ненужным, почему знакомые с детства уллицы кажутся ему холодной пустыней... А если ты чужой в собственном доме, где же ты свой?..

Хани, мелькнула мысль. Он разыщет ее, уведет, они сядут на скамейку где-нибудь в парке, и пусть она ругает его, говорит все, что угодно, — речь ее покажется ему светлой и радостной музыкой...

Туган свернул к автобусной станции, дождался автобуса, сел, положил руки на спинку переднего кресла, опустил на руки голову и до самого города не поднял ее. Люди, ехавшие с ним, думали, наверное, что он спит.

Весь день он слонялся по шумным городским улицам, не смея ступить на ту, которая вела к общежитию медицинского института. Что сказал бы он Хапи? Слушать ее — это полдела, но слово ведь требует ответа. О чем говорил бы Туган? О чем угодно, только не о себе, не о своих делах, не о своей жизни. А говорить о чем угодно, отшучиваться он сегодня не мог...

В село Туган вернулся с последним автобусом. Домой идти не хотелось и, заметив сидящую на крылечке Сопу, он подошел к ней.

— Добрый день, Сопу, — поздоровался Туган. — Что это свет у тебя не горит?

— А чего зря жечь его? — грустно улыбнулась Сопу. — В доме-то никого нет... Только мотыльки залетают...

Что-то слишком задумчива была она сегодня. Может, ее растревожили голоса, дописавшиеся с соседних дворов? Может быть, слыша их, она вспомнила сына, погибшего на войне, и сердце ее сжалось, и представилось ей, как жилось бы, если бы сын ее, Спдамон, вернулся домой, сыграл свадьбу и появились бы у нее внуки...

Раньше Туган не задумывался об этом. Старуха каза-

лась ему вечной, как горы, видневшиеся вдаль, и такой же суровой. Вздыхнув, он присел рядом с ней.

— Сопо, — сказал он, — если бы вдруг к тебе явился голодный лесоруб, ты смогла бы накормить его?

— Совесть у тебя нет! — встрепенулась она. — Если Сопо не сумеет встретить гостя, зачем же ей жить еще на свете?! — Она косо глянула на Тугана, и в голосе ее послышалась насмешка: — Лесоруба-то я вижу, но где его дрова?

— Дрова назад в лес сбежали, арба поломалась, топор потерялся...

Сопо накрыла стол, и Туган долго, с удовольствием ел. Обычно старуха не позволяла засиживаться допоздна, но сегодня не торопила его, сидела рядом, и они негромко и мирно беседовали. Туган — черпак, Сопо — родник воспоминаний. Уж она-то должна была знать того председателя, о котором рассказывал Шахам. Она многое знала, старая, неразговорчивая Сопо.

Туган начал издаലെка.

— Сопо, скажи правду, — сказал он, — неужели Толас, я и другие ребята... неужели мы такие плохие?

— Если бы на лбу пустого человека вырастали рога, — не медля ответила старуха, — на твоём лбу они появились бы в первую очередь!

Туган обескураженно глянул на Сопо — он не ждал такого резкого ответа.

— Пройдет время — все забудется, — махнул он рукой. — Вспомни, Сопо, Шахам в молодости тоже не был святым...

— Нет, мое солнышко, то поколение не сравнишь с вашим. Они, если и проказничали, то об этом хоть удобно было говорить вслух...

— А дом, который сгорел? Дом с соломенной крышей?

— Дом, дом! — рассердилась старуха. — Пора наконец забыть об этом! Я и сама бы горло перегрызла тому, кто поджег его! В одном исподнем люди остались, все сгорело у них.

— А ты говоришь — проказы, — покачал головой Туган.

— Что я говорю?! Разве я сказала, что это сделал Шахам? Нет, он не поджигал, не верю я в пустую болтовню и никогда не верила!

— Слушай, а кто был тогда председателем сельсовета, ты не помнишь?

— Как не помню? Имя его мне противно произносить... Отец твоего наставника...

— Учитель Сосай? Он и есть сын того председателя?

— Почему ты спрашиваешь об этом? — подозрительно глянула на него Сопо.

— Просто, — улыбнулся Туган. — Представь себе, что я следователь, а ты свидетельница. — Он накрыл своей рукой руку Сопо, лежавшую на столе.

— Неужели мы хуже того, чье имя ты брезгуешь произносить? Нет, Сопо, ты увидишь — и я, и Толас, и Цыппу, и Азрым — еще станем людьми...

— Ну, да?! — усмехнулась старуха. — Завтра же забудешь свои слова, забудешь, как только тебе поднесут рог с аракой!

— Во времена Шахама рог был глубже колодца...

— А я и не говорю, что они араки не пробовали, но она их не валила с ног...

— Вспоминается только хорошее. Даже черное становится белым...

— Сопо еще никогда не врала, дорогой, — обиделась старуха. — Я-то понимаю, к чему ты клонишь... Пусть бы кто-нибудь из них показался бы на людях в непристойном виде... И Шахам, и Сидамон, — она умолкла, будто испугавшись имени своего сына, которое так давно не произносила вслух. Глаза ее повлажнели, она зажмурилась на мгновение, и голос ее снова окреп: — Да, и Шахам, и другие — никто из них не позволил бы себе такое. Как можно, чтобы тебя, молодого, здорового кто-то тащил на себе?! Нет, нет, их ты ни с кем не сравнивай...

Единственный сын Сопо, Сидамон, пропал без вести. Куда только не писал Шахам, где только не справлялся о нем! Наконец поиски привели его в небольшую белорусскую деревеньку. Там, в школьном дворе, стоял памятник, и на нем золотыми буквами были написаны имена Сидамона и его товарищей. Трудно измерить время, которое проходит, пока человек стоит, опустив голову, у могилы. Когда Шахам поднял голову, он увидел: возле памятника растут три юных, зеленых деревца... Вернулся Шахам домой, взял Сопо за руку и повез к этим деревцам, и упали горькие материнские слезы на землю, впитавшую кровь сына...

— До этого проклятого пожара, — спокойно продолжала Сопо, — Шахам три дня не заглядывал к нам. Сколько

ни искал его Сидамон, так и не нашел... Нет, солнышко мое, эти парни хороших слов заслуживают... Вот сидишь ты передо мной... Бывает, разозлюсь, махну рукой, глаза бы мои тебя не видели, потом вспомню Шахама и сердце успокаивается... Дай бог, чтобы у нашей молодежи всегда перед глазами были такие люди...

#### 4

Этой ночью Туган первый раз в жизни маялся бессонницей.

Он встал, едва только занялась утренняя заря и солнце не показалось еще из-за гор, но первые лучи его уже коснулись снежных вершин, и те загорелись, вспыхнули огромными кострами.

Туган вышел из дому, пошел за село — ему хотелось побыть одному, успокоиться, подумать. Он неторопливо брел в ту же сторону, что и тогда, с Снука, но сегодня Туган сторонился дорог. Дороги ведут куда-то, зовут, путь же Тугана был неопределен, никто не ждал его.

Шахам, покидая село, знал свою дорогу. Тугану лишь предстояло выбрать ее.

Быстрая речка Астаудон негромко ворчала в своем каменном русле. Он остановился, долго, отфыркиваясь, умывался прозрачной холодной водой, и ладони его обкалывались о густую щетину. Потом он стоял и смотрел на ивы, растущие по берегам реки. Местами между ивами торчали кусты шиповника, барбариса, молодая поросль ольхи, и вся эта зелень полнилась щебетаньем птичьего хора.

Вдоль правого берега Астаудона тянулись кукурузные поля, по левому — густо зеленела озимая пшеница, и мир этот — юный, волнующий утренним ветерком — казался простым и чистым, как сердце пахаря.

Шахам, устремляясь в завтрашний день, видел впереди свет надежды. Туган же напомнил себе ржавый кинжал, которому стало тесно в ножнах. Он шагал и шагал, уходя подальше от людских глаз, стараясь идти там, где никогда не катилось колесо, где и пешком пройти было непросто. Но всюду путь его пересекали большие и малые тропы, люди всюду напоминали о себе.

Когда солнце поднялось уже высоко и стало жарко, Туган улегся под тенистым деревом, в прохладе, и ему

стало спокойно; он лежал и видел сквозь листья яркое небо, какая-то птичка суетилась, прыгая с ветки на ветку, и, глядя на нее, он вспомнил вертлявого Толаса. Тот, конечно, все село обегал в поисках Тугана — еще бы, целый день не виделись! И занимает Толаса не столько то, что Туган исчез, а то, что на след его он никак напасть не может. Вот он забежал в дом, увидел пустую, застеленную кровать Тугана, повертелся, озадаченный, и снова выбежал на улицу...

Такого странного существа как человек, рассуждал Туган, в природе больше не найти. Мало ему земного простора, мало того, что солнце неустанно служит ему... Нет, придумал себе, что обязательно он должен быть кому-то нужен, необходим... И я, я тоже думаю, что без меня Толасу недостает чего-то, чего-то не хватает... Ишь, чего захотелось, поняв подспудную суть своей мысли, невесело улыбнулся Туган, нет, не поднимет Толас тревогу, не закричит: человек пропал нужный, незаменимый человек!

Он почувствовал себя ничтожно маленьким, несчастным, сердце его сжалось от невыразимой обиды...

Между Туганом и Хани зияла пропасть, преодолеть которую, казалось, невозможно.

Как-то одна из школьных подруг Хани, вздохнув, пожаловалась:

— Бог не всегда бывает справедлив. Одной даже имя приличное не достанется, а другой, — она глянула на Хани, — все сразу — и ум, и красота...

Никто не догадывался о тайне Тугана и не мог догадаться, потому что он ничем не выдавал себя. Он знал — между ним и Хани пролегла граница, на страже которой стоит учитель Сосай. Хани он доводился дядей по матери. Дважды Сосай подставил ему ногу — два года заставил сидеть в восьмом классе и два года в девятом... Когда Хани догнала его — она была моложе — ему уже до смерти надоело таскать один и те же учебники, решать одни и те же задачки...

Однажды весной, перед самыми каникулами, они собрались в классе. Мысли Тугана витали где-то далеко от школы, его не трогал веселый галдеж ребят. Но вдруг до слуха его донеслось:

— У Хани полный мешок конфет, а она молчит!

— Не жадничай, девушка!

— Развязывай мешок!

— Вот, — услышался голос Хани, — все они тут, ни одной не спрятала..

Туган поднял голову и увидел на ее раскрытой ладони две шоколадные конфеты.

Ребята слова зашумели:

— Не надо, Хани, не трогай, я сам разверну ее!

— Хани, я же вчера во сне тебя видел!

— Ничего вы не получите! Она отдаст их тому, кто сложил о ней песню!

Самый тихий, самый застенчивый их одноклассник незадолго перед этим написал стихотворение, посвященное Хани. Кто-то перехватил его, и пошло оно из рук в руки...

— Подождите, — сказала Хани, и ребята умолкли. — Я сама разберусь...

Она повернулась к Тугану, подошла, улыбнулась не смело, и сердце его заколотилось так, что, казалось, все вокруг слышали, как пейстово оно бьется.

— Возьми, — сказала Хани и протянула ему конфету. Другую она бросила ребятам: — А это вам. Ловите!

В тот день, вечером, Туган достал из кармана размякшую от тепла конфету, подбросил ее, поймал и засмеялся радостно:

— Спасибо тебе, Хани!

Начались каникулы, и до конца их было много времени, и не надо было думать о школе, об алгебре и об учителе Сосае, и можно было сколько угодно думать о Хани.

Как-то он встретил ее на улице. Она смущенно глянула на него, спросила:

— Ты не сердись на меня за конфету?..

— Подал в суд, — ответил Туган, — скоро будут разбирать дело.

— А пока суд еще не состоялся, — улыбнулась Хани, — ты не хочешь поехать со мной в город?

— Ладно, — сказал Туган, — поедем.

Когда они вышли из автобуса и, смущенные, пошли по многолюдной городской улице, и Хани заметрелась на витрину цветочного магазина, Туган похлопал себя по карманам:

— Сегодня обойдемся без цветов...

— Ладно, — кивнула Хани, — я подожду.

— А вот в кино мы можем пойти хоть сейчас...

Они были и в кино, и в парке, и просто бродили по улицам, и Туган старался выглядеть старше, чем был на самом деле, опытнее, старался показать, что в городе он как рыба в воде. О чем только они не говорили в тот день! Слова, казалось, не имели никакого значения. Только бы идти вот так, вдвоем, видеть друг друга и слышать. А вечером, когда они возвращались в село, сидели рядом в автобусе и молчали, и в молчании тоже был свой смысл, Хани сказала:

— Туган, — она будто извинялась заранее, — если тебе противен учитель, при чем здесь его предмет?

— Ты про математику? — покосился на нее Туган. Он спросил это так, что можно было понять: «Ты про Сосая?»

Она кивнула головой.

— Никогда я не любил ни алгебру, ни геометрию, ни арифметику, — пытаюсь уйти от темы, заговорил он шутковским тоном. — Числа какие-то, ни души в них, ни сердца; дом из чисел не построишь, песню не сложишь...

— Все это можно наверстать, — перебила его Хани. — Если мы возьмемся как следует — все будет хорошо... Способности ведь у тебя есть...

— Я хотел бы посмотреть на того, кто смог вернуться из страны мертвых!

— Не смейся, стоит лишь взяться...

Нет, им не удалось заняться математикой. Сосай узнал об их поездке в город раньше, чем они сели за учебники. Громы и молнии метал учитель Сосай. Его любимая племянница и хулиган, тушица, босяк! Упреки сыпались на Хани, от хлестких пощечин горели щеки. Она не жаловалась, но Туган догадался обо всем и, не зная, как отомстить, сжег все учебники по математике под окном Сосая.

В день вручения аттестатов Туган не встретился с Хани. Она окончила школу с золотой медалью, он же не смог сдать математику ни письменно, ни устно. Сам был виноват, конечно, да и Сосай постарался.

— И в десятом классе можно сидеть два года, — злобно усмехаясь, утешал он Тугана, — можно, дорогой...

Сколько слез выплакала тогда Хани... Но осенью глаза ее снова засветились — она стала студенткой медицинского института.

Туган не послушался Сосая, не пошел больше в школу. Не стал он и работать. Спал до полудня, слонялся по улицам, радуясь любому случаю убить время. Мир будто сте-

ной отгородился от него. Люди жили, волновались о чем-то, о чем-то мечтали. Он же не хотел ничего, ничто его не влекло, лишь изредка острой болью вспыхивала мысль о Хани. Она студентка теперь, а он кто? Кто он такой? На что может надеяться?.. Уехать, решил Туган, бежать туда, где никто не знает его и он никого не знает, раствориться, исчезнуть. Но что-то сдерживало его, и он понимал — это Хани...

Тогда он впервые испытал одиночество. Долго ли могло продолжаться такое? Кто-то должен был заполнить пустоту, и пришли к Тугану Толас, Батадзи, Азрым, Цыппу, Гадац, Коста и Состыкк. Они явились, как семь дней недели, и потащили ее по семи дорогам, которые никуда не ведут.

Узнав об этом, в село приехала Хани.

Он смотрел на нее, и сердце его колотилось гулко и неукротимо, и Туган чувствовал — чуть-чуть еще, немного, и он снова станет сильным, снова появятся у него мечты, и будущее окрасится надеждой... Но что-то мешало ему, что-то мешало...

— Туган, — негромко сказала Хани, — возьми себя в руки...

— Неужели я так дорого стою, — криво усмехнулся Туган, — что из-за меня нужно волноваться?

— С кем ты связался? — укоризненно покачала она головой. — Толас, Азрым... С этим отребьем...

— Так уж и отребье? — язвил он. — Я-то их лучше тебя знаю.

— Ты сам не знаешь, что делаешь. Нож, которым себя убивают...

— Я злой дух, я тот, кто приносит людям несчастья!..

Туган, ярясь, размахивал руками и говорил, говорил что-то, выкрикивая неслесные слова, и ярость мешалась в нем со стыдом, и от стыда он вскипал еще сильнее...

— Ладно, — печально сказала Хани, — живи как знаешь...

Она повернулась и медленно, будто кто-то удерживал ее, пошла по улице. Туган хотел было броситься за ней, догнать, поговорить по-человечески, но снова что-то мешало ему, а она уходила все дальше и дальше...

С тех пор прошло много времени. Прошло много дней, похожих друг на друга, как глаза страдальцев.

Солнце клонилось к закату. Над землей колебался отяжелевший от зноя воздух.

Туган открыл глаза, огляделся, удивляясь тому, что день миновал так скоро, встал, не зная еще, куда идти и чем заняться. Ему хотелось есть, и он стал общипывать куст барбариса, жевать сочные молодые листья, и вспомнилась ему Сопо, вчерашний ужин у нее и разговор. Старуха всегда припасала ему самые лакомые куски, те, которые отдала бы Сидамону, будь он жив. Кто знает, что скрывалось за ворчливостью Сопо? Может быть, боль, беспокойство за Тугана? Как за молчаливым отцом скрывалась ровная и постоянная любовь?.. Теперь еще и Шахам. «Он слова не проронил о той ночи, ни в чем не упрекнул меня, — подумал Туган, — иначе бы я не спал так сладко в его доме. Он не просто притащил и уложил меня, он заслонил меня собой...»

А вдруг Шахам ждет его сейчас? Они ведь не договорили вчера...

Туган медленно шел по берегу Астаудона. Смеркалось. Один за другим зажигались огни в селе, и, когда вспыхнул самый яркий из них, Туган, будто осенило его, сорвался с места и побежал. Бег его был радостен, и он вспомнил почему-то одного из своих соседей, отца семерых дочерей, вспомнил, как ликовал тот, когда у него родился наконец сын.

Туган бежал к яркому огню, горевшему над крыльцом правления колхоза, бежал во весь дух, продираясь сквозь кусты, а потом бежал по улице мимо шарахавшихся от него людей и остановился лишь тогда, когда старик сторож, сидевший на скамеечке возле крыльца, цепко ухватил его за штанину.

— Ты куда? — строго спросил сторож.

— Мне нужен Шахам, — прерывисто дыша, ответил Туган.

— А ты ему нужен? — усмехнулся старик.

— Пусти, я тороплюсь.

— Там совещание. Подожди...

Туган сел было рядом со сторожем на скамейку, но тут же вскочил. Он не мог откладывать, он должен был сейчас же повидаться с Шахамом. Туган поднялся на крыльцо, вошел, постоял в коридоре возле председательского кабинета, осторожно приоткрыл дверь. В кабинете за длинным столом, придвинутом к столу председателя, сидели люди.

Никто из них не заметил Тугана, по Шахам, почувствовав его взгляд, посмотрел на дверь и тут же встал.

— Стучилось что-нибудь? — спросил он, выйдя к Тугану.

— Нет, ничего, — смутился Туган, — я лучше потом зайду. — Он кивнул на дверь: — Люди ждут...

— Ничего, времени нам хватит, — тот, кто умеет, тот за ночь дворец построят. — Шахам взял Тугана под руку: — Ну-ка, идем...

Они спустились с крыльца и медленно пошли по улице. Сторож удивленно смотрел им вслед.

— Говори...

— Что делать тому, кто имя свое стыдится произнести? — спросил, останавливаясь, Туган. — В пропасть бросаться или в речку?

— Ты о чем это?

— О Толасе, о Батадзи...

— О Цыппу, об Азрыме, — продолжил, улыбнувшись, Шахам, — о Коста, о Состыкке, о Гадаце...

— Они послали меня к тебе, — неожиданно для самого себя сказал Туган.

— Смотри-ка, — оживился Шахам. — Что же вам нужно от меня?

— Ничего особенного...

— Если я могу помочь вам — пожалуйста... Украсть корову, наверно, не осмелюсь, а утащить у Сопо бочку с аракой — тут я готов идти с вами. Говорят, у нее еще с довоенных времен арака хранится...

— Нам нужен участок земли... По одной тяпке на человека, а осенью — одну сапетку на двоих...

— Да-а, это не бочка с аракой, — задумчиво проговорил Шахам. — Не знаю, что и сказать тебе...

— Чем вы рискуете? — недоуменно пожал плечами Туган.

— Как чем? — Шахам внимательно посмотрел на него. — Урожаем рискуем... Землей... Мадно, — сказал он, — обдумайте все, как следует, и приходите. Но разговор будет серьезный. Земля — не забава, и, если ты бросил в нее семя, значит, ты в ответе за нее... Так что думайте...

Ниффа, мать Тугана, не спала еще. Она вышла к сыну в ситцевом халате. Только что вымытые волосы ее еще не

высохли. Ниффа сначала моет голову сыворткой, потом несколько раз ополаскивает ее водой, но запах сывортки остается, и волосы блестят чуть больше обычного.

— Кто только не приходил к тебе сегодня, — ласково сказала мать, но Туган понял ее слова, как упрек: «Где ты шатаешься от зари до зари?» — вот что хотела она, наверное, сказать. — Есть хочешь? — спросила она чуть погодя и, не дожидаясь ответа, открыла дверцу шкафа.

Туган незаметно слотнул слюну.

— Дай чего-нибудь, — сказал он, подражая отцу. Тот, даже неделю прожив не евши, большего не скажет.

Мать поставила на стол теплый пирог с сыром, тарелку супа, кусок вареного мяса и стакан компота и, сев напротив сына, долго смотрела на него.

— Что-то ты бледный, — сказала она, — худой... — Ты не болен?

— Сейчас время линьки, а когда скотина линяет, ей всегда неможется...

Ниффа вздохнула.

— Что ты, что твой отец — вам хоть гадюку за пазуху положи, и то вы слова не скажете.

Она встала и ушла к себе.

Туган мог ей, конечно, рассказать, как он шел от правления, думая о словах Шахама, и казалось ему, что дело уже сделано и он стоит на пороге новой жизни. Потом вдруг робость овладела им. Звезда ярче светится перед тем, как навсегда угаснуть. Что если и его взлет — такая же вспышка? Его одолели сомнения. А если друзья не поддержат, уйдут от него, как семь дней прошлой недели. Если не нужна им тяпка на человека и сапетка на двоих?

Туган пошел к Толасу. Тот всегда знал, где найти ребят, кто куда уехал, откуда вернулся, и если дело стояло за тем, чтобы разыскать кого-нибудь из них, он готов был в игольное ушко пролезть.

Дом Толаса темным силуэтом высился в глубине двора, далеко от ворот. Стучать Туган не решился — мог выйти большой отец Толаса. А тетка его слишком подозрительна, чтобы будить ее даже в этот еще не поздний час. Если она выйдет и увидит Тугана, то, поминая и бога и чертей, проклянет род его до седьмого колена.

Туган свистнул тихонько, и тут же в одном из окон зажегся и погас свет. Потом скрипнула дверь, во дворе по-

слышались быстрые шаги, и из-за плетня, чуть в стороне от ворот, высунулась голова Толаса.

— Ты?! — удивился он.

— С каких это пор ты так рано стал ложиться? — буркнул Туган.

— Где ты был, кого видел? — зачастил Толас. — Говори, а то лопну от любопытства! — Он исчез и через секунду выскочил из ворот, представ перед Туганом в дырявой майке и длинных сатиновых трусах.

— Может, ты оденешься сначала?

— Мой праздничный бешмет еще не готов... Ну, рассказывай!..

— Новости потом, — сказал Туган. — Где ребята?

— Поищем — найдем! — с полуслова появив его, Толас побежал одеваться...

Коста дома не оказалось — опять уехал куда-то. В последнее время он стал замкнутым, молчаливым. Исчезает из села то на неделю, то на месяц, и путей его странствий не знает даже Толас... Остальных — Батадзи, Азрыма, Цыппу, Гадаца и Состыкка — разыскали без труда. Ворча и переругиваясь, поплелись по темной улице, за околицу, в лощину, где собирались обычно для своих совещаний.

Когда расселись на камнях, Туган заговорил, и все умолкли, удивившись вначале, потом стали слушать его с интересом. Глаза их заблестели — Туган чувствовал это в темноте и радовался, что ребята не видят его собственных глаз, его беспокойства и неуверенности. Он знал, Состыкк, Азрым, все взвешивают каждое его слово, стараясь определить длину пути, который он предлагает им, увидеть его конец. Он знал — им нелегко сейчас, не легче, чем ему самому, но знал он также, что слова его воскрешают в них надежду, так давно утерянную, что и не вспомнишь, была ли она вообще.

— Курить на вашем собрании можно? — хрипло проговорил Гадац, и Туган понял, что он вынул сегодня свою долю араки. Выпив, Гадац становился злым, задристым и несговорчивым.

— Не только курить, но и пить, и закусывать можно, — жестко ответил Туган.

— Там, где можно курить, пить и закусывать, там можно и песни петь! — Гадац, усмехнувшись, запел нарочито гнусавым голосом:

Бедный ты, бедный муравей,  
Никто тебе сладкого меда не даст!  
Бедный ты, бедный Гадац,  
Никто за тебя девушку замуж не отдаст!

Туган, вспыхнув, вскочил на ноги.

— Правильно про нас говорят, — сказал он, — отребье мы, самое настоящее отребье!.. — И понял, что повторяет слова Хани...

— Видите?! — оживился Толас. — Я же вам говорил, он стал какой-то ненормальный!

— Не лезь! — окоротил его Гадац.

— Все, о чем я говорю вам, — продолжал Туган, — касается меня одного... Так что...

— Ладно, садись! — заворчал Гадац. — Никто с тобой не спорит.

— Первый раз я попросил у вас помощи, — сказал Туган, — да, видно, зря...

— Что ты как девушка?! — обиделся Азрым. — Попросил, так поможем...

— Тут пойми попробуй, кто кому помогает, — улыбнулся Состыкк.

— А ты, Цыппу? — спросил Туган.

— Я с вами...

— Батадзи?

— Я тоже...

Толаса Туган спрашивать не стал. В Толасе он был уверен.

— Что ты скажешь, Гадац?

— А что говорить? — пожал плечами. — Разве ты первый день меня знаешь? — он засмеялся: — Разве я когда-нибудь отрывался от коллектива?

— Если кто-нибудь не надеется на себя, — сказал Туган, — пусть сразу скажет...

— Ладно, — махнул рукой Цыппу, — насильно же никого не тащим...

Туган глянул в сторону села. Свет над крыльцом правления уже погас.

— Придется поднимать Шахама с постели, — сказал он и, развеселившись, хлопнул ладонь о ладонь: — Ну и трудно же нам будет!

Тут совершенно неожиданно расхохотался Толас.

— Что я вам говорил?! — захлебываясь от смеха, проговорил он. — Это же не человек, а дьявол! — Он повернулся

к ребятам: — Он же разыграл нас! Разыграл, как детей!.. Признавайся, Туган! Ну, чего молчишь?

Ребята недоуменно и настороженно смотрели на Тугана, ждали его слова, но он, растерявшись, не знал, что сказать. А Толас все смеялся, хлопая себя по животу, и Тугану представилось, как засмеются сейчас остальные, подскочат к нему, схватят под руки и, распевая разухабисто и громко, потащат его, упирающегося, в село. Да еще хвалить будут по дороге — ай да Туган, ну и шутник, вот развеселил! И все будет, как было, все вернется на привычные места...

Но ребята молчали. И, вглядываясь сквозь тьму в их лица, Туган понял, что они боятся возвращения, боятся выпустить то, что минутú назад еще держали в руках, и даже не держали, а только предчувствовали — что-то похожее на сказочную птицу.

А Толас все хихикал. Гадац, глянув на него, потом на Тугана, спросил хрипло и зло:

— Это правда?

Туган вскинулся, будто очнувшись.

— Ну-ка, вставайте. Идем к Шахаму! Пусть он скажет, что правда, а что нет!

## 5

Начались долгие солнечные дни. Солнцу не хватало дня, оно старалось урвать время у ночи — взойти пораньше и попозже уйти за горы. И, совершая свой путь от восхода до заката, оно и само, быть может, наслаждалось безмятежностью цветущего мира.

Но как бы рано солнце ни встало, оно ни разу не опередило Тугана, Азрыма, Цыппу, и Гадаца, Состыкка и Толаса. И ни разу не видело оно, как проснувшись, прыгают они в Астаудон и плещутся, разгоняя сон. Потом они толпятся у наковальни, передавая молоток из рук в руки, и лишь когда отбита последняя тяпка и замирает в воздухе стальной звон, из-за гор появляется солнце. Лучи его падают на кукурузное поле, множась в каплях росы, осевшей на ростках, и поле радостно пробуждается, сверкая тысячами маленьких солнц. Если застыть в этот миг на месте, можно, наверное, почувствовать, как вертится земля, можно увидеть, как тянутся к высокому небу кукурузные ростки.

А поле уходит к самому горизонту, пропадает в далекой дымке, и ты идешь по борозде, и нет ей конца, нет конца

твоему пути. Но, оглянувшись, ты видишь, что прополз больше, чем думал, и снова шаг, еще шаг, еще... Хочется выпрямиться, разогнуть спину, передохнуть, но друзья твои работают — краешком глаза ты видишь это — и продолжаешь. А тяпка становится все тяжелее и тяжелее...

Первым остановился Толас.

— Что ты делаешь?! — испуганно закричал Батадзи. — Не разгибайся! Сломаешься, как сухая ветка!

— Хорошо бы, — Толас за словом в карман не лез, — нас стало бы двое, и другой Толас пошел бы мне навстречу!

— Ничего, ничего, — успокаивал его Батадзи, — ложись, отдохни, дай бог тебе здоровья!

Небритый, заросший густой щетиной, Состыкк работал, сосредоточенно глядя в борозду. Хоть бы меня не вспомнили, думал он, хоть бы раз забыли обо мне...

Но Толас уже пялил на него свои узенькие хитрые глаза. Подмигнув Батадзи, Толас озабоченно забормотал:

— Слушай, до обеда еще много времени? Не пойму, что происходит...

— Чего ты меня спрашиваешь? — буркнул Батадзи и ткнул пальцем в сторону Состыкка. — Вот тебе живые часы. Если кадык у него вверх-вниз прыгает, значит, он слюну глотает, и самое время обедать...

— Прыгает! — приглядевшись, сказал Толас.

— Нет, не прыгает еще, — возразил Батадзи, — еще рано.

— Для кого, может, и рано, — стал спорить Толас, — а ему пора!.. Эй, скажи, Состыкк!

Состыкк медленно выпрямился.

— Хочешь, я навсегда избавлю тебя от аппетита? — спросил он, обращаясь к Батадзи. — Ни один врач такого рецепта не даст.

— Ну? — Батадзи даже рот раскрыл.

— Понаблюдай за Толасом, когда он утром садится за стол, посмотри, как он шарит своими маленькими ручонками, как жует не переставая... Я даже пугаюсь иногда — кажется, вот-вот вскочит на стол и будет бегать между тарелками как мышка, крошки подбирать...

Состыкк и сам не ожидал, что скажет такую длинную речь, но хотелось отомстить Толасу за его вечные приставания.

А ребята смеялись от души. Даже мрачноватый Гадап похохотывал, смешно зажмурив глаза и раскачиваясь, То-

лас же, растерявшийся вначале, стал ощупывать и оглядывать себя, как бы удивляясь тому, что он такой худой и маленький.

Когда пришли на стан, Цыппу спросил:

— Что это вы такое веселые?

— Понравится обед — расскажем!

— Я еще издали услышал — ржете, как копи...

— Да так, посмеялись чуть над Толасом, — небрежно кинул Состыкк.

— Извини, дорогой, — возмутился Толас, — началось-то все с тебя!

— Эх, надули вы меня! — вздохнул Цыппу. — Вы все вместе, а мне тут одному прозябать...

— Ладно, ладно, — улыбнулся Туган, — мы там все время о тебе думаем!

Это он, Туган, предложил пазпачить Цыппу поваром. Цыппу долго упирался, но его так уговаривали, так льстили ему, что, не выдержав, он согласился. Едва он сказал «да», как ребята схватили его и стали качать, они знали, что делают: он и тесто замесить умеет, и пироги печет не хуже любой женщины, и все остальное, что касается поварского искусства. Когда-то они посмеивались над этим странным талантом Цыппу, но теперь-то понимают, что без Цыппу туго бы им пришлось. Любо смотреть, как Цыппу чистит картошку. Картофелина в его руке вращается, как болванка в токарном станке, а срезанная кожура вьется, будто стружка из-под резца...

Надев на голову белую шапочку, засучив рукава, Цыппу, серьезный, сосредоточенный, помешивал суп, будто завершал дело великой важности. А ребята ждали, сидя за столом под навесом, возле вагончика. Посреди стола аккуратно разложены зеленый лук и редиска, но никто не трогает зелень до времени — Цыппу этого не любит. Туган улыбается, видя, с каким нетерпением ребята поглядывают на своего повара, обстоятельного и неторопливого. Но если бы Цыппу суетился или бегал, это был бы не тот стол, не тот обед, да и настроение было бы не то. После обеда они пойдут на речку, искупаются, полежат с полчаса в тени верб, расслабившись, и легкий ветерок принесет им с гор запахи дальних трав.

Но в этот день ребятам не удалось пойти на речку. Цыппу во время обеда все отмалчивался, а после подошел к Тугану, постоял молча и наконец вымолвил:

— Плохие новости...

Ребята, замерев, вопросительно смотрели на него.

— Не знаю, насколько это серьезно,— сказал Цыппу,— но говорят разное...

— Долго ты будешь нас пытаться?! — заворчал Туган. — Что говорят? Кто говорит?

— Вчера арестовали Коста... Забрали прямо из дому...

— Он уже две недели не появляется в селе... Когда же успел вернуться?

— Вчера и вернулся,— неуверенно проговорил Цыппу.— Говорят, ножом кого-то... Пьяный был... Шофер мне рассказал. Привез продукты и рассказал...

Все замолчали, думая, что никого из них нет рядом с Коста в этот трудный час.

— Может, ничего и не случилось, сплетни одни? — с надеждой проговорил Толас.

— Не сплетни, — вздохнул Цыппу.

— Хоть бы сказал, предупредил как-нибудь,— покачал головой Батадзи.

— А много ли мы знаем друг о друге? — будто думая вслух, произнес Туган.

— С тех пор, как он встретился с этой женщиной, его вообще не узнать! — со злостью сказал Гадац. — Она только и умеет, что мужчин ловить!

— Если бы Коста был здесь, ты бы так смело не говорил о ней, — невесело усмехнулся Азрым.

— Он бы отцу родному таких разговоров не простил, — поддержал его Батадзи.

— Все это из-за нее, — упорствовал Гадац. — Пока он не познакомился с ней, он был совсем другим.

— Не она же ему нож в карман положила, — сказал Туган.

Все замолчали, задумались, ощущая свою беспомощность. Так, наверное, чувствует себя пастух, видя, как орел уползет ягненка из его отары.

— Вечером сходим в село,— сказал Туган, — узнаем, что там... Пойдем к Шахаму, поручимся за Коста...

— Клянусь, Туган, — восхитился Толас, — ты дважды мужчина!

Ребята будто ожили, заговорили разом.

— Возьмем его на поруки, и делу конец!

— Пусть режет в нашу честь барашка!

Они веселились так, будто дело уже было сделано и Коста был на свободе и сидел здесь, рядом с ними.

— А ну, давай! — вскричал Батадзи. Он приподнял Толаса, разом поставил его на ноги и оттолкнул от стола. — Ну-ка, покажи свою радость!

Батадзи, перемахнув все ступеньки, прыгнул в вагончик и тут же выскочил обратно. В руках его была гармошка. Он с размаху поставил ее на колени Тугана:

— Давай, сыграй, чтобы кровь в нем закипела!

Встрепенулся, засиял Толас. Он будто вырос вдвое, стал вдруг стройным и подтянутым. Он ждал, полный восторга, — сейчас друзья его захлопают в ладоши, хлопают так, что будет слышно в селе, а он, Толас, как птица, полетит по круту, легкий и сильный, он ощутит пьянящую радость вдохновения, почувствует себя счастливым.

Говорят, когда Толасу исполнился год, он выскочил из люльки и затанцевал на посках. Это легенда о Толасе. Но танцевать он, действительно, начал очень рано, и гармошка стала его учителем, а женщины, готовившие свадебные пироги, его первыми ценительницами.

Мать не успела сказать Толасу всех ласковых слов. А от мачехи он и не ждал их. Когда отец заболел и в пустом доме запищали голодные мыши, мачеха ушла, даже не хлопнув за собой калитку. И тогда на помощь поспешила сестра отца. От тетки своей Толас и ласковые слова слышал, и подарки получал, но из рук ее он ускользал, как рыба. Она заботилась о нем, старалась, чтобы он всегда был сыт, но свадебный пирог казался слаще теткихих яств, кусок мяса на свадьбе казался тяжелее.

Когда Толас танцевал, все сбегались смотреть на него. Люди считали, что у парня уже есть будущее и ждали, что вот-вот его заберут в город, в ансамбль, и даже тот, кто заставил Толаса выпить впервые, тоже верил в это... Прошли годы, а Толас все танцевал на свадьбах, и теперь его уговаривали не пить, потому что рог тяжел и арака валит с ног даже великанов. Но Толас не боялся упасть. У него все было наоборот — он, выпив, становился великаном... Потом его перестали приглашать на свадьбы, а те, кто недавно восхищался им, теперь обходили его стороной...

...Теперь Толас танцевал для друзей. Вот зазвучала гармошка Тугана, и Толас подошел к тому месту, где могла бы стоять девушка. Он поклонился красавице и отступил на шаг, уступая ей дорогу. Смотрел, как она плавно

идет по кругу, потом сорвался с места и, догнав ее, закружился в стремительном танце.

— Давай, давай, Толас! — закричал Батадзи. — Ставлю тебе бочку араки!

— Бочку старухи Борыкон! — добавил, смеясь, Азым.

Стоило им заговорить об араке, как они сразу же вспоминали старуху Борыкон...

Они жили вдвоем, старик со старухой. Дом у них был пизенький, обветшалый. Но в этом доме хранилась такая старая арака, что и сама Борыкон позабыла уже, когда гнала ее. Добраться до этой араки было непросто. Надо было зайти в комнату, отодвинуть резную деревянную кровать, поднять люк, таящийся под кроватью, и залезть в погреб.

Ребята долго следили за стариками, но те, будто чуждое, не оставляли дом пустым. Даже на свадьбы и на похороны они ходили поочередно. И вот однажды, когда Борыкон осталась в доме одна и подметала двор, перед нею предстали Толас, Туган, Цыппу и Батадзи. Туган растянул мехи гармошки, Цыппу и Батадзи ударили в ладоши, а Толас пустился в пляс.

— Асса! Орц-тох! — кричали парни, а гармошка заливалась изо всех сил.

Старуха, глядя на пляшущего Толаса, ожила, помолодела, бросила на землю метлу и тоже захлопала в ладоши. А Состыкк, Азым, Гадац и Коста, проскользнув за ее спиной, спокойно вошли в дом. Толас танцевал до тех пор, пока бочонок с аракой не проследовал из погреба на улицу. Тогда Цыппу и Батадзи перестали хлопать и кричать «орц-тох», Туган сомкнул гармошку, а Толас поклонился старухе.

— Дай бог вам здоровья! — благодарила парней расстроганная Борыкон. — Потешили старую, ох, потешили...

Толас, уходя, успел незаметно прихватить зазевавшуюся у ворот утку. Сунув ей голову под крыло, чтобы не кричала, он спрятал утку под полкой пиджака и, обернувшись, еще раз поклонился старухе.

Говорят, заподозрив что-то, старуха после ухода ребят, взялась считать уток.

— Одна, две, три, четыре, — считала она, а утки ходили по двору, пугались, и Борыкон, сбиваясь, начинала снова: — Вот одна, вот вторая...

...Толас, раскрутившись, как юла, вдруг застыл на

месте, прижал руку к сердцу и поклонился — поблагодарил за танец воображаемую девушку.

— Давай еще! — закричали ребята. — Давай!

Туган снова взялся за гармошку и вспомнил один граздничный вечер в клубе.

Сельчане, собравшись, ждали концерта. Ждали час, полтора, но артисты так и не приехали. И тогда, приготовившись наспех, на сцену вышли сельские певцы и танцоры, девушки и парни, самодеятельность. В тот вечер и Толас вышел на сцену, но зрители, ждавшие от него искрометного, азартного танца, были озадачены. То, что делал Толас, мало походило на обычную пляску. Вот он, будто радость вознесла его в небо, летит и не хочет возвращаться на землю. Вот, опустившись, он пляшет среди цветов, выбирая лучший из них. Срывает наконец и несет цветок приглянувшейся ему девушке. Подходит к ее дому, крадется к окну, но тут на него налетает собака. Парень убегает, потом возвращается вновь, приносит собаке кусок мяса. Угостившись, собака благодарит его и показывает на окно — теперь, мол, путь открыт. Парень восторженно танцует у окна любимой девушки, осторожно, как драгоценность, ставит на подоконник цветы. А вот и девушка. Она берет цветок, подносит его к губам и улыбается мечтательно и нежно. Но вдруг она видит танцующего у окна Толаса. Улыбка исчезает, девушка хмурится — ах, это вовсе не тот, о ком она думала. Толас машет ей рукой — да, да, я принес тебе цветок, это дар моей любви! Девушка скрывается, и через мгновение из окна вылетает кусок пирога — получай за труды и убирайся! Потанцевал, и хватит. Толас подбирает кусок бережно, как реликвию, прячет его на груди и, грустный, уходит. Вот и кончилось все, разлетелась в прах мечта...

Толас уже скрылся за кулисами, а зал все молчал. Потом, словно прослувшись, зрители стали аплодировать бурно, неистово, но было им как-то не по себе, они понимали, что Толас рассказал им историю своей собственной любви.

А было так. Жила в селе одна девушка. Кто-то, может быть, и не сравнил бы ее с цветком, но Толасу для сравнения не хватало всех цветов земли.

— Хочешь, я стану твоей тенью? — сказал он ей однажды.

Девушка сочла его слова за шутку.

— У меня есть своя собственная тень, — улыбнулась она. — Мне ее вполне хватает.

— Хочешь, я расскажу тебе, о чем думаю ночами? — сказал он.

— Подожди, — улыбнулась она, — скоро будет колхозное собрание, там и выложишь свои думы.

Куда бы ни пошла эта девушка, она всюду встречала Толаса. Порой она сердилась, но большей частью смеялась над ним, воспринимая его поступки, как проделки шкодливого ребенка.

Однажды, остановившись, она спросила от нечего делать:

— О чем мы будем говорить на этот раз?

— Давай обо мне, — предложил Толас. — Есть у меня дом с земляным полом, хромая корова и куры-голошейки.

— Ну, — утешила она его, — ты же еще маленький. Вот подрастешь — и дом себе хороший поставишь, и корову купишь...

— Но если ты выйдешь за кого-нибудь, зачем мне этот дом?

— Я никуда не собираюсь идти, — пожала она плечами. — Видишь, стою возле тебя.

— Эх, превратиться бы нам в деревня! Мы бы всегда стояли рядом!

— Пока бы ты вырос, — возразила девушка, — я бы уже состарилась, высохла, срубили бы меня на дрова.

— Ошибаешься! — воскликнул Толас. — Я старше тебя!

— Не может быть, — улыбнулась она. — Сходи-ка домой и узнай это поточнее.

Толас побежал в сельсовет, потребовал справку, потом получил паспорт и наконец с паспортом в руках предстал перед девушкой.

— Ну, а теперь что скажешь?! — торжествовал он.

Девушка задумалась о чем-то, потом улыбнулась:

— Теперь все в порядке... Не в это воскресенье, но в следующее присылай сватов...

В то, следующее воскресенье, сваты Толаса явились в дом девушки, явились и попали на ее свадьбу...

...Толас остановился, не закончив танца.

— Кто-то идет к нам, — он показал на человека, шагающего по кукурузному полю.

А человек шел быстро, уже можно было различить его

лицо, и, если бы это был кто-то свой сельский, ребята бы узнали его.

— Может, кто-нибудь из городского начальства к нам пожаловал? — предположил Цыппу.

— А где же тогда его машина? — засомневался Батадзи.

Человек был в шляпе, в светлом плаще нараспашку, в коричневом костюме...

— Кто бы он ни был, — сказал Толас, — но родился он в тот день, когда бог наделял людей должностями...

А Тугану все казалось, что ему знаком этот человек, и он мучался, пытался вспомнить его, и когда тот был уже совсем рядом и поднял руку — мол, мой вам привет, — Туган наконец узнал его. Узнал и успел шепнуть ребятам:

— Предоставьте его мне.

Гость все не опускал руку, будто ожидая, что ему бросятся навстречу и устелят дорогу цветами. Он широко улыбался, и заговорил он бойко, весело, словно сто лет знал этих парней:

— Здорово, орлы! Клянусь честью, смотреть на вас одно удовольствие! Настоящая краса полей!

Интересно, думал Туган, вспомнит он меня или нет?

— Примите мои самые добрые пожелания! — он протянул мягкую белую руку Тугану. — Ну, здравствуй!.. Тугана я знаю! — радостно сказал он и подошел к следующему: — Здравствуй, Цыппу!

— До сих пор меня вроде бы звали Батадзи...

— Извини, дорогой... А ты, по-моему, Азым. Уж тут-то я не ошибаюсь?

— Нет, ошиблись мои родители, когда назвали меня Состыкком...

— Всех перепутал! — засмеялся гость. — Бывает, а? Ну, скажите, бывает ведь?

— Бывает, — мрачновато подтвердил Гадац и протянул гостю руку: — Здравствуй и ты, Батырбек!

— А-ха-ха-ха! — зашелся от смеха гость. — Меня зовут Харбе, Харбе мое имя! Я — корреспондент республиканской газеты!

— О, как мы промахнулись! — схватился за голову Толас. Надо было, чтобы он застал нас за работой! Теперь он обрушит на нас испепеляющий огонь сатиры...

— Нет, — покачал головой Харбе, — вы достойны поэмы! Самой настоящей! — он повернулся к Тугану: —

Я весь в твоей власти! Я превращаюсь в слух, буду внимать каждому твоему слову, рассказывай, дорогой!

Когда они остались вдвоем, Харбе вдруг обеспокоенно спросил:

— Скажи, опоздал?

— Да у нас ничего такого и не было, — смутился Туган и, показав на кастрюлю, добавил: — Суп вот остался...

— Я не о том, — поморщился Харбе. — С радио, телевидения, из других газет у вас никого не было?

«Наверное, Сиука его натравил», — подумал Туган. Было время, Сиука ничего не пропускал. Стоило какому-нибудь колхознику купить вилы в магазине, как он сочинял об этом статейку и мчался с нею в город, к своему двоюродному брату Харбе. Как-то Сиука и Тугана затащил в редакцию, познакомил с родственником. Харбе пригласил их в ресторан, и, сидя за столом, они битый час слушали его разглагольствования.

— У журналиста должен быть нюх! — вещал Харбе. Учуять, найти, схватиться за факт — вот задача! Есть факт — найдутся и герои! Не найдутся — сам сделай их! И все должно быть вовремя! Надо быть первым, первым, первым!..

Да, конечно же, это Сиука его прислал, утвердился в своей мысли Туган.

— Ты и здесь первый, — успокоил он Харбе, — опять всех обскакал...

— Ну и слава богу! — обрадовался тот. — Садись, а я достану свое золотое перо!

— Слушай, — спросил, сомневаясь, Туган, — а о чем ты хочешь писать?

— Как о чем? — Харбе, словно поздравляя, похлопал его по плечу. — О вас! О вашем начинании!

— Каком начинании? — насторожился Туган.

— Ну, не притворяйся! — усмехнулся Харбе. — Кем вы были раньше? — спросил он и сам же ответил: — Тунеядцами, прости за откровенность... А стали хлеборобами! — возбудился он. — Героями полей! Вы взнуздали коня судьбы, и он покорился вашей воле!.. — Восхищенный своим красноречием, он выхватил из кармана блокнот.

— Подожди, подожди, — остановил его Туган. — Никем мы еще не стали. Мы только пытаемся...

— Вот об этом я и напишу, — перебил его Харбе. — О героике начала... О пути к славе!.. — вскричал он.

Ладно, решил Туган, ты у меня напишешь...

— Ну, если о начале, — сказал он, — тогда пожалуйста... Начало всех наших дел — это Гато.

— Кто такой Гато? — удивился Харбе. — Кто-нибудь из твоих парней?

— Какой там парней! — махнул рукой Туган. — Ему не меньше ста лет!..

— Ну, ну, — заинтересовался Харбе, — говори! Этот Гато, наверное, стоит целого романа!

Байки о Гато еще в детстве рассказывала Тугану Сопо.

Большую часть своих дней Гато прожил в прошлом веке. Был хорошим кузнецом, бондарем, шорником. Был у него неплохой конь, было кремневое ружье. И была у него одна странность — он совершенно не понимал шуток. И даже в старости он верил каждому слову с детской наивностью.

В смутные времена Гато за каждым камнем, за каждым кустиком сидели разбойники. Грабили тех, кто с гор ехал на равнину, и тех, кто возвращался в горы. Когда терпеть разбой уже стало невозможно, несколько сел, объединившись, выбрали людей, которым поручили охрану дорог. В их число попал и Гато. И вот однажды друзья решили подшутить над ним. Высыпали из его ружья порох, подрезали подпругу так, что седло едва держалось на коне, и ночью, закутав лица башлыками, явились к самой сторожевой будке. Увидев «разбойников», Гато смело бросился на них. Те пустились наутек. Боясь, что они скроются в темноте, Гато вскинул ружье, прицелился, но выстрела не последовало. Раздосадованный Гато прищипнул коня, пытаясь догнать «разбойников», но подпруга от резкого движения порвалась, и всадник вместе с седлом свалился на землю. Когда друзья, сделав круг, вернулись к будке, Гато сидел, понурив голову, и горевал.

— Убежали от меня абреки, — жаловался он. — Ой, убежали...

И он рассказал им, как стрелял в своих абреков, как пытался догнать их.

— Ай-ай-ай-ай, — сокрушались друзья, — вот если бы ружье у Гато было заряжено, если бы подпруга не порвалась, не сдобровать бы тогда абрекам...

Тут же кому-то из них пришла в голову мысль: «Надо наградить Гато за смелость. Он ведь чуть было не поймал

разбойников...» Сказано — сделано. Пошли и купили на городской барахолке поношенную офицерскую шинель с потрепанными погонами, и однажды, когда все были в сборе, старший из охранников торжественно сообщил:

— Царь-отец не забыл о нас, оценил наши труды. Прислал он нам награду, и мы вручим ее тому, кто больше других того заслуживает.

Все начали спорить. Один говорит — я заслужил, другой требует награду себе. Выслушав всех, старший сказал:

— Царь пожаловал нам звание полковника, но присвоить это звание можно только одному. Разделить его нельзя и нельзя носить это звание по очереди. Так что деться некуда, надо выбирать лучшего из нас... Я думаю, что никто не заслуживает награду больше, чем Гато. Он и скромнее других, и отчаяннее...

Так и порешили. Вручили шинель Гато, и тот не снимал ее до самой революции. Он верил, что он полковник, и не любил, когда посмеивались над его званием...

— Первый дом в нашем селе построил Гато, — рассказывал Туган Харбе.

— Гато — основоположник села! Живая легенда! — восхитился тот. — Прекрасный материал!..

— Однажды Гато со своим сыном ехал с гор на равнину, — продолжал Туган. — Они ехали весь день, и ночь застала их на берегу этой речки. Они остановили арбу возле вон той рожи, распрягли коня, поужинали и легли спать. На следующий день Гато проснулся рано, а сын его, утомленный трудной дорогой, крепко спал, и отец пожалел его и не стал будить. Сын проспал до полудня, и, когда запрягли коня и собрались ехать дальше, он вдруг вспомнил, что забыл свою шапку. Пошел за ней, смотрит — а в шапке лежит воробьиное яичко. Позвал отца. Тот пошел. «Это счастье, сын мой, счастье! — сказал он. — Птица указала нам место! Здесь мы должны жить...» Гато не стал откладывать: тем же летом он построил во-он там свою мазанку. Потом сюда съехались родственники и друзья Гато... А теперь, смотри, какое село стоит!..

— Вот тебе и Гато! — озадаченно вертел головой Харбе. — Чудеса, да и только.

— Лучше бы, конечно, его самого послушать, — сказал Туган. — Но он теперь там, в горах...

Туган не соврал: Гато, действительно, похоронили в горах...

Перо Харбе скользило по бумаге, как по льду, оно знало свое дело. Поставив точку, Харбе поднял голову.

— А как же было с вами? — спросил он.

— Проще простого, — пожал плечами Туган. — Гато пригласил нас к себе домой... Нигде в Осетии тебя так не примут, как принял нас Гато... Он и горя в жизни хлебнул, и радостью обделен не был, и обо всем этом, о жизни своей он подолгу рассказывал нам. Как-то он вдруг говорит: «Недолго мне еще осталось греться под солнцем. Уйду я скоро, освобожу место для тех, кто родится за мной... И в эту ночь есть у меня к вам просьба, последняя просьба, и, если вы исполните ее, я не забуду вас на том свете...» — «Пожалуйста, отвечаем, говори». — «Вы можете сейчас пойти со мной?» — спрашивает Гато. «О чем разговор?» — отвечаем... Мы вышли из дому, Гато взял из сарая кирки и лопаты, роздал их нам, взял керосиновый фонарь и повел нас в поле, к огромному кургану. Остановился у подножья кургана, помолился богу, попросил, чтобы ночь эта была счастливой для нас, чтобы труды наши не пропали даром... Мы, конечно, сразу догадались, что в кургане зарыт клад, и взялись за работу. А земля каменистая, жесткая, ударишь киркой — искры сыпятся... Пот лился с нас градом, к утру мы еле стояли на ногах... А Гато, глядя на нас, все сокрушался, чуть не плакал. Мы думали, жаль ему, что мы копаем, копаем, клада все нет... Когда рассвело, Гато глянул в яму и покачал головой: «Господи, — говорит, — какая же все-таки у вас сила!..» — «Что? — спрашиваем. — О чем ты...» — «Как о чем? — удивляется он. — Посмотрите, какую вы яму вырыли, сколько земли выбросили... И все это пропадает зря... Мы не поняли его. «Что пропадает? — спрашиваем. — Земля, что ли?..» — «Какая там земля! — сокрушается Гато. — Сила ваша пропадает, годы ваши молодые»... Смотрим мы на него, а он смотрит на нас. Смотрел, смотрел, а потом взял да и полез в яму. «Если вы меня не прощаете за эту ночь, говорит, засыпайте меня, пусть хоть труды ваши даром не пропадут»...

Задумались мы, как-то не по себе нам стало. «Ладно, говорим, прощаем...» Вытащили его из ямы, и вот что я тебе скажу...

Не узнать с тех пор ребят. Будто волшебным кнутом их хлестнули...

— Волшебным кнутом, — оторопело пробормотал Хар-

бе. — Это дьявол какой-то, а не человек... Ну, а дальше как было?

— Дальше ты сам сочинишь, — улыбнулся Туган, — а нам пора в поле...

## 6

Если бы за работу, как в школе, ставили отметки, Туган оценил бы сегодняшний день «тройкой».

Сегодня они сделали меньше обычного, и виною тому был вовсе не Харбе. Ребята думали о Коста, тревожились о нем, и в поле после обеда не слышалось ни шуток, ни смеха. Все с нетерпением ждали вечера, ждали, когда можно будет наконец пойти в село и хоть что-нибудь сделать для друга.

Но в село им идти не пришлось. Едва они вернулись с поля, как к их вагончику подкатил председательский «газик». Распахнулась дверца, и из машины вышел Шахам. Окинул внимательным взглядом ребят, поздоровался.

— Вы тоже здравствуйте! — ответил за всех Батадзи. — И почаще приезжайте к нам!

— А вы что, каждый день можете принимать гостей? — улыбнулся председатель.

— Пожалуйста, — буркнул Гадац, — если хотите, можете вообще остаться у нас...

— Нет уж, — покачал головой Шахам, — сами захотели дальше поле, сами и живите здесь... Не скучаете еще по селу? — спросил он. — Нет?.. Ну и хорошо, — он шагнул под навес, сел за стол, посмотрел на Цыпну.

Тот и ужин готовил, и к разговору прислушивался, и потому не все у него получалось ладно. Шахам заметил это и улыбнулся:

— Ну как, довольны поваром?

— Если бы он каждый раз к обеду нам по рюмочке подносил, мы бы каждый день за его здоровье пили, — высказался Толас.

— Ну, а если бы еще рюмочку, то и за здоровье Состыкка выпить можно? — спросил Шахам.

— Состыкк — это особое дело, — усмехнулся Толас, — тут одной рюмочкой не обойдешься.

— Будем ужинать, — строго сказал Цыпну. Когда все уселись за стол, Шахам лукаво подмигнул Толасу:

— Сейчас сбудется твоя мечта... Цыпну, — позвал он, —

там в машине три пирога и еще кое-что... Принеси-ка все это сюда...

Ребята недоверчиво смотрели на председателя. Разыгрывает, подумал Туган. То же самое думал, видимо, и Цыпцу. Уж очень нехотя плелся он к машине. Вот он открыл дверцу, забрался в «газик» и, тотчас высунувшись, показал ребятам графин с аракой. Потом он задом вылез из машины, держа в одной руке графин, а в другой белый узелок, увидев который Туган понял, что все это прислала Сопо.

— Сопо была так добра, что и быка не пожалела бы для вас, — сказал Шахам, глядя на Тугана. — Она и в большие праздники так не старалась. Желала вам, чтобы поскорее сыграли свадьбы одну за другой, чтобы были счастливы... И еще что-то кричала вслед, но я не все расслышал...

Горлышко графина наклонилось к кружке. Пряный запах араки ударил в ноздри. Арака лилась тоненькой струйкой, ее было мало, и это была первая арака за все время их работы.

Кружку подали Шахаму.

— Надо посвятить пироги, Шахам, — сказал Гадац.

Председатель улыбнулся:

— Сопо их уже посвятила, а я, если смогу, повторю ее слова...

Он встал. Вслед за ним встали и ребята.

— Три пирога на нашем столе, как и положено по осетинскому обычаю, — заговорил Шахам. — И в пирогах этих заключен не только наш труд, но и труд наших предков, впервые обработавших эту землю. Потому мы и встали, когда посвящаем пироги... И пусть от поколения к поколению передаются мир и добро, — он оглядел ребят. — Наш бог — это наша земля, — сказал он, — так пусть же нам хватает ума и силы ценить эту землю, пусть мы всегда будем богаты ее дарам!

— Амин! — разом вскричали все.

— Вы стоите в начале пути — так пусть же он будет светлым и красивым, ваш путь!

— Амин!

По обычаю первый бокал передается младшему, и Шахам протянул кружку Толасу. Бедный Толас! Он всегда сходил за младшего...

Кружка снова вернулась к Шахаму.

— Ладно, ребята, — сказал он, — дай бог, чтобы вы и пить умели и умели воздерживаться. — Шахам улыбнулся: — Сам бы я, конечно, не привез вам араку... Но что поделаешь с Сопо? Ей хочется благословить вас, напутствовать, она долго ждала этого часа, и пусть благословение ее пойдет вам впрок... Выпьем же за здоровье Сопо!

Кружка пошла по кругу.

Туган злился, видя, как жадио тянутся к ней руки ребят, какими взглядами они провожают ее. С привычкой не так-то просто расстаться. Сейчас они выпьют — что в этом графине? — и главной мечтой их станет арака. Где бы достать, раздобыть, найти, чтобы выпить по-настоящему, ощутить ее вкус и крепость. А может, Шахам именно это и предполагал? Вряд ли, он просто следует обычаю. «Сопо благословила, Сопо напутствовала»... Нет, он точно хочет испытать их, проверить, кто сильнее — они или арака. Ох Шахам, Шахам...

Когда очередь дошла до Тугана, он хотел было отказаться, но передумал. Нечего разыгрывать святого, усмехнулся он про себя, ничем ты не лучше своих друзей, придется и тебе сдать экзамен.

— Пусть доброте твоей, Сопо, не будет конца, — пробормотал он, ни на кого не глядя, и выпил залпом.

«Он и о Коста ничего не говорит, — думал Туган. — Тоже испытывает? Хочет понять, интересуется ли вас судьба друга? Ждет, когда мы сами спросим о нем?»

— Дай бог, чтобы мы смогли тебя отблагодарить, Сопо, — сказал, подняв кружку, Батадзи.

— Вы, конечно, слышали о ее сыне, — заговорил Шахам, — о Сидамоне... Тихий был человек, слова громкого пикогда не произнес, никогда не вспылал, не вышел из себя. Сколько раз я пробовал разозлить его нарочно, даже на спор пытался это сделать, но так и не получилось у меня, — Шахам задумался, вздохнул. — Была у него удивительная особенность, — продолжал он, — ни разу, помоему, он не сказал «я». Он даже в зеркало когда смотрел, видел не себя, а тех, кто пуждался в его помощи. Звать его не приходилось, он появлялся всегда в тот момент, когда был пужен кому-то. Спокойный, неторопливый Сидамон... Когда началась война, я часто думал о нем. Господи, думал я, каково ему в этом пекле? Ему бы за шлугом идти... Если кто и рожден был для мирной жизни, так это Сидамон. — Шахам улыбнулся грустно. — Он писал с фрон-

та матери, что кормят их хорошо, обмундирование теплое, просил прощения за то, что начал курить... Спокойно писал, рассудительно... Но Сопо не так-то легко провести. «Ты, — потребовала она, — напиши, чем вы там занимаетесь. Не думаю я, что на войне люди только и делают, что одеваются потеплее и курят сигарку за сигаркой»... И Сидамон ответил. Дословно я его письмо помню, а дело было так... Сидели они в окопах, а между немцами и нашими было заснеженное поле. Картофельное, — это Сидамон не забыл отметить... И посреди этого поля на нейтральной полосе стоял подбитый танк. Было затишье между боями, но на войне и от шальных пуль погибают. И вот этих шальных пуль что-то стало многовато. То одного скосит, то другого... А немецкие позиции были слишком далеко, чтобы вести оттуда прицельный огонь. В чем же дело? Стали думать. Думал и наш Сидамон. Решил он понаблюдать за танком. Ничего подозрительного не заметил, но все же обратился к командиру. «Не дает мне покоя этот танк», — сказал он. «Думаешь, кто-то сидит в нем?» — спросил командир. «Снайпер, — ответил Сидамон. — Спозаранку занимает свое место, стреляет в нас через смотровую щель, а почью возвращается к своим». «Если бы он ходил туда-сюда, в поле были бы следы», — усомнился командир. «Следов нет, потому что все время падает снег», — сказал Сидамон. «Ладно, — сказал командир, — я подберу тебе ребят». — «Нет, — ответил Сидамон, — я пойду один. Немцы наверняка следят за танком и, если заметят нас, всех перестреляют». — «А если «перестреляют» тебя одного?» — спросил командир. «Одного труднее заметить», — ответил Сидамон. «Пусть будет по-твоему, — сказал командир. — Не бойсья?» — «Раньше боялся, — ответил Сидамон, — а теперь нет»...

Шахам помолчал, посмотрел на ребят.

— Да, — задумчиво проговорил он, — а теперь я скажу вам, чего боялся Сидамон... Вот как он писал об этом матери: «Я боялся ошибиться и еще сильнее боялся, что кто-то погибнет из-за моей ошибки... Разве можно рисковать людьми? Разве есть на этой земле что-нибудь дороже человека?..»

— А чем все же кончилось это дело? — спросил Толас.

— Сидамон забрался в танк ночью, а снайпер явился на рассвете. И кончилось все тем, что шальные пули пере-

стали попадать в наших солдат... Такой вот парень жил на земле...

Шахам хлопнул ладонью по столу — все, мол, я кончил,— но тут же заговорил снова:

— Вы пили сейчас за здоровье Сопо. А что ей нужно? Нужно, чтобы, увидев вас, она вспоминала Сидамона, чтобы она могла радоваться вашим добрым делам. И еще... Хоть изредка навещайте ее. Письма Сидамона всегда у нее под рукой. Ты ведь читал их, Туган?

— Нет...

— Конечно, у тебя и без того забот хватало... Смотрю я на вас,— покачал головой Шахам,— и кажется мне, что вы чужие друг другу... В тот вечер, Туган, я слушал тебя и радовался, думал, что ты знаешь своих друзей, все беды их и радости... Как Батадзи умеет с фокусами и вывертами подносить рюмку ко рту и пить со свистом,— это и я знаю. А ты скажи мне, чем живет этот Батадзи, о чем он думает, о чем мечтает... Или Коста. Что ты знаешь о нем? — Шахам повернулся к ребятам.— Расскажите мне о Коста...

Парни опустили головы.

Коста проголодался. Впрочем, вряд ли словом «проголодался» можно было определить его состояние. Последний раз он ел вчера около полудня. Купил на последние семь копеек булку и, отрешенно глядя на прохожих, медленно жевал ее. А люди шли мимо него, торопились куда-то, и никому из них не было дела до Коста. Он был чужим в городе. Коста и сам не знал, что влекло его сюда. Знал лишь, что и в селе он был чужим. И там жизнь обегала его стороной так же, как эта цветастая городская толпа. Кому он был нужен, Коста? Тугану? Азриму, Толасу, которые мало чем отличались от него? И, наверное, скитания его были вызваны неосознанной надеждой понасть наконец в струю жизни, стать нужным кому-то, а главное, самому себе. Но где тот берег, к которому он должен пристать? Коста пока не различал его.

И вот завершилось еще одно его странствие. Такое же пустое, как и предыдущее. Деньги кончились, надо было возвращаться в село. Но что ждало его там? Туган, Азрым, Толас — безделье и арака. Сколько он сможет выдержать это? Неделю, другую, а потом? Он исколесил уже всю Осе-

тию, всюду побывал и нигде ничего не нашел. Он ждал счастливого случая. Не веря уже и не надеясь все еще ждать...

В городе стемнело, зажглись фонари, и Коста, голодный, бродил по улицам, и обоняние его обострилось, и по запах свежей весенней зелени и цветов чувствовал он — отовсюду пахло едой. Коста знал, что ночь он проведет на вокзале, переспит на скамейке в зале ожидания, а утром с первым же автобусом уедет домой. С кондукторшей он расплатится в селе — уж тридцать-то копеек дома он найдет. Это он знал. Не знал он другого — как превозмочь голод. И вспомнилось ему вдруг, как наезжали они в город всей своей шумной оравой и, если им не хватало денег на ужин или на кино, все решалось проще простого. Где-нибудь в темном переулке Толас останавливал одинокого прохожего:

— Ты, — говорил Толас, — дай рубль...

Прохожий, опасливо поглядывая на внушительные фигуры Тугана, Гадаца, Батадзи, маячивших неподалеку, торопливо рылся в карманах, вручал требуемое Толасу и мгновенно исчезал. Ребята до слез смеялись над страхом неизвестного им человека, радовались своей недоброй шутке. Ну, не дал бы он рубль, и что? Шел бы своей дорогой, никто бы его не тронул... Впрочем, как спать? А если бы у Гадаца в этот вечер было плохое настроение?..

Улицы быстро пустели, и ослабевшие от голода ноги сами вели Коста подальше от света, в темноту и безлюдье, и голод подсказывал ему самое простое решение. А, будь, что будет! Коста сунул руку в карман, нащупал рукоятку складного ножа и, словно тропув змею, резко отдернул руку. Нет, подумал он, только не это. И он уже знал, что остановит женщину, да, обязательно женщину. Он слишком слаб сейчас, чтобы связываться с мужчиной. Он станет возле этого дерева и будет ждать...

Встреча получилась короткой, и разошлись они тихо, без шума.

Казалось, эта женщина появилась здесь лишь затем, чтобы отдать Коста деньги. Отдать — и уйти домой.

Он увидел ее еще издали и, когда она поравнялась с ним, внезапно вышел из-за дерева и загородил ей дорогу.

— Погоди малость, — хрипло произнес он.

Женщина отступила на шаг.

— Что вам нужно? — спросила она, и страха в ее голосе не было.

— Деньги, — выдохнул Коста. Он готов был провалиться сквозь землю.

— Ладно, — жестко сказала она. — Мне тоже нужны деньги, надо кормить ребенка... Но вам они, видно, нужнее. — Она раскрыла сумку, пошарила в ней. — Возьмите! Если они пойдут вам впрок — на здоровье!

Коста сунул деньги в карман, повернулся и зашагал прочь от проклятого места.

— Подождите! — окликнула его женщина. — У меня тут еще осталось!

Она швырнула на землю бумажку — рубль? три? — и Коста не стал бы подбирать, но женщина ушла, и, проводив ее взглядом, он повернулся и, не глядя, положил бумажку в карман.

Потом он долго петлял по улицам, заметал следы и, выйдя окольными путями к вокзалу, купил в ларьке пирожки. Сел на скамейку и разом съел их. Он съел бы и еще столько же, но к ларьку подошел милиционер и стал разговаривать с продавщицей. Коста замер и долго не мог побороть противную дрожь в коленях. Когда милиционер ушел, он достал из кармана и пересчитал деньги. Их оказалось совсем немного — все рубли да несколько трешек. Последняя бумажка отношения к деньгам не имела. Это была какая-то квитанция, списанная мелким, неразборчивым почерком. Видно, женщина в темноте не разобралась... Коста смял ненужную бумажку, бросил ее за скамейку...

Пытаясь отвлечься, он стал думать о ребятах, которых увидит завтра. Как там Батадзи, Туган, Толас?.. Но мысли упрямо возвращались к той темной улице, к той женщине. Она была совсем еще молодой, может, красивой, а может, и нет — в темноте было трудно разобрать.

Он встал, вышел на пустую платформу. Неяркий свет фонарей падал на рельсы, уходящие вдаль, в бесконечную, маящую даль... Но почему женщина была так спокойна?.. Коста в который раз ощущал деньги — рубли, трешки. И вдруг ему показалось, что денег очень много. Много, потому что на эти деньги надо кормить ребенка. Так она сказала. И еще он вспомнил о бумажке, которую бросил за скамейку, вернулся, нашел ее, развернул и прочитал несколько раз имя, фамилию и адрес той женщины...

В селе он пробыл всего два дня. Не выходил из дому,

ни с кем из ребят не виделся, и мысли его были все об одном и том же. Наконец, не выдержав, он занял у соседей деньги и отправился в город. Долго стоял у кирпичного пятиэтажного дома, не решаясь зайти во двор, зашел наконец, увидел старуху, сидевшую на скамеечке под шелковицей, и мальчика, гонявшего большой резиновый мяч.

— Добрый день,— сказал Коста, когда старуха, услышав шаги, повернулась к нему.

— Пусть и для тебя он будет добрым,— приветливо ответила она.

— Дугаева Афизат здесь живет?

Старуха насторожилась.

— А ты кто такой? — спросила она.— Родственников ее я знаю...

— Нет, я не родственник,— торопливо проговорил Коста,— просто знакомый.

— Ее нет,— строго сказала старуха.— Она на работе.

— И дома у них никого нет?

— Никого у нее, у бедной... Брат только, да он не здесь живет... И сын вот,— она показала на мальчика.— В детский сад ходить не хочет, плачет, вот я и присматриваю за ним.

А мальчишка, разбежавшись, пнул мяч ногой. Коста перехватил его и отпихнул мальчишку. Тот засмеялся радостно и снова пнул мяч...

Старуха оказалась словоохотливой, и Коста, играя с мальчиком, узнал гораздо больше, чем надеялся.

Афизат вышла замуж не по своей воле. Был у ее брата друг, часто ходил к ним. Ходил, ходил, а потом посватался. Афизат не хотела выходить за него, но брат настаивал и в конце концов она сдалась: брата боялась обидеть. Он ее вырастил, и отца и мать заменил. А с другом этим их водой разлить нельзя было. Так вот оно и получилось... Да только не долго прожила Афизат со своим мужем. Купил тот мотоцикл с коляской и через год после свадьбы ударился о самосвал...

Коста узнал также, где Афизат работает, во сколько она уходит на работу и когда возвращается, и он узнал бы еще многое, но мальчишку надоело гонять мяч...

— Я должен был ей,— сказал Коста, доставая из кармана деньги, завернутые в квитанцию,— передайте, пожалуйста... И бумажку тоже...

— Я даже не пригласила тебя в дом, стакан воды не предложила, — сокрушалась старуха.

— Ничего, спасибо...

Коста уже выходил со двора, когда старуха окликнула его:

— Кто ты? Как ей сказать?

— Скажите, что приходил тот, кто два дня тому назад брал у нее деньги... Она знает...

Едва Коста вышел на улицу, как понял — чего-то в этой истории не хватает. Может, самой Афизат? Может быть, то, что он сделал, нельзя искупить деньгами? Нет, спокойствия Коста не обрел. Он ходил по улицам, размышлял и, чем дальше, тем больше утверждался в том, что вина его никуда не делась, ее даже не стало меньше, и избавиться от нее можно лишь повидавшись с Афизат...

Узнает ли он ее при встрече? Коста не был уверен в этом, и, когда кончилась смена и рабочие стали выходить из заводской проходной, он всматривался в каждую женщину, а они все шли и шли, и он устал, отчаялся, решил, что проглядел ее и все придется начинать сначала. Стоять здесь завтра, послезавтра, слыша бешеный стук своего сердца и обмирая при виде каждой женщины...

Она вышла одной из последних... Да, это была она. Гладко причесанные, разделенные пробором волосы, усталый взгляд, быстрая, как тогда, походка, то же самое платье, та же сумка...

— Афизат, — позвал он негромко.

— Вы меня? — спросила она, недоуменно глянув на него.

— Если вы Афизат, — смутился он.

— Что-то я не помню вас, — пожала она плечами.

Вот оно, самое трудное.

— Вряд ли вам будет приятно вспомнить меня, — проворчал он.

— Простите, я тороплюсь, — она повернулась и пошла.

Он шел рядом с ней и никак не мог решиться сказать главное, но и молчать тоже не мог.

— Вы наступали когда-нибудь на колючку? — заговорил он, сам понимая, что говорит глупость.

— В детстве, — ответила она.

— Потерпите столько времени, сколько нужно, чтобы вытащить колючку из ноги...

Она пошла медленнее.

— Я не начал еще, а уже запутался,— несмело улыбнулся Коста.

— Лишь бы в жизни не путаться...

— Когда я был маленьким, меня часто заставляли извиняться. Слушателей было много, а говорить так не хотелось. Сейчас всё наоборот. Мне хочется говорить, а слушать некому...

— Если бы вы были женщиной, из вас получилась бы неплохая плакальщица...

Все выходило совсем не так, как нужно, совсем не так. Глядя на нас со стороны, терзался Коста, можно подумать, что я пристаю к женщине, пытаюсь завести с ней знакомство...

— Я выповат перед вами! — в отчаянии произнес он. — Неужели вы не узнаете меня?!

— Ну, хватит! — она остановилась. — Что вам нужно? Говорите!

— Два дня тому назад, вечером...

— Это были вы? — испуганно воскликнула она.

— Да, — опустил он голову.

— Господи, меня снова трясет всю... Как же я напугалась тогда! Старалась что-то такое говорить...

— Каждое ваше слово пропало меня насквозь...

— Я бы все деньги, что есть на земле, отдала, лишь бы избавиться от страха...

— Я не смел взглянуть на вас...

Сколько времени они шли от завода до дома Афизат? Час? Вечность?.. О чем они говорили? Коста рассказывал о себе, не тая ничего и не оправдываясь. Она слушала молча, но молчание ее не было безучастным, и он чувствовал это и, расставаясь, знал, что придет к ней снова, обязательно придет.

Коста напоминал себе человека, долго барахтавшегося в трясине и наконец нащупавшего опору, и он не знал еще, надежна ли эта опора, но уже верил в спасение...

И Афизат, неожиданно для самой себя, потянулась к этому нескладному, непутевому парню и радовалась, когда он встречал ее у проходной...

Вскоре Коста устроился на работу. Стал появляться во дворе у Афизат, играть с малышом, и она, глядя на их веселую возню, чувствовала, как оживает ее душа, не зная еще любви... Но у Афизат был брат, человек недале-

кий и жестокий. Однажды, когда Коста и Афизат шли своей долгой вечерней дорогой, он попался им навстречу.

— Что там у них вышло, не знаю, — сказал Шахам, — но брат, действительно, получил ножевое ранение... Он утверждает, что ударил его Коста...

— Что же теперь будет? — спросил Толас.

— Все зависит от Афизат...

— Она не пойдет против брата, — засомневался Гадац.

— Лишь бы она не пошла против истины, — сказал Шахам.

## 7

Во всем должен быть четкий распорядок, и ребята решили: встав на рассвете, каждый из них должен прополоть от начала до конца три ряда кукурузы и, возвращаясь к стану на обед, еще два ряда. Капля в море эти пять рядов, если сравнить их с неоглядными просторами поля, по рядом со своими пятью ты увидишь еще пять, и еще, и еще...

В это утро ребята не успели прополоть и по три первых ряда, как Батадзи увидел бегущего по полю Цыппу. Тот кричал что-то перазличное, размахивал над головой газетой, и Туган догадался, что Харбе поведал уже всей Осетии легенду о бессмертном Гато.

Так оно и оказалось, и ребята, столпившись вокруг Толаса, громко, с выражением читавшего статью, едва сдерживали смех. Даже солнце, казалось, остановилось, затиш Астаудон, и деревья на берегу его склонились, прислушиваясь. Еще бы! Никогда до сих пор Толаса не упоминали даже в степгазете. Никто не знал, что Батадзи — лучший плясун в селе, а добрый повар Цыппу виртуозно играет на гармошке. И трудолюбие ребят достойно подражания, и дружнее звена еще не видело ни одно поле, и всем этим они обязаны своему мудрому наставнику Гато. Тому самому Гато, который, пролежав полвека в могиле, восстал из мертвых, чтобы помочь заблудшим парням.

Когда Толас дочитал очерк Харбе до конца, ребят наконец прорвало. От их смеха, казалось, земля ходуном заходила. И только Гадац, стоявший в стороне, был хмур и печален. Туган, заметив это, хотел было подойти к Гадацу и узнать, не обидел ли того ненароком кто-нибудь из ребят, но потом решил, что лучше сделать это как бы невзначай, между прочим. Туган знал, когда Гадац замыкается в себе, молчит и хмурится, лучше его не трогать.

— Ну, хватит,— сказал Туган.— Давайте отпустим Цыпу, не то останемся без обеда...

Смех стих, как пламя, залитое водой.

— Хватайте тяпки,— улыбнулся Туган,— теперь мы должны работать, как черти!

— Теперь нас никто не удержит!

— Вот вам и Харбе!

— Туган, ты не краснел, когда рассказывал эти сказки?

— Как только меня разбирал смех, я щипал себя за ногу.

Работалось весело. Ребята вспоминали то одну подробность из статьи, то другую, и каждая из них сопровождалась смехом, и только Гадац не улыбнулся ни разу. Он хмуро ковырял своей тяпкой землю, отставая от ребят все больше и больше.

— Эй, Гадац, смотри не надорвись! — крикнул Батадзи.

— Шевелись, Гадац! Не обижай старого Гато! — крикнул Состыкк.

Что-то крикнул Толас, что-то Азрым... Гадац остановился, постоял немного в раздумье, потом бросил тяпку и пошел не торопясь к стану.

— Ты куда?! — крикнул ему вдогонку Азрым.

Гадац даже не обернулся...

Никто так и не понял, почему он ушел. Ясно было лишь одно — Гадац затанк кровную обиду... Может, старый Гато был его родственником? Но тут печего обижаться. Пусть еще поживет Гато, пусть вспомнят его сельчане... В чем же все-таки дело? Туган пытался доискаться до причины, но ничего такого, что могло обидеть Гадаца, сегодня не было. До тех самых пор, пока Цыпу не принес газету...

После обеда, когда ребята пошли на речку, Туган снова перечитал очерк Харбе. И заметил вдруг, что в очерке нигде ни разу не упоминается Гадац, ни слова о нем. Обо всех написал Харбе, Гато живет в очерке, а Гадаца забыл, будто и не было никакого Гадаца в природе. Что ж, теперь все стало на свои места...

Нет, Гадац не страдал тщеславием. Но он видел, с каким удовольствием все воспринимали написанное о себе. Хоть и переврапное, но о себе... Харбе о каждом слово сказал — так или приблизительно так думал Гадац, — только не обо мне. Значит, я хуже всех. Значит, Туган

даже не заикнулся обо мне, выбросил меня, как мусор за дверь, когда беседовал с Харбе...

Мальчик пускал бумажные кораблики в ручей, текущий вдоль улицы, бежал за своим корабликом, и улица казалась ему бесконечной.

Весь мир для мальчика вмещался в пределы села и, когда мать говорила: «Я уезжаю, тебя покормит отец», — мальчику хотелось плакать так, чтобы слышало все село, весь мир. Гадац тогда не понимал, как далеко может вести дорога, начинающаяся за порогом родного дома.

Отец Гадаца был самым сильным мужчиной в селе. Он запросто переворачивал воз, нагруженный сеном. А глядя, как мать отнимает теленка от коровьего вымени, Гадац умирал со смеху: мать тянула за ногу сосунка, за хвост, но сдвинуть с места его ей не удавалось, не хватало сил. Но когда мать, насупившись, глядя из-под низко надвинутого платка, говорила с отцом свистящим шепотом, и отец опускал голову, Гадац не знал, кто из них сильнее.

Однажды пришел к ним какой-то человек, поговорил с матерью и увел со двора корову и теленка. Теленок был озорной, такого можно и отдать, но зачем отдавать добрую, спокойную корову? Этого мальчик не понимал. Потом приехали на арбе и увезли поросят. Поросята визжали, им не хотелось покидать свой сарай. Потом угнали двух овец. Эти уходили молча, думали, наверное, что их гонят на пастбище. И наконец мать вечером зашла в курятник, переловила всех кур, затолкала их в мешок и унесла. А куры-то все были несущки...

— Зачем она их унесла? — спросил Гадац отца.

— Мы переселяемся в другое место, сынок, — ответил тот, глядя себе под ноги. — Там снова куним...

Отец всегда говорил правду, но на этот раз он обманул Гадаца. Никуда они не переселялись. Ушла только мать, и стало в доме тоскливо и пусто, и Гадац часто видел, как отец, стоя на крыльце, смотрит, вздыхая, куда-то вдаль. В ту сторону, куда ушла мать, понял Гадац, и тоже стал смотреть туда, ждать...

Прошло много времени. Гадац уже научился чистить картошку, и даже суп солить научился. Отец купил новую корову. Она отелилась. Когда теленок подрос и стал таким же, как тот, озорной, вернулась вдруг мать... Гадац испугался, заплакал почему-то. Хотел рассказать, как они ждали ее, долго ждали. Много хотел сказать он, но слезы

мешали ему и, вспомнив бесконечные дни ожидания, бросился внезапно в дом, захлопнул дверь, запер ее и закричал:

— Не пущу тебя! Уходи!

И долго еще кричал он, а потом, обессиленный, сел на полу у двери и уснул. Проснулся он вечером. Открыл осторожно дверь, вышел во двор...

Мать и отец молча сидели в сарае.

Через месяц-полтора после ее возвращения к ним приехал ее брат, дядя Гадаца. Дядя вызвал отца во двор, и они долго разговаривали. До Гадаца доносились только обрывки фраз, но он все же кое-что понял: кто-то ждет мать, кому-то она должна отнести деньги.

Корову отец не продал. Мать осталась дома, но часто уезжала куда-то то на день, то на неделю, то на месяц. А отец искал утешения в араке и, напившись, часто впадал в буйство. Являлся среди ночи, орал, пинал все, что под ноги попадалось.

Однажды он подошел к постели Гадаца. Долго стоял, пошатываясь, смотрел на спящего сына. Потом рванул с него одеяло, отшвырнул в сторону. Гадац проснулся, сжался испуганно.

— Ты-ы кто-о та-а-кой? — едва ворочая языком, пробормотал отец.

Гадац засмеялся. Испуг его прошел, ему показалось, что отец шутит с ним, и он тоже хотел сказать что-нибудь смешное, но не успел. Отец схватил его за плечи, тряхнул, заорал, бешено тараща глаза:

— Ты-ы кто-о та-а-кой?!

— Я Гадац, — испуганно пролепетал мальчик.

— А-а еще-е кто-о?!

— Твой сын...

— Не-е вре-е-ешь?!

Выскочила из своей комнаты мать, бросилась к мужу:

— Оставь ребенка!..

Отец обернулся на крик, а Гадац, воспользовавшись этим, спрыгнул с кровати и выбежал из дома. Застыл на крыльце, боясь ступить в густую, непроглядную, враждебную тьму. Но скрипнула дверь, и Гадац, как в омут головой, бросился в ночь.

— Это я! Подожди! — слышал он голос матери.

Гадац остановился, весь дрожа от пережитого ужаса, мать подошла к нему, укутала в свой платок, они сели на

скамейку под старой грушей, и лишь тогда он заплакал, всхлипывая судорожно и задыхаясь...

Такие ночи повторялись все чаще. В школу Гадац ходить не хотелось. На первом уроке, на втором он еще слышал голос учительницы и даже смысл ее слов улавливал, но к третьему его начинал одолевать сон. Тяжелели веки, голова клонилась на грудь, блаженное тепло разливалось по телу... Учительница сделала ему замечание, другое, потом пожаловалась отцу, сказала, что мальчик плохо ведет себя, плохо учится.

Как-то раз, явившись среди ночи, отец разбудил Гадаца. Долго тряс его, ухватив за плечи, и, когда мальчик открыл наконец глаза, спросил:

— Ты ур-роки вы-учил?

— Выучил, — ответил, щурясь спросонья, Гадац. — И стихотворение выучил...

— А ну-у расскажж-и!

Боясь обозлить отца, Гадац начал декламировать.

То, что случилось на следующий день, Гадац тоже запомнил на всю жизнь.

Учительница выводила на доске крупные белые буквы. Гадац замер от восторга — буквы получались красивые, строчки ровные, прямые — ему не верилось, что и он когда-нибудь сможет так писать. И он смотрел на эти буквы, смотрел и сам не заметил, как веки его сомкнулись, голова опустилась на крышку парты, и он продолжал видеть буквы, но теперь уже во сне.

Он спал бы до вечера и всю ночь, но вдруг к нему потянулись чьи-то руки и кто-то заорал так, что потолок чуть не обрушился. Мальчик инстинктивно прикрыл голову руками, метнулся в сторону.

— Ты что, Гадац? Не бойся...

Перед ним стоял завуч, и ноги его не подкашивались, как у отца, и говорил он так спокойно и ласково, словно араки вообще не было на свете.

С доски давно уже все стерли. В классе никого уже не было. Только Гадац и завуч.

— У тебя болит что-нибудь, Гадац?

— Нет, — буркнул мальчик.

— А чего ты испугался? Что-нибудь страшное приснилось?

— Нет.

— Ну, хорошо, хорошо... А вечером ты рано ложишься?

— Да, рано.

— Корову на пастбище ты выгоняешь по утрам?

— Ее никто не выгоняет. Отец привозит траву домой.

— А когда гости у вас бывают, ты ложишься рано?

Завуч хотел поговорить с ним по душам, но Гадац держался отчужденно.

— Гостей у нас не бывает, — сказал он и, почувствовав, что заплачет сейчас, выбежал из класса.

О чем мечтал Гадац, шагая каждое утро в школу? Ему хотелось наступить на ржавый гвоздь или заболеть внезапно, чтобы вернуться домой, улечься в постель и долго-долго не вставать. Мечтал о пожаре в школе. Если бы она сгорела, их распустили бы по домам. Он понимал, что мечты эти несбыточны, и однажды в голову ему пришла другая мысль. Простая и реальная. Надо спрятаться где-нибудь, переждать время уроков, а потом, как ни в чем не бывало, вернуться домой. Гадац ухватился за эту мысль, и в тот же день осуществил ее. Вернулся задом в свой огород, прокрался, прячась в кукурузе, к сараю, влез на чердак, зарылся и впервые за долгое время почувствовал себя счастливым.

Теперь у него было убежище, которое надежно скрывало его от мира. Здесь он сам распоряжался собой, никого не боялся и ни от кого не зависел. Здесь можно было лежать на сене, наслаждаться тишиной и покоем, засыпать и просыпаться, здесь было его, Гадаца, царство. Пропустив день, другой он являлся в школу, и в классе уже привыкли к его прогулам, и учительница с сомнением качала головой, когда он в очередной раз оправдывался болезнью. Он боялся, конечно, что учительница пожалуется на него отцу. К матери-то она не пойдет. С матерью мало кто общался, даже соседки не любили встречаться с ней. И Гадац полезкивал на сене и верил, что так может продолжаться вечно.

Однажды он заснул на чердаке и проснулся, когда уроки давно уже кончились. Гадац, проделав уже привычный ему кружной путь, вышел огородами на улицу и, помахивая портфелем, зашагал так деловито, будто возвращался домой из школы. Старуха-соседка, сидевшая у своих ворот на скамейке, увидев его, удивленно всплеснула руками:

— Ой, горе, горе! На кого ты похож?!

Сено, что ли, в волосах застряло, подумал Гадац. Он

отряхнулся на всякий случай, потом достал из портфеля осколок зеркала, которым пускал иногда зайчиков, посмотрелся в него и обмер. На лице его сажей были нарисованы роскошные усы, борода, глаза обведены были черными кругами. Гадац попытался ладонью стереть эту живопись, но только сажу по лицу размазал. И вдруг он услышал тихое хихиканье. Присмотревшись, увидел мальчишек, подглядывающих за ним из-за плетня. Это они разрисовали меня, понял он, подкрались, пока я спал. Вскипев от злости, Гадац перемахнул через плетень и бросился на обидчиков. Те сыпанули в разные стороны, но одного из них, самого маленького, Гадац все же настиг. Догнал, схватил и, не помня себя, огрел портфелем по голове. Мальчишка заревел, вырвался, побежал и, обернувшись, прокричал сквозь слезы:

— А твоя мать — баптистка!

Гадац и раньше слышал это слово и, не понимая смысла, чуял что-то страшное, таинственное в нем, и оскорбительное своей причастностью к матери... Забыв о бороде и усах, Гадац понуро поплелся домой.

Увидев сына, мать, возившаяся во дворе, рассмеялась. А Гадац никогда не видел ее смеющейся, ни разу за всю свою жизнь, и он смотрел на нее, пораженный, и, не выдержав, закричал истушенно:

— Не смейся надо мной! Баптистка!..

Вскоре Гадац вообще перестал ходить в школу. Все ему надоело, и, ожесточившись, он никого уже не хотел бояться. Отец же молчал, думая о чем-то своем.

Как-то раз утром он разбудил сына, велел одеться, вывел во двор, где уже стояла пароконная арба, и они сели — отец впереди, сын — сзади, и поехали. Куда и зачем, Гадац не знал. Когда арба, оставив позади село, остановилась у высокого кургана, Гадац насторожился — а что, если отец стащит его на землю и отхлещет кнутом? За школу и за чердак с сеном... Но отец не оборачивался, сидел, опустив голову, и плечи его судорожно вздрагивали. Плачет, ужаснулся Гадац, он плачет...

Арба долго стояла у кургана, потом тронулась наконец и вскоре остановилась опять, возле свинофермы. Отец отвел Гадаца к заведующему и сказал, обращаясь к сыну:

— Делай все, что тебе скажут. — Он попытался улыбнуться. — Школа опротивела тебе, значит, надо рабо-

тать... Голодным не оставайся, никого не бойся... Ночевать будешь дома...

Так началась для Гадаца новая жизнь. Продолжалась она недолго. Он и двое ребят повзрослее каждое утро выгоняли пастись свиноматок. Невдалеке от свинофермы начинались колхозные поля и огороды — кукуруза, картофель, огурцы, помидоры — вот и приходилось целый день бегать за свиньями. Гадац не раз и не два проклял себя за то, что бросил школу, и он бы сбежал отсюда, но в памяти его крепко сидела та остановка у кургана... Однажды товарищи его остались чистить свинарники, и он погнал свиней на пастбище один. Гадац загнал их в лощину, в самое безопасное место. Утро было солнечное, теплое, свиньи спокойно похрюкивали, роясь в земле, и Гадац, от нечего делать, сел на траву, прислонился спиной к камню. Издали слышалось негромкое журчание реки, где-то монотонно чирпали птички, легкий ветерок нес сладковатый запах теплых трав... Вдруг Гадацу показалось, что он вознесся над землей, парит в головокружительной высоте, и он замер, упиваясь радостью свободного полета. Но восторг его длился недолго. Слово птица, убитая на лету, он рухнул на землю. Ударился, открыл в испуге глаза и увидел одного из своих товарищей-свинопасов.

— Что ты наделал?! — орал тот, тряся Гадаца, как пустой мешок.

— Я? — жмурился Гадац, не понимая спросонья, что происходит.

И тут же услышал крики, топот и свинячий визг, доносившиеся со стороны колхозной бахчи. Проснувшись окончательно и вскочив на ноги, Гадац огляделся — свиней в лощине не было. Разом поняв все, он оттолкнул своего товарища и бросился бежать, не разбирая дороги, прочь от позора...

И снова отец разбудил его утром, но арбы во дворе теперь не было. Они сели в автобус и поехали в город. Отец отвел сына в профтехучилище.

Гадаца поселили в общежитии, дали ему узкую железную койку, он научился подметать, мыть полы и посуду. Узнал, что кирпич имеет определенные размеры, вес и прочность. Глядя, как поднимаются строящиеся дома, Гадац и сам вдруг потянулся вверх, раздался в плечах, окреп. Ему нравилось ремесло, которому учили, нравилось ощущать в себе неведомо откуда взявшуюся силу и ве-

рять, что длинной своей рукой он свалит любого, кто осмелится задеть, обидеть его.

Но и в училище Гадац продержался недолго.

Как-то раз после обеда он взялся, расшалившись, задрать товарищей. Толкнул одного, другого, а когда погнались за ним сами, стал убежать по лесам строящегося дома, забираясь все выше и выше. Нырнул в оконный проем, промчался по только что уложенным бетонным перекрытиям, взбежал по лестнице на верхний, девятый этаж. Дальше бежать было некуда, а преследователи уже топали совсем рядом, и Гадац, решив спрятаться, пятясь, вышел на балкон. На балконах еще не установили поручни, и он шагнул в пустоту...

Ему повезло. Он успел ухватиться руками за край балконной плиты. Сколько он провисел, пока его нашли наконец и сняли? Сколько раз попрощался с жизнью, чувствуя, как слабеют пальцы? Когда он пришел в себя, почувствовал под ногами опору, первое, что бросилось ему в глаза, было белое, как мел, лицо их старого мастера...

В тот же вечер в общежитии разобрали постель Гадаца и унесли его узкую железную койку.

Ребята сходили на речку после обеда, вернулись, а Гадац, как зашел в вагончик, повалился на койку, так и лежал ничком. Туган знал — ребята не забыли о Гадаце, они своего не упустят. Как только возьмутся за тяпки, собираясь в поле, так и начнут, пойдут приглашать Гадаца, умолять, насмешничать. Надо бы предупредить их, думал Туган. Может объяснить им, в чем дело, рассказать про этого проклятого Харбе? Но тогда они развеселятся еще больше. Славы, скажут, захотел Гадац, захотел, чтобы его портреты напечатали во всех газетах...

Пока Туган размышлял, ребята повязали на головы рубашки, как платки, и двинулись к Гадацу. Возглавлял процессию Батадзи, а язык у него, все знали, без единой косточки. Сидя за столом, Батадзи мог произносить тосты один за другим, как многоопытный старец. Ладно, за столом, он и на улице, собрав ребят, любил произнести тост, подражая кому-нибудь из сельских стариков. А ребята, умирая со смеху, только успевали кричать «амин»...

Они подступили к койке Гадаца. Батадзи, как стару-

ха-плакальщица, ударил себя руками по коленям и горестно запричитал:

— Ой, черные тучи нагрянули! Ой, рухнула моя крепость!

— Ой, горе нам, горе! — вторили ребята.

— Ой, не смогу я нести тяжкую ношу матери сирот!

— Ой, горе, горе!

— Ой, не смогу я купить им в универмаге нейлоновые сорочки и безразмерные носки!

— Ой, горе нам, горе!

Гадац вскочил, схватил подушку и, швырнув ее в Батадзи, вышел из вагончика, мельком глянув на Тугана, Гадац зашагал к селу.

— Эй, хоть адрес оставь! — закричали ему вслед.

— Может, проводить тебя?

— Не обижайся, что без подарков уходишь!

— За чемоданом пришлешь кого-нибудь или отправить его малой скоростью?

Ребята покричали, покричали и смолкли, потому что Гадац был уже слишком далеко, чтобы слышать их.

— Ничего, хороший спектакль получился, — сказал, вздохнув, Туган.

— Опять мы виноваты! — развел руками Батадзи.

— Прав был Шахам — не понимаем мы друг друга..

## 8

Если из шести человек один неразговорчив, этого можно и не заметить. Но когда все шестеро молчат, значит, дело неладно.

Ничего особенного вроде не произошло — к капризам Гадаца они давно привыкли — по утру, собираясь на поле, ребята взваливали на плечи тяпки с таким трудом, будто те отяжелели за ночь.

Туган ждал — может, кто-нибудь улыбнется, в конце концов, пошутит, Толас, например, или Батадзи, но ребята хмуро ковыряли землю, думая каждый о своем и не замечая друг друга. «А может, печаль у них одна? — гадал Туган. — Может, они переживают за Коста? Или завидуют Гадацу, что так легко он отделался от этого кукурузного поля?.. Ну, хоть бы выругался кто-нибудь, швырнул тяпку на землю — и то было бы легче...»

Туган и сам приупыл, не зная, как подбодрить ребят. Слова потеряли смысл. Человек должен во что-то верить; ради чего-то жить на земле, иначе рано или поздно почувствуешь ничтожность своего существования, замкнешься в самом себе. А человеку ведь нужно так мало... Но как трудно достичь этого малого...

Если бы Туган знал сейчас, что Хани обрадуется, увидев его, он бы первый бросил тяпку. Бросил бы и побежал прямо отсюда в город... Сказал бы: «Ребята, не смейтесь надо мной, сил монх больше нет, хочу повидаться с Хани»... Эх, было бы все так просто...

Тяжелый, неповоротливый Азрым остановился, выпрямился и, опершись на держак тяпки, воззрился вдаль. Раньше бы ребята не упустили такого случая позубоскалить, а сейчас никто и не глянул на Азрыма. Будто сами по себе поднимались и опускались тяпки, срубая сорняки, взрыхляя землю.

— Ты что? — не выдержав, спросил Туган.

— Во-он, посмотри, — Азрым кивнул в сторону села.

Он собрался сказать еще что-то, но глазастый Толас опередил его:

— Гадац! Я же говорил, что он вернется!

— Гадац длиннее телеграфного столба, — сказал, вглядываясь, Батадзи, — его немудрено узнать... Вы лучше скажите мне, кто это идет рядом с ним?

Ребята притихли. Рядом с Гадацем шла девушка, но кто она, еще пельзя было различить. То, что можно было увидеть, они видели — голубое платье, короткая прическа... Но Гадац не позволил им догадаться:

— Туган! — еще издали закричал он. — К нам пришла Хани!

Подойдя ближе, он похвастался:

— В город собиралась, я ее прямо из автобуса вытащил!

Ну, казнил себя Туган, что ж ты стоишь?.. Признайся, Хани мужественнее тебя... Ведь ты только что собирался к ней в город бежать... А ты совсем не такой, каким кажешься своим друзьям. Тебе бы броситься к ней с открытой душой, но нет, застыл, как камень, гордостью боишься поступиться...

И вот она уже была рядом, и он видел лицо ее, обращенное к нему, ее спящие глаза. «Нет, — думал он, — сегодня ты не уйдешь печальной, как тогда. Я слишком

долго тебя ждал, чтобы размениваться на ничемные обиды. Хватит»...

Он все тянул, не здороваясь, ждал, когда она подойдет, протянет руку, и он знал, что не скажет ей ласковых слов, не сумеет, не осмелится, но ему так хотелось встретить ее по-доброму, радостно, празднично. И тут он заметил, что она отрезала косы, и понял, почему не узнал ее сразу, издали. Он вспомнил, как она занлетала их, словно чудодействовала, словно золото ткала, и почувствовал, будто у него что-то отняли, чего-то лишили навсегда.

— Ну, здравствуй, — сказала Хани.

Он осторожно пожал ей руку, кивнул:

— Здравствуй и ты...

— Чего хмуришься? — улыбнулась она. — Ощетинился, как еж...

Он помялся, не зная о чем говорить, потом спросил:

— Что нового?

— В городе? В селе? Или тебя интересует международное положение?

Он и вовсе растерялся, повернулся к Цыппу:

— Слушай, у тебя нет холодной воды?

— Ханц, — засмеялся Цыппу, — не ленись, ради бога, покажи ему, где течет речка...

Они пошли — он впереди, она за ним. Остановились на берегу Астаудона. Она стала приглаживать волосы, встрепанные ветром. Туган украдкой глянул на Хани. Девушка показалась ему усталой, и хоть глаза ее светились радостью, по даже радость не могла скрыть беспокойства, какой-то непроходящей озабоченности.

И внешне она стала другой. Косы шли Хани больше, чем эта короткая стрижка, разом изменившая весь ее облик. Туган представил себе, каким своевольным, решительным был ее взгляд, когда она взяла в руки пожницы. Сказал досадую:

— В следующий раз отруби себе еще и палец...

— Ну, вот, — улыбнулась Хани, — вчера меня весь день дома пилили, а теперь и твоя очередь настала... Дома хоть Гаппо за меня заступался...

С самого детства Хани называла отца по имени — Гаппо. Она была пятой его дочерью, и он души в ней не чаял. Когда сестры все, кроме Хани, замужние, собирались в доме, он говорил: «Вы, четверо, одна половина моего сердца, а Хани — другая»...

Гаппо, как истый осетин, мечтал о сыне и обещал закатить пир на все село, если родится сын. Но каждый раз, когда жена разрешалась от бремени, ему сообщали, что родилась дочь. Вторая, третья, четвертая... Когда пришла очередь Хани, Гаппо, как никогда, был уверен, что теперь уж родится сын. Он даже имя ему придумал, хорошее имя... Говорят, Гаппо заплакал от злости, когда узнал, что надежды его и на сей раз не сбылись. Говорят, он даже взглянуть на пятую дочь не захотел, старался вообще не замечать ее... Потом Хани подросла, пошла в школу, умная, хорошепьякая, и Гаппо, ворча еще, втайне любовался ею, а потом и вовсе растаял...

— Что же ты молчишь? — спросила Хани. — Говори, пока не остыл.

— Скажи честно, — Туган в отчаянии взмахнул руками, — ты хоть с кем-нибудь посоветовалась, прежде чем сделать это?!

— Вот теперь ты похож на себя...

— Ладно, — сказал Туган, — прости...

— Ты не виноват, — покачала она головой. — Но и я ни в чем не виновата.

— А кто же тогда, скажи?

— Не знаю, — вздохнула Хани. Помолчала, бросила камешек в воду. — Когда я злюсь на тебя, мне все хочется делать назло, — заговорила она, глядя вдаль, за речку. — Даже конфетам радуюсь, которые приносит Спучка. А потом самой бывает противно. — Она повернулась к Тугану. — Ночью, когда все стихнет, тебе ничто не слышится?

— Кваканье лягушек, стрекотанье цикад...

— А мне слышится твой голос. Слов я почему-то не улавливаю, а голос слышу. Спокойный, ласковый, каким он никогда не бывает... Может, это и есть твой настоящий голос? Попробуй, а? Ну, скажи что-нибудь...

— Ты какая-то усталая... Знаю, белые халаты, болезни, смерть...

— Смерть тут ни при чем... Иногда она даже возвышает человека. Тот, кто знает, в чем смысл его жизни, не испытывает животного страха перед смертью...

— Что-то тревожит тебя, я это чувствую. Не знаю только, смогу ли помочь тебе...

— Спасибо, Туган. Доброе слово твое, как опора для меня. Я не лепивая, не капризная, но иногда так устаю... Есть у нас студентка — ее тошнит, когда она видит кровь.

А ведь чего только не сделала, чтобы поступить в институт. Лишь бы, называясь врачом, выбрать мужа на свой вкус... Так что и я теперь завидная невеста. По улице не могу пройти спокойно. Обязательно кто-нибудь пристапет, а то и предложение сделает, в загс пригласит... Думаю иногда — а не пойти ли мне в самом деле в загс? Сразу приставать перестанут... Не то что косы — волос с головы не упадет...

— Что ты ходишь вокруг да около?! — перебил ее Туган. — Говори прямо — случилось что-нибудь?

Она опустила голову...

В общежитии, в комнате Хани, жили еще четыре девушки. Дружно вроде бы жили. Но вот одна заворчала на другую, другая на третью, переругались все, а потом, ни с того ни с сего взялись обсуждать косы Хани. Мол, на что они тебе? Времена забытых горских девушек давно уже прошли. Поначалу Хани не приняла этот разговор всерьез, попыталась отшутиться, но это еще больше распалило девушек. «Чем ты лучше нас? — обиделась она. — Мы-то давно уже постриглись». — «А, что с нее взять, — махнула рукой одна из них, — была деревенской дурочкой, дурочкой и осталась». Вечером Хани вымыла голову. Расчесала свои густые, шелковистые волосы, заплела их на ночь. А утром, когда проснулась, косы ее, мертвые, валялись на полу...

— Кто же их отрезал?! — вскипел Туган.

— Не знаю, — тихо ответила Хани. — А если бы и знала, какая разница?.. Я шла к вам, как на казнь, — грустно улыбнулась она. — Думала, ребята увидят меня — засвистят, заулюлюкают. А они будто и не заметили ничего...

— Ну, да, — сказал Туган, — они же отребье...

— Не надо. Мне и самой стыдно... Ладно, — сказала она, — пора идти... Проводи меня пемного...

Она шла по тропинке, а он шагал рядом по трассе, и оба чувствовали, что сегодняшней день не сблизил их, и они не знали, что принесет им завтра. Были, наверное, какие-то слова, которые следовало сказать сейчас, но им обоим не хватало уверенности, не пришла, видно, еще пора этих слов.

Опять она уедет в город, терзался Туган, и опять на улицах ее путь будут обрывать какие-то нахальные парии... Он глянул на ее обнаженную нежную руку. Ты даже

прикоснуться к ней боишься, горько усмехнулся он про себя, а кто-то ведь может схватить ее, следы чьих-то грубых пальцев могут остаться на ее коже... И ясно, словно озарило его, понял: никто в этой жизни не заменит ему Хапи...

— Туган, — неуверенно проговорила она, — ты сумеешь сдержаться, если я скажу тебе одну вещь?

— Свяжи меня, а потом говори...

— На днях к нам придут сваты.

— Что?! — взвился Туган. — Какие сваты?!

— Обыкновенные...

— Кто он?!

— Идеальный жених.

— С чьей точки зрения?

— С точки зрения Сосая.

— А что говорит Гаппо?

— Гаппо я на этот раз понять не могу...

## 9

Весь день гроыхало где-то вдали, было душно, безветренно, а к вечеру небо заволочлось тучами, и на пыльную землю упали первые капли дождя. Капли зарылись в пыли, отметившись крупными оспинами между рядами кукурузы, и снова все замерло в тревожном предгрозовом ожидании. И наконец небо, ухнув, раскололось, сверкая яростно, и на землю обрушился шумный, теплый ливень...

Ребята, похватав тяпки, бросились бежать с поля, и бег их под дождем был неудержим и радостен. Первым добежал до стана маленький Толас. Остановившись под навесом, он помахал рукой оставшим друзьям: давай, давай, что же вы тащитесь, как старые клячи?!

Не успели ребята отдышаться, как к стану подкатила крытая брезентом машина.

— Эй! — крикнул, высунувшись из кабины, шофер. — Вы еще не одичали здесь?!

— А что, похоже? — осклабился в ответ Батадзи.

— Ладно, — сказал шофер, — некогда мне болтать... Если хотите в село, прыгайте в кузов!

— Годится! — заорал Батадзи. — Сходим в кино!

— А ужин? — растерянно спросил Цыпну.

— Ничего, дома поужинаем!

Тугану не хотелось идти в клуб, но ребята договорились

уже, и деваться было некуда. Он шел по улице, и сердце его колотилось все сильнее и сильнее. Тугану предстояло пройти мимо дома Хани, вот он уже увидел свет в ее окнах и подумал: а вдруг она дома сейчас? Сидит себе за столом и читает книгу?.. Почему, размышлял он, я не могу войти к ним и спросить: «Где Хани, дома или в городе?» «В городе, конечно», — ответил он самому себе. Если бы она приехала сегодня в село, я бы уже знал. Гадац бы сообщил или еще кто-нибудь из ребят...

Туган купил билет, пошел в зал, пощупал глазами друзей, увидел их и сел рядом с Азрым. Когда погас свет и на экране появились первые кадры, Азрым толкнул в бок Тугана:

— А кино, говорят, интересное... Не знаешь?

Туган не успел ответить, потому что увидел человека, протискивающегося в темноте между рядами. Сопя и наступая на ноги сидящим, человек добрался наконец до свободного места, а место это было прямо перед Туганом. Человек уселся, снял шляпу, осторожно поправил волосы, начесанные на плешь. Потом хлопнул носом, и тут же слышался громкий хруст разгрызаемого леденца.

Азрым снова толкнул в бок Тугана:

— Узнаешь?

— Еще бы...

Это был учитель Сосай.

Сделав переключку, он задавал ученикам пример или задачку, а сам подходил к окну и, глядя на улицу, похлопывал носом и грыз леденцы.

Когда дети, перейдя в пятый класс, впервые сталкивались с Сосаем, он казался им человеком много мира: кто еще умел держаться так величественно, как Сосай, кто умел найти такие негромкие, но значительные слова, кто еще умел говорить так поучительно и мудро?

Слова Сосая врезались в память, потрясали воображение. Глядя в окно и похрустывая леденцами, учитель не раз говорил:

— Жизнь человека нельзя мерить количеством прожитых лет. Главное то, что человеку удастся преодолеть за эти годы... Когда-нибудь вы вспомните мои слова и скажете: «Как прав был наш учитель!..» Да, в жизни нельзя порхать подобно беспечной ласточке. Уже сегодня пужно

думать о том, что предстоит тебе преодолеть в будущем. И если ты сумеешь подготовить себя к преодолению, ты не споткнешься в пути. — Сосай поворачивался к классу: — Никогда не забуду, как жизнь впервые проэкзаменовала меня...

И, помолчав, он начинал свой рассказ.

Однажды отца Сосая привезли домой на арбе. Отца рвало, буквально выворачивало, а лицо его было цвета простыни, которую передержали в снычке. В то трудное время в селе еще не было врача. Был только старый фельдшер. Он плохо видел, еле ковылял от дома до дома. А лечил он просто — расспросит больного, послушает сердце, приклонившись ухом к груди, потом возьмет несколько скляпок с лекарствами, попробует их на вкус и то, что покислее, пропишет больному...

Но в этот день и фельдшер куда-то запропастился. Люди посоветовались и решили дать отцу Сосая кипяченого молока, думали, может, отравился чем-нибудь. Но от молока отцу стало еще хуже. Оставался единственный выход: сесть верхом на коня и скакать в соседнее кабардинское село за врачом. До того села было не так уж и далеко, но уже темнело, а скакать туда надо было через лес, а потом перейти вброд бурную речку. А было это весной, во время паводка...

Мужчины переминались с ноги на ногу, поглядывали друг на друга, не решаясь отправиться в опасный путь, а жизнь больного висела на волоске. Тогда Сосай, совсем еще маленький мальчик, вышел незаметно во двор, выпряг коня из арбы, сел на него, хлестнул хворостинкой и пустился вскачь. Люди, выбежав из дома, замахали руками, закричали ему вслед, но маленький всадник был уже далеко.

Да, это была скачка! Стопы отца подгоняли мальчика, и он все нахлестывал и нахлестывал коня...

Вот и река. Конь как вкопанный остановился на берегу, боясь войти в бурлящую воду. Но вошел все же, повинуясь мальчику, и тут же пал на колени, сбитый с ног течением. Вскрапнув, конь вскочил и, отчаявшись, пустился вплавь через стремнину. Волны захлестывали мальчика, но он не выпускал узду, он помнил об отце... Вскоре река осталась позади, и теперь мальчику предстояло новое испытание. Цокот копыт теперь раздавался в темном ночном лесу. Ветки хлестали мальчика по лицу, а конь спотыкался о коряги, и удержаться на нем было очень трудно... Потом

мальчику показалось, что он потерял направление, заблудился в лесу. Остановил коня, чтобы сообразить, в какую сторону скакать, и услышал вдруг лай собак...

Врач, к счастью, оказался дома. Выслушав маленького Сосая, он тотчас же собрался в дорогу.

— Жди меня здесь,— сказал он мальчику.— Один я доберусь быстрее... Переночуешь, а утром поедешь домой...

Жена врача принесла мальчику еду, но он и глотка не смог сделать: вдруг отец попросит позвать сына? Нет, Сосай не мог оставаться в гостеприимном доме врача...

И снова скачка через почной лес. А река грохотала так, словно воды ее дробили и перемалывали огромные камни. И вспомнились мальчику слова стариков о том, что река каждый год требует от села жертву. В позапрошлом году утонула пятилетняя девочка, в прошлом — выловили возле мельницы люльку с ребенком. Гибнут в реке и коровы, и овцы, и вывороченные с корнями деревья тащит она; но, говорят, пока ее жертвой не станет человек, река не успокаивается, не возвращается в свое обычное русло...

Остановив коня у реки, Сосай долго всматривался в темноту, но различить противоположный берег так и не смог. А человек, не видящий берега, к которому плывет, теряет и силы и мужество...

В какой-то миг мальчик заколебался, захотел вернуться назад, в дом врача. К тому же совсем рядом послышался вдруг тоскливый пронзительный вой. Когда так вот выла их собака, отец Сосая заманивал ее в сарай и лупил хорошенько, выбивая дурь. Но здесь-то откуда может взяться собака? Это выли, конечно, волки, рыскающие в ночи...

А за рекой виднелись неяркие огни села, и мальчик, подумав, что один из них освещает сейчас его страдающего отца, снова обрел мужество.

— Нет,— гордо крикнул он,— я не боюсь волков! Я не боюсь реки! Я ничего не боюсь!..

На этом месте учитель Сосай обычно умолкал и задумывался, как бы вновь переживая прошлое.

— И вы опять переплыли реку? — спрашивал кто-нибудь из учеников.

— Если бы не переплыл,— устало улыбался Сосай,— я не стоял бы сейчас перед вами.

— А врач вылечил вашего отца?

— Врач поспел вовремя. Опоздай он хоть на минуту, он бы уже ничем не смог помочь...

Сосай рассказывал эту историю и в первой четверти и во второй, в пятом классе, в шестом и в седьмом, и каждый раз ему задавали одни и те же вопросы — вначале серьезно, а потом с прощай: «И вы опять переплыли реку? А врач вылечил вашего отца?» «Если бы не переплыл, я не стоял бы сейчас перед вами», — любуясь собой, отвечал Сосай.

«Лучше бы ты не переплыл, — сидя за партой, думал Туган, — пусть бы река унесла тебя куда-нибудь подальше от нашего села...» И вспоминалась Тугану та лютая зима, холод нетопленных комнат, оглушающая тишина пустого дома. Увадз не показывался Ницца, Ницца Увадзу, а Туган слонялся как неприкаянный, не понимая, что случилось с его родителями.

Раньше отец никогда не приходил домой с пустыми руками. Из одного кармана доставал конфеты, протягивал сыну — это тебе. То, что доставал из другого кармана, протягивал жене, будто Ницца была не матерью Тугана, а маленькой избалованной девчонкой. Ницца никогда ни о чем не просила Увадза. Он сам, встав до рассвета, растапливал печь и готовил завтрак. Он и подметал лучше, чем Ницца. Залезал с головой под кровати и доставал мокрым вешиком самые дальние углы. Однажды Сопо поругалась с Увадзом, увидев, как тот чистит туфли жены. Потом поругалась еще раз, когда он взялся месить тесто. Если бы Туган не боялся сердитой старухи, он бы похвастал перед ней, как отец моет поги матери, как посит ее на руках по комнате. Но старуха и без того была зла, и, когда мать с отцом вдруг перестали разговаривать друг с другом, мальчик решил, что старуха поссорила их, и возненавидел Сопу.

Вскоре мать, набив битком два чемодана, уехала гостить к родственникам. А Сопу, которая клялась до этого, что никогда не переступит их порог, теперь каждый вечер засиживалась у них допоздна. Она говорила, отец, печально опустив голову, слушал, а Туган ничего не мог понять из их разговоров. Но однажды кое-что дошло до него. Старуха, думая, что мальчик уже спит, стала отчитывать отца:

— Почему он приходит сюда? — услышал Туган. — Почему он приходит, когда ты уезжаешь на дальнее поле с почевкой?! Кем он доводится твоей жене? Кто он ей, этот Сосай?! Даже ребешка не стесняются! Загоняют его в хо-

лодную комнату... Тьфу! — плюнула старуха. — Лучше не жить, чем терпеть такое в своем доме!..

И Тугану вспомнилось: когда он был совсем еще маленьким, мать часто заставляла его рано ложиться, мальчику не спалось, и он слышал, как она снова растапливала печь, месила тесто, жарила что-то...

Тогда он не знал еще, что тот, кто приходит в дом поздно ночью, не всегда бывает гостем. Он думал, что ночью стучатся в дом только путники, бредущие издалека. Так случалось в сказках, которые рассказывала ему Сопо.

Однажды, вернувшись из школы, он сказал:

— Я видел в школе человека, про которого Сопо говорила, что он приходит к нам ночью...

— Не болтай глупости! — мать рассердилась, шлепнула сына по губам.

— Его зовут Сосай, — обиженно всхлипнул Туган.

Из класса в класс он переходил, как из одной комнаты в другую. Его даже в стенной газете изобразили — он стоял и в каждой руке держал по пятерке. Это понравилось ему, он возгордился, даже ходить стал степенно и важно. Но радость его омрачалась, когда он видел Сосая. Мальчик спикал сразу, и мир казался ему ничемным, как тарелка с отбитым краем.

И вот настал день, когда о Сосае и матери ему сказали открыто и недвусмысленно. Туган повздорил, подрался с одним из своих одноклассников, и тот выкрикнул в ярости то, о чем давно уже шушукались в селе.

В тот день Туган не вернулся из школы домой. Ушел из села, бродил по берегу Астаудона. Быстро темнело. Мальчик смотрел издали на огни в селе, и они казались ему какими-то блеклыми и безжизненными. Потом огни стали гаснуть один за другим. Ночь была чернее крыльев черного ворона. И Туган, глядя во тьму, вспомнил другую ночь...

...Увадз уехал в Астрахань. Люди везли туда зерно, а обратно привозили одежду, обувь, ткани, и Туган думал, что Астрахань — это такой большой магазин. Отец, конечно же, вернется оттуда с рубашкой для сына, с ботинками и еще много чего привезет. Утром Туган выходил на дорогу и подолгу стоял, ожидая отца, а тот все не приезжал. Видно, эта Астрахань была очень уж далеко.

Однажды к мальчику подошла незнакомая тучная женщина.

— Ты сын Увадза? — спросила она.

— Да...

— У меня тоже есть сын, — сказала она. — Он любит конфеты, а ты?

— Люблю...

Женщина достала из сумки кулек, развернула, протянула мальчику:

— Бери. Еще, еще, не стесняйся... А Увадз покупает тебе конфеты?

— Он привезет много конфет. И рубашку, и ботинки...

— А вчера его дома не было?

— Нет, и вчера не было, и позавчера...

Женщина задавала вопрос за вопросом, говорила быстро, все время оглядываясь по сторонам, и все давала и давала ему конфеты.

— А тот мужчина, который приходит к вам ночью, не принесет тебе конфет?

— К нам ночью никто не приходит.

— Ну, тогда я сама принесу тебе. Завтра. Хочешь? А ты мне расскажешь, что принесет мужчина, который приходит ночью.

— Я же буду спать. Как я его увижу?

— Он много всего приносит. — Женщина вздохнула: — Значит, они сами все кушают, а тебе не дают... И пряники, и апельсины...

Туган знал, что такое пряники, но об апельсинах никогда и не слышал. Он разобиделся на мать. Выходит, все это время она его обманывала. Укладывала спать, а сама ела апельсины.

Той ночью Туган долго лежал, притворяясь спящим. Слышал, как мать мыла тарелки, и удивлялся. Обычно после обеда или ужина она собирала грязную посуду в шкаф, и только потом, когда посуды накапливалось много, мыла ее... Потом Ниффа погасила лампу, и он чуть было не уснул, но тут мать подошла к нему, постояла, осторожно взяла на руки, толкнула поском дверь в соседнюю комнату и уложила сына в холодную постель. Теперь уже Тугану совсем не хотелось спать. На улице было ненастно, но сквозь шум дождя и ветра он услышал, как кто-то тихонько постучал в окно теплой комнаты. Скрипнула паружная дверь, зашуршал чей-то мокрый плащ, послышался незнакомый мужской голос, потом голос матери. Мальчик за-

мер. Сейчас будут есть апельсины, подумал он и решил: как только начнут, тут-то я и выйду...

— Господи,— услышал он,— до каких же пор я буду все это терпеть? Сколько можно прятаться в темноте?

Это сказала Ниффа.

— Опять начала!

Это сказал мужчина.

— Будь проклят тот день, когда я увидела тебя!

— А на что, интересно, ты надеялась?

— С таким сердцем, как у тебя...

— Я никому и ничем не обязан.

Обманула та толстая женщина Тугана: не ели они апельсины, только разговаривали. И мальчик так и не встал с постели. Слушал, слушал да и уснул.

Проснулся он в той постели, в которую лег с вечера. Вспомнил про ночного гостя, соскочил с кровати в одних трусиках и начал шарить в шкафу. В это время со двора в дом вошла мать.

— Что ты там забыл? — буркнула она.

— А куда делись апельсины, которые мужчина почью принес?

— Какой мужчина? О чем ты, радость моя?

— Ты же с ним разговаривала!

— Господи, не заболел ли ты?

— Я сам слышал — вы разговаривали!

Ниффа всплеснула руками, засмеялась, обняла сына, прижала к себе.

— А я-то испугалась,— смеясь, сказала она.— Это ты во сне с кем-то разговаривал. Даже разбудил меня. Звал кого-то, а кого, я так и не поняла...

Туган, обидевшись, чуть не заплакал.

— Ничего я во сне не говорил,— твердил он.— Ты меня отнесла в холодную комнату, а потом пришел он!

— Не злился, не злился, радость моя,— гладила его по голове Ниффа.— Набегался, наверно, днем, вот тебе и померещилось... Иди одевайся. Поедем в город. Хочешь?..

Они поехали, и мать сводила его в кино, прокатила на трамвае, купила конфет и ботишки купила в универмаге. И, когда он померил их, ему захотелось, чтобы скорее пришла зима. Он пройдет по белому снегу в черных ботинках, и все будут завидовать ему...

Об этой дождливой ночи он вспомнил теперь, когда его опозорили при всех, и он стоял на берегу Астаудона и знал,

что никогда больше не вернется домой, и ему хотелось умереть, но река спокойно бежала в своем русле, и голодных волков поблизости не было.

Потом откуда-то издалека, из тьмы послышался слабый голос:

— Туга-а-а!..

Мальчик мог не прятаться. В такой темноте его и с двух шагов никто бы не заметил.

Слышался цокот копыт. Всадник, приближаясь, хрипло кричал в ночь:

— Туга-а-а!..

Это был Увадз. И столько тревоги и отчаяния было в его голосе, что Тугану стало не по себе. Отец будет искать его, знал мальчик, пока конь, обезпожив, не свалится, будет звать, уже сам не слыша себя.

Туган постоял еще, колеблясь, потом двинулся навстречу всаднику, кашлянул раз, другой: мол, вот я.

— Сынок?! — обрадовался отец.

Он сошел с коня, помолчал, пожал плечами, улыбнулся:

— Ну, что же это ты?..

Вот тебе и все его упрёки, вся ругань. Но Туган понимал: то, что отец не высказывает вслух, остается гореть в его груди жестоким, испепеляющим огнем.

— Идем домой, — сказал отец. — Садись на коня.

Туган отказался. Ему хотелось, чтобы ночь эта никогда не кончилась и никогда не кончился путь до села. И он мог бы рассказать отцу о своей беде, но не смел, потому что никого на этом свете не любил больше отца и еще потому, что боялся, как бы отец, забывшись, не взял опять на руки мать и не стал носить ее, как ребенка.

Азрым вертелся, не замечая того, что происходит на экране, не находя места своим тяжелым, мощным рукам, что-то ворчал про себя, чертыхался. Наконец, не выдержав, он потянулся к Тугану и прошептал:

— Слышишь, как грызет?

А Сосай похрустывал себе леденцами, причмокивая языком.

— Кто это чавкает?! — страшным голосом спросил Азрым. — Я спрашиваю, кто чавкает?!

Сосай повернулся чуть, глянул на него через плечо:

— Не мешай смотреть, паренек!

— Ах, это вы, учитель?! Простите... А я решил, что сюда забралась чья-то свинья.

У Азрыма были свои счета с Сосаем...

Когда в детстве Азрым пускался наперегонки со своими сверстниками, те каждый раз опережали его, и каждый раз он удивлялся: как же так? Даже босиком по колючей стерне они бегают быстрее, чем он в ботинках. Азрым садился на землю, разувался, но, исколов в кровь ноги, все равно прибегал последним. Он никогда не выигрывал забегов, зато частенько терял ботинки и возвращался домой босиком. Кому-то, может быть, и влетело бы за это от родителей, но Азриму все сходило с рук.

Бегать он так и не научился, зато в борьбе ему равных не было. Тут уж не то что сверстников, он и мальчишек постарше валил. Поднимал противника, как мешок с сеном, и бросал на землю. Одного, другого, третьего — подходи, кто хочет! И сыпался с его одежды пуговицы, трещала по швам рубашка; он возвращался домой перепачканный и оборванный, а на другой день снова выходил на улицу чистенький и нарядный.

Азрым рос медленно, как дубок, пустивший глубокие корни. И если дубок может сомневаться в чем-нибудь, волноваться или беспокоиться, то и Азриму это было свойственно.

Отец его был туговат на ухо, мал ростом и худосочен. Мать заметно прихрамывала на правую ногу, и в правую же сторону было перекошено ее лицо... Но судьба, обделив их красотой, щедро одарила трудолюбием. Отец Азрыма был лучшим в селе плотником, мать работала звеньевой, и они никогда не знали нужды.

Может, и не узпал бы Азрым никогда ни сомнений, ни беспокойств, если бы не соседи, а жили по соседству с ними Сосай с женой...

Родители Азрыма держали здоровенную свинюшку. Кормили ее хорошо, но свиньи от рождения непасытны. Как-то раз свинья, толкнув рылом калитку, зашла во двор к соседям. Жена Сосая варила на зиму компоты и закатывала их в банки. Свинья, не раздумывая, сунулась к банкам, стоявшим вдоль сарая, повалила их, перебила половину, загубив труды целой недели. Жена Сосая, увидев содеянное, погналась за свиньей с топором. Обидчицу свою

она, конечно, не догнала, но, ворвавшись к соседям, устроила скандал. Мать Азрыма, подергивая перекошенным лицом, уговаривала:

— Уплатим вам вдвойне, за все уплатим, только не кричи... Успокойся, прошу тебя...

Но жена Сосая не хотела успокаиваться. Уперев кулаки в бока, она во всю мощь своих легких сыпала страшными проклятиями:

— Дай бог, чтобы в самом скором времени, — орала она, — вы зарезали свою свинью на помпиках самого любимого человека!

Мать Азрыма, растерявшись, спросила удивленно:

— Что ты? Разве остипы режут на помпикки свиней?

Жена Сосая запнулась на мгновение, но тут же наплась:

— Так нарежьте свинью, продайте мясо и купите погребальные одеяния самому лучшему в вашей семье...

Соседки давно уже недолюбливали друг друга, и нужна была лишь причина, чтобы вражда вспыхнула, как солома от случайной искры. И вот случай такой представился, и жена Сосая отводила душу...

Как-то Азрыму поручили в школе сбегать к Сосаю и сказать, чтобы тот шел па педсовет. Азрым нехотя отворил калитку соседей. Ему не хотелось входить в дом, и он остановился, надеясь, что хозяйева сами заметят его. Вдруг резко распахнулась дверь, и на веранду выскочила жена Сосая. Азрым никогда бы не подумал, что эта непомерно тучная женщина может быть такой шустрой. Вслед за нею в распахнутую дверь из комнаты вылетели друг за другом два тяжелых сапога. Один из них угодил в спину беглянке, а другой пролетел мимо. Едва женщина подняла с земли сапоги, как в дверях показался разъяренный Сосай.

— Раздобрела, как тыква, пагнуться не может! — прошипел он и добавил к сказанному такие слова, которые никак не должны были сорваться с языка учителя.

Азрым готов был провалиться сквозь землю. Родители его были неграмотны и не из самых мудрых, но они никогда не ссорились и не оскорбляли друг друга.

Когда Сосай скрылся в комнате, Азрым осмелился наконец и окликнул его жену. Та, будто обрадовавшись, подскочила к нему и крикнула:

— Тебя что, твоя уродина прислала подслушивать?!

— Нет, меня из школы послали...

— Чтоб ты не доучился в этой школе!

— Сосаю нужно на педсовет...

— Иди, иди! Нечего тебе делать в нашем дворе! Здесь нет твоих сверстников, пусть они в самом скором времени соберутся на твоих похоронах!.. Убирайся! Вместо того, чтобы шататься по чужим дворам, пойди лучше и поищи свою потаскуху-мать, которая бросила тебя под забором!

Мальчик будто окаменел. Ему показалось, что разом стемнело и не светит больше солнце над миром, и то, что хранила в себе память о предшествующих днях — тепло и ласка — теперь ничего для него не значили...

— Ты не слушай ее, мое солнышко, — плакала, вытирая глаза передником, та, которую он называл матерью. Она тянулась к нему, но он отстранялся, отступая шаг за шагом, стараясь не видеть ее жалкое лицо.

В тот день он узнал то, что раньше от него скрывали.

...Молодая женщина попала в родильный дом. Ни с кем она не разговаривала, никто не навещал ее. Вскоре у нее родился мальчик, но взгляд женщины не просветлел. В палате шептались, что все двери теперь перед ней закрыты и ни сама она, ни ее сын никому не пужны. Сама она рассуждала, видимо, так же и, уходя из роддома, ребенка с собой не взяла... Об этом узнали бездетные супруги, и после долгих хлопот усыновили его и назвали Азрым. Они тут же продали свой дом и уехали из Осетии. Вернулись через несколько лет. Дом купили в другом селе. И вся их жизнь была заполнена их мальчиком. Но случилось то, чего они больше всего боялись...

Азрым так и не узнал ничего о своей настоящей матери.

Он стал рассеянным, стал часто задумываться, хуже учиться. Мог весь урок, сидя за партой, смотреть неотрывно в окно, отрешившись от всего происходящего в классе. Сосай осторожно поглядывал на него, побаиваясь, как бы Азрым не встал вдруг и не рассказал о том, что видел во дворе учителя.

Однажды, когда урок Сосая был в самом разгаре, ребята зашептались, загомонили, поглядывая в сторону Азрыма. Тот сидел неподвижно, смотрел на доску, а по щекам его текли слезы. Сосай, увидев слезы Азрыма, вызвал мальчика к доске и задал ему задачу. Долго ждал, но Азрым так и не взял в руки мел.

— Садись! — махнул рукой Сосай. — У тебя в голове один только песок.

Азрым поплелся к своей парте.

Когда учитель начал объяснять новый материал, мальчик поднял руку.

— Ну, что тебе? — с издевкой спросил Сосай.

Азрым встал, помолчал немного, глядя прямо в глаза учителя, потом негромко, но отчетливо произнес:

— А в твоей голове — одни опилки.

Это послужило началом лавины. Но лавина в горах проходит и умолкает, а здесь она гремела до тех пор, пока Азрым не опротивела школа, пока он не разбил чернильницу о стену и не забросил портфель с книгами на чердак...

На иголках долго не просидишь, и Туган, не выдержав, толкнул Азрыма:

— Ну, я пошел...

Азрым последовал за ним. До главной улицы им было по дороге, а там они разойдутся: Азрым повернет к себе, в сторону нижней окраины села, Туган же... Туган и сам не знал, куда отправится. На душе было беспокойно. Он думал о Хани, об «идеальном» женихе ее, и мысли эти приводили его к Сосаю. Тугана тревожило предчувствие чего-то недоброго и темного...

Было поздно, но с главной улицы села еще доносился шум проезжающих машин, и Туган решил остановить первую же из них и ехать в город к Хани. Навстречу им попался Толас. Схватив за руки Тугана и Азрыма, он улыбнулся:

— Пока не получу с вас магарыч, буду нем, как рыба. И не просите меня.

— Мелешь, как мельница, а хвастаешь немотой, — буркнул Азрым. — Выкладывай, что еще?..

— Коста освобожден, слышали? — обрадованно произнес Толас.

— Так почему же мы не идем к нему, чтобы сказать «здравствуй»? — обрадовался Туган.

— Он еще не приехал. Эту весть его сестра привезла из города...

Земля была сырая после дождя, о прополке нечего было и думать, и ребята занимались кто чем: Гадац отбивал свою тяпку, Батадзи менял на своей держак, Цыппу и Азрым играли в шахматы...

А разговоры вертелись вокруг Коста.

— Эх, был бы я сейчас на его месте! — откровенно завидовал приятелю Толас. — Аффизат, паверное, подала на стол горячие пироги, намастила их так, что они блестят, как зеркало...

— Ты ошибаешься, Толас, — усмехнулся Батадзи. — Они уже позавтракали. Аффизат убрала со стола, а теперь ухаживает за своим суженым — вот поправила на нем рубашку и... поцеловала его...

— Все это сплетни, — мрачно проговорил Гадац. — Коста не поселится в доме невесты, не нарушит обычая... Пока не устроится на работу, не снимет квартиру, он не пошлет сватов в дом невесты.

— Почему вы думаете, что Коста сыграет свадьбу на стороне, а не в отцовском доме? — спросил Состыкк.

— И вообще, — возмутился Толас, — с какой совестью он сыграет свою свадьбу без нас?!

«Зря мы вчера вечером не зашли в дом Коста, — думал Тугап, — знали бы, по крайней мере, чем можем помочь другу...»

— Не слишком-то ты, Толас, мечтай угоститься на этой свадьбе, — бубнил Батадзи, — как бы мечты твои не оказались пустыми.

— Ты недобрый человек, Батадзи, — упрекнул его Толас, и все поддержали его.

— А я не верю, что отец Коста примет в свой дом вдову, — твердил Батадзи.

— Кто знает, может, старикки уговорят отца...

О Коста в селе ходили разные слухи. Говорили: женился, пришел в дом невесты, попил немного, а потом исчез, прихватив с собой все, что стоило хоть каких-нибудь денег. Погнались за ним, поймали где-то, и та, которую он обманул, пригрозила: «Если не хочешь сидеть в тюрьме, идем со мной в загс, свяжем свои жизни по закону». Говорили, что та женщина в матери годилась Коста, что до него у нее было три мужа...

На берегу Астаудона остановилась девушка. Она спо-

лоснула туфли, причесалась и направилась к ребятам. Эта была сестра Коста Зарина.

— Доброе утро, славные потомки Гато,— приветливо улыбнулась она.

Если кто-то историю о Гато знал понаслышке, то сестра Коста сама читала об этом в газете. Она была из тех, кто пока не увидит, не услышит и не пощупает, никому и ничему не поверит.

Ребята окружили гостью.

— Вчера вечером мы слышали новость,— начал Туган.— Толас принес ее нам...

— Правда, Толас и сам себе не всегда верит,— улыбнулся ехидный Батадзи.

— Мы хотели зайти к вам вчера,— сказал Азрым,— но не решились.

— Наши родители,— покачала головой девушка,— и разговаривать бы с вами не стали, я это точно знаю...

— Мы и сами понимаем, что виноваты,— будто извиняясь, промолвил Туган.— Конечно, виноваты. Мы ведь его друзья.

— Ладно, что об этом!— замахал руками Толас.— И, обратившись к Зарине, спросил:— Отец обрадовался, наверно, что Коста освободили?

— Как же...— усмехнулась девушка.— Послал людей покупать быков для пира. Просил пригнать дважды по двенадцать с двумя рогами!

— Тыфу ты!— сплюнул Батадзи.— А я уши развесил...

— Где это Коста так отличился, чтобы прыгать от радости в его честь?

— А если не отличился, так ему и хлеб не есть, воду не пить?— упрекнул девушку Батадзи.— Хоть у вас и хорошая семья, но вы не всегда справедливы к Коста... Думаю, откровенное слово не обидит тебя.

— Ты не прав, Батадзи,— ответила девушка.— Для отца мы равны. Но только сердце его ведаст, что он пережил из-за Коста...

— Похоже, что нам не придется повеселиться на свадьбе Коста,— поскущел Толас.

— Свадьба от вас никуда не денется,— сказала Зарина.— А отца я припугнула. Что, говорю, ты будешь делать, если Коста с такими же ребятами, как сам, где-нибудь в чужом селе поставит столы и сыграет свою свадьбу без твоего ведома?..

— Вот это сестра! — просиял Толас. — Клянусь богом, я знал, что так оно и будет!

— В чем же тогда дело? — спросил немногословный Гадац, повернувшись к девушке. — Чего вы тянете со свадьбой?

— Ждем Коста, — ответила девушка. — А он не едет, боится... Поезжайте-ка вы к нему, крикните, возвращайся, мол, домой, Коста, отец справит тебе свадьбу... Что отцу нужно? Чтобы сын не откололся от семьи, остепенился. Если принесет в дом хоть початок кукурузы, для отца и это радость. И для матери, и для меня...

— Завтра же мы за уши его сюда притащим, — пообещал Состыкк...

Солнце поднималось все выше, земля подсыхала, и после обеда ребята вышли в поле. В тот день они никого уже не ждали и очень удивились, когда к их вагончику подкатила голубая «Волга». Они издали разглядывали ее, гадая о том, кто бы это мог быть. Может, их вспомнил какой-нибудь начальник, свободный сегодня от дел? Может, снова корреспондент Харбе? Разное предполагали ребята, но никто не подумал, что это может быть просто такси. И, только увидев, как Цыппу бросился обнимать приезжего, они поняли, что это свой.

— Коста! — восторженно крикнул Толас, и ребята побросали тяпки.

Коста будто волшебной плетью ударили, так он изменился. Он был аккуратно подстрижен, брюки наглажены, как на мапекенах, красующихся в городских витринах, белая рубашка... А главное, глаза... Если раньше Коста смотрел на мир из-под насупленных бровей, то теперь глаза его светились радостью...

Ребята рассказали, что у них была его сестра, что его отец готов праздновать свадьбу...

Вчера им не хватило на разговоры, и они просидели почти всю ночь.

## 11

В это утро ребята спали как убитые. Прогудел гудок консервного завода в Хуссарикау, но это не нарушило их сна. Не слышали они и гул почтового самолета, который каждый день пролетал над ними во время завтрака. Самолет давно уже был на месте, а ребята все еще крепко спали.

Первым проснулся Толас. Он прогулялся за вагончик, хлебнул на обратном пути воды и снова нырнул в постель.

— Хоть раз надо выспаться, — пробормотал он, — хоть раз.

И только он хотел натянуть одеяло на голову, как заметил: с левой стороны, там где стояла кровать Цыппу, было пусто. «Куда подевалась кровать, — подумал Толас. — Может, ее отдали Коста?» Толас сел, недоумевая, почесал затылок, пересчитал кровати — их было семь и на одной из них спал Коста. Толас встал, снова вышел из вагона, заглянул под навес, осмотрелся вокруг — нигде не было ни Цыппу, ни его кровати.

Он вернулся в вагон, лег, укрылся с головой и стал ждать...

Вскоре проснулся Туган. Едва открыв глаза, он заметил, что кровать Цыппу исчезла. «Крепко подшутили над парнем, — усмехнулся Туган. — Куда же они его дели?»

Он оделся, вышел из вагончика и пошел к реке.

Никто из ребят не старался подружиться с Цыппу. С ним не делились секретами, к нему не стучались и не звали к себе. Цыппу сам пришел к ним, и делал все, чтобы остаться с ребятами. Туган понимал его — Цыппу устал охранять свой дом, устал сидеть под деревьями своего сада, стеречь огород. Он искал друзей и, не найдя никого получше, прибился к ним. Наверное, ему очень хотелось поврачиться ребятам, и он принес им два десятка спелых сочных груш. Парни мигом расхватали их, съели и, облизывая пальцы, стали спрашивать друг друга:

— Когда еще будем есть груши?

— Не знаю. Хорошо бы поскорее.

— Откладывать нельзя. Их могут украсть из сада.

— Сегодня же вечером залезут и украдут!

Они повернулись все разом к Цыппу и Батадзи сказал:

— Ты сделай так... Выбери те, что получше, насыпь в ведро и, когда стемнеет, спрячь в огороде...

Цыппу побледнел. Он и отказать боялся, и согласиться не мог. Повернулся молча и пошел. Ребята, глядя ему вслед, поговорили, обсудили его так и эдак и решили: ничего он не принесет, не преодолит своей жадности. И тогда кто-то из ребят вспомнил историю, которую рассказывали о Цыппу...

Как-то послали его отнести пирог родственникам матери и загадали так: если мальчик донесет пирог целым, то в жилах его течет больше отцовской крови, а если съест, — то материнской. Пирог дожил только до полдороги: Цыппу уселся на обочине и съел его...

Отца Цыппу не помнил. Он был совсем маленьким, когда тот умер. А мать дома бывала редко. Она покупала в соседних селах молочных поросят, куда-то везла их и перепродавала в два-три раза дороже. Когда поспевали фрукты, она обходила одиноких женщин, отсчитывала им в руки деньги, скупая урожай, и с фруктами спешила в город. Она умела зарабатывать деньги. Осенью скупала зерно, а спелое зерно можно хранить сколько угодно — сбереги его до весны, и все это превратится в деньги.

Мать была постоянно в деле, и Цыппу частенько оставался голодным или ел то, что было приготовлено ею на неделю вперед. Холодная пицца вызывала изжогу, желудок от нее каменел, и Цыппу решил сам заняться кухней. Сначала он научился варить суп, а потом взялся и за пироги. Так и жил...

Доучился он только до пятого класса. А в школу его приняли на год раньше срока.

Было это так. Однажды мимо дома Цыппу проходила учительница. Она увидела сидевшего возле плетня мальчика. Тот лепил из грязи клопушки и гулко шлепал их об землю. Мальчишка пснравился учительнице, и она подошла к нему.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Цыппу.

— Ты хочешь стать большим?

— Хочу.

— А в школу ты ходить не хочешь?

— Хочу. Только я еще маленький.

— Считать ты умеешь?

— Умею. Я и поросят сам считаю, и кур...

— Ну-ка, посчитай.

Мальчик досчитал до ста, ни разу не сбившись.

Учительница взяла его за руку и отвела в свой класс...

В школе Цыппу учили грамоте, а чему учила его мать — никто не знал. Но люди видели: если мальчик выходил на улицу, то для того только, чтобы загнать во двор скотину. Если он шел на речку, то в руках его позвякивали пустые

ведра. Лучшими друзьями Цыпну были ягнята, теленок и лохматый ценок, и трудно было сказать, кто из них больше привязан к дому — сам Цыпну или его собака.

Когда над верхней губой Цыпну пробился пушок, мальчик целыми днями стал пропадать в огороде. Он ложился у плетня и смотрел сквозь щель в соседний двор. Там жила девочка, ровесница Цыпну. Он-то еще бегал босой, появлялся на улице в майке, а девочка уже стала прихорашиваться. Цыпну, как на чудо, смотрел на ее косы, длинные и пушистые.

Ему очень хотелось подружиться с этой девочкой, но он не решался даже подойти к ней. Единственное, что он мог себе позволить, — это часами смотреть на нее, лежа у плетня... Однажды он явился в огород, прихватив с собой свой обед — кусок хлеба и кусок вареного мяса. Едва он устроился на привычном месте, как увидел, что соседи вышли из дома и пошли к воротам. Девочка провожала своих родителей, а те наказывали ей, что надо сделать по дому к их возвращению. Девочка осталась одна. Цыпну долго смотрел, как она убирала во дворе, подметала, мыла пол на веранде, протирала окна. Потом она вошла в дом, и Цыпну сам не заметил, как очутился по ту сторону плетня. Не заметил он также подкрадывшейся к нему соседской дворняжки. И лишь когда та, визгливо залаяв, бросилась на него и вцепилась в штаны, мальчик понял, где находится. Он дернулся, но собака держала его крепко. Рвануться посильнее Цыпну не решался — штаны были великоваты, и собака могла стащить их...

Рассказывают, будто девочка смотрела в окно и видела, как из кармана Цыпну выпал кусок мяса, и он, придерживая рукой штаны, схватил этот кусок и сунул его собаке, а сам пустился наутек. Говорят, что девочка смеялась, вспоминая: «Собака ни за что не хотела отпускать Цыпну, от него так вкусно пахло мясом!»

Туган шел по берегу реки. Ни самого Цыпну, ни его кровати нигде не было видно. «Цыц-цу, ци, ци, ци! Цыц-цу, ци-ци-ци!» — чирикала притаившаяся на дереве птичка. Туган, улыбнувшись, перевел эту «фразу» на человеческий язык: «Цыпну цы фащи?! Цыпну цы фащи?!»<sup>1</sup> Птичка с дру-

<sup>1</sup> Куда пропал Цыпну?

того дерева чиркала так: «Цу-цу, ца-ца-цу, цай! Цу-цу, ца-ца-цу, цай!» Туган перевел: «Цу, цу, бацагур ай!»<sup>1</sup>

Он представил себе, как ребята, давясь от смеха, тащили спящего Цыппу вместе с его кроватью, искали ему место поуютнее. Проснувшись, они загомонят все разом, притворно удивляясь исчезновению своего повара.

— Нечистая сила! Тьфу, тьфу! — сплюнет суеверный Батадзи.

— Преодолею земное тяготение! — восхитится Коста.

— Летучий повар, — пробурчит Гадац. — Ангел небесный...

Туган обнаружил Цыппу на крошечном островке, посреди одной из речных протоков. Тот сидел на своей кровати, низко опустив голову, и думал невеселую думу.

Не на шутку обиделся, понял Туган.

— Можно к тебе? — спросил он и, разбежавшись, прыгнул на островок.

Цыппу поднял голову, и Туган, будто впервые, увидел его глаза. «И ты пришел понздеваться надо мной?» — спрашивали они, и столько печали было во взгляде Цыппу, что настроение Тугана переменилось.

— Ладно, не принимай близко к сердцу, — смущенно проговорил он. — Пошутили ведь...

— А я ничего против не имею, — отозвался Цыппу, отведя глаза в сторону. — Однажды мне сказали, что я живу, как на необитаемом острове. Девушка сказала... Я думал о ней, мечтал и наконец решился, выложил свою тайну, но она только засмеялась: «Я, говорит, не понимаю языка островитян»... Видишь, предсказала... Я-то и не думал, что когда-нибудь на острове окажусь... — Цыппу невесело усмехнулся.

Туган будто наяву увидел дом, в котором жила соседка Цыппу, но вспомнить саму девушку, ее лицо, никак не мог.

— Мне всегда хотелось сделать что-нибудь доброе, — думая о своем, заговорил Цыппу, — что-то такое нужное... Но мне никогда не хватало ни смелости, ни ума, ни умения...

— Я не гожусь в учителя, — Туган положил руку на его плечо, — но хочу тебе посоветовать: отвечай на шутку шуткой и проживешь сто лет...

---

<sup>1</sup> Иди, иди, найди его!

После ужина, когда все улеглись, Туган вышел на улицу и неторопливо пошел по тропе, проложенной ими от стана к полю. Ярко горели звезды в небе, стрекотали кузнечики, шумел Астаудон. Тугану казалось, что это плещется форель, идущая против быстрого течения. Легкий ветерок приносил с гор запахи трав и луговых цветов.

Туган не раз удивлялся цветам, которые растут на горных склонах. Их было много, ярких и невзрачных с виду, пышных и совсем маленьких, и каждый из них назывался по-своему, и Тугану, когда он бывал в горах, становилось грустно от того, что он не знает их названий. И однажды он решил: если встречу старого чабана, расспрошу его и запомню имя каждого цветка.

Тот, кого он встретил, был не очень стар и не мог помочь ему. Туган удивился: ходит каждый день по лугам и не знает, что топчет ногами.

С тех пор как он встретился с чабаном, прошло немало времени, а южный ветер все приносит запахи неведомых трав...

Туган шел и думал, что каждый человек — это целый мир, но нельзя замыкаться только в себе. Это счастье — почувствовать большой, бескрайний мир, который тебя окружает, и помнить, что ты не один в нем. Ему вспомнился Цыппу. «Живем мы в своем вагончике, под одной крышей, — подумал он, — но каждый из нас сам по себе, на своем островке... Вот мы пожили под одним навесом, — усмехнулся он про себя, — проползли по два ряда кукурузы и думаем, что подвиг совершили... А что получится из всего этого? Кем станет Толас? Сбудутся ли его мечты? А если их нет у него, появятся ли они? Что будет с Коста? Когда он увидит морщины под глазами Афизат, не пожалеет ли о встрече с ней?.. А все остальные? Как сложится их жизнь?..»

Размышляя об этом, он повернул назад, зашел в вагончик и улегся в постель. Сон не шел к нему, на душе было беспокойно...

Зашевелился на своей кровати Цыппу. Встал, на цыпочках прошел мимо Тугана, остановился возле Состыкка, осторожно приподнял край одеяла, потом вернулся назад и торопливо улегся в постель...

«Месть,— догадался Туган.— Цыппу, наверное, весь день вел следствие, искал зачинщика... Интересно, что он сунул под одеяло Состыкку?»

— О-о,— негромко застонал Состыкк, забормотал что-то невнятное, свернулся калачиком и затих. Потом рванулся, сбросил с себя одеяло и закричал, как филипп:

— Ух! Ух! Ух!

Ребята проснулись.

— Что с тобой? — спросил кто-то.

— Змея,— прохрипел Состыкк.

— Что, приснилось?

— Ползала по мне... Холодная...

— Брось, откуда тут змея?

— Сам брось, я до нее рукой дотронулся! — закричал Состыкк.

— Да тише вы!..

— Ребята, у кого есть спички? — забеспокоился Цыппу.— Может, она его укусила? Яд моментально расходуется по телу...

Батадзи чиркнул спичкой, подошел к Состыкку.

— Ну-ка, дай я тебя осмотрю... Здесь болит?

— Ой! — вскрикнул Состыкк.— Нет...

— А здесь?

— Ой! Тоже не болит.

— Что-то ноги у тебя холодные,— сказал Батадзи.— Может, кровь уже начала застывать?

Тугана разбирал смех. Он догадался, что Цыппу подбросил в кровать Состыкка ящерицу.

— Состыкк,— сказал он,— тебе придется всю ночь переходить с кровати на кровать, а то змея не успокоится, пока тебя не укусит!

— Лучше будем охранять его до утра по очереди,— предложил Азрым.

— Ребята,— с дрожью в голосе спросил Толас,— вы шутите, да? Нет? Я до смерти боюсь змей...

— Ну вот, завелся,— недовольно заворчал Гадац.— Состыкк пощекотал себя во сне и поднял панику... Давайте спать...

— Подождите,— заволновался Состыкк,— не бросайте меня!

Цыппу молча праздновал победу.

Состыкк не любил его и при каждом удобном случае давал это понять и, как Цыппу ни старался подладиться

к Состыкку, тот был непреклонен. Глядя, как во время обеда Цыппу разливают по тарелкам суп, Состыкк каждый раз ухмылялся:

— Смотрите, как дрожат его руки! Лей, не жалей, Цыппу, не из своего дома добро выносишь...

Однажды, когда мать Цыппу куда-то уехала, Состыкк явился к нему и стал ластиться, как кошка.

— Хочешь, устрою тебе праздник? — предложил он.

— Не знаю, — засомневался Цыппу...

— Ладно, ладно, — похлопал его по плечу Состыкк, — знаю, ты злишься, что я называл тебя жадюгой. Если я неправ был — прости. Но и сам научись ценить слова тех, кто говорит тебе правду в глаза.

— Да я ничего... — замялся Цыппу.

— Скажи, — не давая ему опомниться, напирал Состыкк, — что чаще всего подают на праздничный стол? Из домашней птицы?

— Курятину...

— Ты получишь ее, — пообещал Состыкк.

— Вареную?

— Конечно!.. Только мне понадобится твоя помощь. Курицу поймаю, зарежу и сварю я сам... А ты стой у ворот и смотри в оба, чтобы нам не помешали!

— Ладно, — неохотно согласился Цыппу.

— Клянись, что сдержишь слово!

— Пусть наша яблоня высохнет...

— Это не шутка!

— Клянусь матерью!

— Вот это мужской разговор!..

Цыппу думал, что Состыкк пригласит его куда-нибудь, а тот послал его на улицу, мол, чего не бывает в жизни, вдруг мать твоя вернется...

Когда хозяин ушел, гость загнал кур в сарай, поймал самую большую и, как и обещал, все сделал сам.

Цыппу стоял у ворот, томился и, не выдержав, окликнул Состыкка:

— Что ты там возишься? Давай скорее!

Состыкк ответил ему:

— Курицу я уже достал, но она стара, как ворона, пусть поварится еще...

Пока Цыппу ждал, Состыкк угостился как следует, оставив от курицы только перья да кости.

Когда Цыппу, чуть не плача, вбежал в свой дом, Состыкк вытер губы и поблагодарил его:

— Спасибо за угощение, наелся до отвала...

— А если бы в твоём доме так сделали, — глотая слезы, пробормотал Цыппу, — тебе бы понравилось?..

Отец Состыкка погиб на войне, мать не на много пережила его, и мальчика взял к себе в дом дядя. Кормил, одевал, обувал, но когда каждый твой глоток считают, радости мало.

В хозяйстве все было на учете: муку просеивали при дяде, сыр для пирогов крошили тоже при нем. Тетка Состыкка была во всем послушна мужу, тихая и незаметная. Встав до рассвета, она бралась за дело, а дел ей хватало до ночи. Мальчик завидовал: как много она работает и как мало ест. Он же всегда чувствовал себя голодным, но лишнего куска никогда не взял, зная, что дяде это не повредится.

Когда Состыкк подрос, он понял, что должен отработать свой хлеб. Дядя улыбался, видя племянника работающим, а если тот из кожи вон лез, мог даже похвалить вслух. Мальчик, принимая это за родительскую ласку, и смущался и радовался.

Однажды он поехал в лес за дровами. Парубил дров, нагрузил арбу доверху и тронулся в обратный путь. Полная арба и на твердой земле следы оставляет, а Состыкку предстояло одолеть два подъема, и он дважды разгружал арбу, перетаскивал дрова на себе и снова грузил их. За работой он и не заметил, как подкралась ночь... Когда мальчик вернулся домой, в селе уже не горело ни одного огонька. Заехав во двор, Состыкк распряг коня, сложил дрова в сарай и только тогда вошел в дом, где почувствовал запах чего-то очень вкусного. «Для меня приготовили, — с благодарностью подумал он, — за работу...» Он пошарил в шкафу, но ничего не нашел. Зато на печке стоял чугунок, и Состыкк, не раздумывая, принялся за еду. Похлебка ему не очень понравилась. Согреть бы ее, тогда она стала бы повкуснее, но у мальчика не было сил... Состыкк хлебал до тех пор, пока желудок его не наполнился. И все это время, чувствуя запах мяса, мальчик надеялся пайти его в чугунке. Наконец он пащупал ложкой что-то мягкое, достал со дна и сунул в рот. Жевал

и никак не мог прожевать. Озадаченный, он вытащил кусок изо рта...

То, что он вытащил, оказалось тряпкой, которой мыли посуду.

### 13

Ребята обедали, когда к ним заявился старый учитель Гала.

— Здравствуйте, послушные дети Гато! — ласково улыбнулся он. — Живите сто лет!

— Здравствуйте! — вскочили на ноги ребята. — Садитесь с нами обедать!

— У нас такой вкусный суп — язык проглотишь!

— Хвалите, хвалите Цыппу, и он из своего сердца огонь для вас высекать будет, — сказал Гала.

Ростом он был чуть повыше Толаса и смотрел на всех снизу вверх светлыми, широко открытыми глазами. Слушал каждого, каждому давал высказаться.

— Осчастливили вы меня, ребята, ох, как осчастливили! — Гала сел за стол и пригласил сесть ребят. — Теперь я могу смело посмотреть кое-кому в глаза, — продолжал он. — Слова не зерна, их нельзя посадить в землю, и ростков они не дадут. Но начало всякого дела — слово. И если оно не оказывается напрасным, — это настоящее счастье. — Гала помолчал, оглядел ребят. — Теперь у вас есть свое поле, а значит, и своя забота. Это, можно сказать, начало вашей жизни.

Тугану не пришлось учиться у Гала. А Батадзи был его учеником и часто вспоминал об этом. «Если бы все люди были, как Гала, — говорил он, — в мире царили бы радость и покой».

— Я приехал к вам без ведома Шахама, — рассказывал Гала. — Шофер допытывался, куда, мол, и зачем едешь, но я не признавался, — Гала подмигнул Толасу. — Думаю, если ребят чем-то обидели, чего-то недодали, я все правление переверну, Шахама ночью с постели подниму, — он улыбнулся, — а сонному человеку и слова благодарности противны... Так что выкладывайте свои обиды. Начинай, Толас. Не бойся, я не буду ставить тебе отметку!

— Говорят, недавно в селе была свадьба, — затронулся Толас. — Хорошо бы нашу долю со свадебного стола прислать сюда да гармошку с девушками.

Все рассмеялись.

— А что скажет Гадац?

— Здесь чистый воздух... Здесь хорошо спится... Вот если бы по утрам меня не будили я был бы совсем доволен...

Коста сказал:

— Если бы можно было сделать так, чтобы дожди шли по расписанию... Чтобы в неделю был один дождливый день — наш выходной.

Азрым пожаловался:

— Скучновато здесь. Какне-то мы все одинаковые, все положительные, даже критиковать некого!

Состыкк глотнул слюну:

— Эх, если бы хоть раз съесть обед, приготовленный женщиной.

Цыппу не на шутку обиделся:

— Пусть все готовят по очереди! Я тоже на повара не учился.

Туган сказал:

— Если можно, пригласите к нам гадалку, пусть предскажет каждому судьбу.

— А теперь я хотел бы послушать своего старого друга, Батадзи, — улыбнулся Гада.

— Желание Батадзи я угадаю без всякой гадалки! — воскликнул Толас.

— Ну, говори...

— Пусть вместо молока нам привозят араку!

Грянул дружный смех.

До войны мать Батадзи работала дояркой, была молодой, здоровой девушкой, и щеки ее горели румянцем. С дальнего поля на ферму каждый день навевывался колхозный бригадир. Стоило дояркам спуститься с бидонами к реке, как он появлялся верхом на своем коне. Девушки хихикали, насмешничая над ним, а он улыбался:

— Конь мой в свое время не допил молока, и я прошу вас — оставляйте для него в каждом бидоне по глотку.

Потом выяснилось, что дело было вовсе не в молоке. И подружки той девушки, чьи щеки румянились так ярко, перестали подшучивать над бригадиром. Перестал улыбаться и однорукий заведующий фермой. Поглядывая исподтишка на румяную доярку, он мрачнел все больше и больше. Девушка с радостью подарила бы ему свою ле-

вую руку, если бы это было в ее сплах. Потом, выйдя замуж за бригадира, она перестала работать на ферме, не могла больше смотреть на пустой рукав заведующего...

Через год она родила дочь, потом сына. Рождение мальчика совпало с началом войны. Отец ушел на фронт, прислал оттуда три письма, а четвертой пришла похоронка...

Однажды, в конце войны, к ним постучался однорукий. Фермы, конечно, не было и в помине, нужно было организовывать новую. Мать Батадзи не пригласила однорукого в дом. Они поговорили на крыльце, а на другой день она ушла на ферму. Долго не возвращалась, и дети устали ждать, замерзли в нетопленном доме, уснули, прижавшись друг к другу. В тот вечер мать принесла детям хлеб и стала приносить его потом каждый день.

Но как-то раз она вернулась раньше обычного. Батадзи с сестрой потянулись к ней, с надеждой глядя в ее руки.

— Ничего у меня нет, — сказала мать, отворачиваясь от них, — ничего я вам не принесла...

— А хлеб? — спросил Батадзи. — Его кошка съела?

— Да, — кивнула мать.

— Ну и пусть, — сказал Батадзи. — Только завтра ты ей больше не давай.

— Завтра я не пойду на ферму.

— А когда пойдешь?

— Когда растает снег и вырастет трава, отелится наша корова. У нас будет много молока...

О том, что случилось тогда, Батадзи узнал гораздо позже.

Однорукий не давал прохода его матери. Коровы, которые доились лучше других, всегда оказывались у нее. Как-то вечером однорукий сунул ей банку топленого масла. В другой раз, когда она шла с фермы домой, он догнал ее, бросил в руки буханку хлеба и ускакал на своем коне. И масло, и буханка остались нетронутыми и вернулись к своему хозяину. Но однорукий не успокоился, и мать Батадзи ушла с фермы...

Она стала работать почтальоном. С утра разносила письма и газеты, а вечером шла в школу мыть полы.

Когда Батадзи пошел в первый класс, мать уже не могла работать с утра до ночи. Руки ее не переносили холодной воды, по ночам она стонала, ворочаясь в постели.

Вскоре мать передала почтальонскую сумку дочери и научила ее, куда класть письма, если хозяев нет дома...

Мать слегла и не могла уже заботиться о детях. Настал день, когда в доме не осталось ни крошки. И тогда Батадзи стал заботиться о семье.

Колхозный повар получал в кладовой хлеб и складывал буханки в арбе так, чтобы они были на виду. Когда арба проезжала мимо клуба, вдоль высокого забора, Батадзи схватил одну буханку и перепрыгнул с ней через забор. Во второй раз ему не повезло — повар поймал его и пожаловался в школу.

Учитель Гала, выслушав Батадзи, взял его за руку и повел к себе домой. Там накормил мальчика, как мог, и дал ему немного муки. Проводив своего ученика до ворот и прощаясь, Гала сказал:

— Держи голову высоко, глаза не прячь. Такой красивый парень не должен ходить сторбившись...

Как-то раз Батадзи не выучил заданного на дом. А стоять истуканом на уроке Гала было очень стыдно. И Батадзи уговорил весь класс: «Как только услышим шаги учителя в коридоре, начнем кашлять и прокашливаем весь урок»...

Гала, войдя в класс, послушал минуту-другую, потом сел на свое место и тоже стал кашлять. Ребята, изумившись, затихли. И тогда Гала вызвал Батадзи к доске:

— Придумай сам и напиши предложение с главными и второстепенными членами.

Батадзи повернулся к доске и стал думать. Вдруг он услышал за своей спиной смех. Смеялся весь класс. Резко обернувшись, Батадзи перехватил печальный взгляд учителя, устремленный вниз, на его ноги. Мальчик глянул на свои старые арчита<sup>1</sup> и увидел, что они совсем уже прохудились и из дыр торчит во все стороны сухая трава...

Оставив портфель, Батадзи бросился вон из класса, бормоча сквозь слезы:

— Все, не пойду больше в школу, не дам смеяться над собой...

Вечером домой к Батадзи пришел Гала. Развернул принесенный с собой сверток, в котором оказались ботики. Верх их был старый, зато подметки только что набитые, даже шляпки гвоздей еще не успели потемнеть...

<sup>1</sup> Арчита — самодельная обувь из сыромятной кожи, выстеленная изнутри сеном.

Но, к сожалению, у Гала было только два глаза, и доглядеть за всеми учениками он не мог...

Гала сказал:

— Я старый человек и школму уже не нужен. Сам себе в тягость... Признаюсь честно, — улыбнулся он, — ушел я из села, чтобы быть с вами. Волоком придется меня тащить, но что поделаешь, терпите.

— Пусть будет так, как скажет Батадзи, — предложил Туган.

— Ну, что ж, я согласен сойти за мудреца, — важно изрек Батадзи.

И вспомнилось ему давнее...

Собираясь возле школы, ребята соревновались в ходьбе на руках. Бесспорным чемпионом в этом виде спорта был Батадзи. Однажды Гала вызвал его к доске. Батадзи, запутавшись, не мог ответить. Тогда учитель задал вопрос классу:

— Кто скажет мне, почему Батадзи не учит уроков?

Кто-то предположил, что у Батадзи опять пропал тележок и мальчик до поздней ночи искал его. Ребята загалдели кто во что горазд. Послушав их, Гала сказал:

— Хотите, я открою вам его секрет?

— Хотим! Хотим!

— Наш Батадзи — мальчик-наоборот. Все дети ходят на погах и учат уроки, а он ходит на руках и уроков не учит...

...Батадзи улыбнулся своим воспоминаниям и сказал:

— Устроим вам экзамен, Гала. Если вы пройдете на руках от навеса до вагончика, зачислим вас в свою бригаду!

— А если я пообещаю себя хорошо вести, — засмеялся Гала, — вы не примете меня без экзамена?

— Можно, можно, — хором ответили парни.

«Никогда ты не состаришься, Гала, — растроганно думал Туган. — Удивительный ты человек — прожил жизнь и даже дома приличного себе не построил. Все беспокоился о других, о себе и подумать некогда было. И если о ком-то можно сказать, что незаменимых людей не бывает, то тебя заменить, ох как не просто»...

— Хорошо с вами, ребята! — снял старый учитель. — Толас, ты еще в состоянии слушать меня?

— Неужели я опять отвлекся? — встрепепулся тот. — Иногда я слушаю до конца даже лекторов, которые читают по бумажке...

— Вчера я получил письмо, — сказал Гала. — С самого края земли оно пришло...

Мальчпка звали Адылджери. Мать дала ему это имя потому, может быть, что оно было довольно редким. Малыш весь умещался на двух ладонях, и сложное имя казалось тяжелой пошей для него. Поэтому ребенка стали звать пока просто Адыл, надеясь Джери прибавить потом, когда он подрастет. Но вторая половина имени так никогда и не пристала к первой.

Когда он попрос, мать стала называть его Адылджери, но соседи не успевали произнести это имя целиком.

Адыл стрелял из рогатки так метко, что воробьи перестали залетать в их двор. Как-то на спор он разнес стекло керосиновой лампы, горевшей на веранде соседнего дома. «Это не ребенок, а настоящая чума», — сокрушались люди. Мать постоянно прятала от него спички — днем носила их за пазухой, ночью совала под подушку.

Но Адыл умел не только хулиганить. Когда настало голодное время, амбары опустели и в доме остались только считанные початки кукурузы, мальчик нашел где-то проволоку, втулку, зуб бороны и целую неделю стучал в сарае молотком, что-то пилил, строгал и, в конце концов, смастерил ручную мельницу для кукурузы. Первый помол ее шел на кашу, второй годился на чурек.

Учился он хорошо. Только вот учебники не на что было купить. Но Адыл ходил в школу и без книг, а перо макал в чужую чернильницу. Память у него была прекрасная, слова учителя он впитывал, как промокашка чернила. Но чтобы заставить его слушать, учитель должен был все время следить за ним, а до пачала урока очистить его карманы от всяких побрякушек...

Многие учителя не вернулись с войны. Сгорели при бомбежке школьные парты, повывлетали из окон стекла, в классах разгуливал ветер. Гала был тогда директором, но никто не сказал бы, что он похож на директора. В колхозной кузнице сам точил топоры, выпросив у председателя арбу, ездил с ребятами в лес за дровами. Мальчишки сидели в арбе, а директор топал за ней пешком. Палкой

выгребал из костра печеную картошку, кормил ребят, потом ел сам. Возвращались с полной арбой, даже на ровной дороге помогая тощей клячонке.

Учителей не хватало, и на работу приглашали тех, кто успел окончить до войны десятилетку. Об одном из них говорили, что он хорошо знал математику, и Гага поручил ему этот предмет. Искали учителя по родному языку и литературе, но никак не могли найти. И тогда новоиспеченный математик сказал, как бы шутя:

— Пока нет специалиста, давайте я буду преподавать осетинский... Стихи Коста Хетагурова я знаю наизусть, а пьесы Елбыздыко Бритаева мы ставили в школьном драмкружке. Осетинских книг ведь немного, справлюсь...

Таким образом, начинающий учитель сумел взять в одну руку два арбуза. К тому же он начал заочно учиться в пединституте. Работал он себе и ни о чем не беспокоился. Учил детей уму-разуму, будто пироги раздавал. Так бы оно все и шло, если бы не Адылджерн...

Как-то учитель дал детям сочинение на тему «Мой любимый педагог». Адыл сдал свою работу первым. Учитель, заинтересовавшись, стал просматривать ее сразу же. Едва начав читать, он вскочил, выбежал из класса и бросился в кабинет директора.

— Вот, — задыхаясь от возмущения и слишком быстрого бега, выкрикнул он, — читайте!

— Сейчас мне некогда, потом посмотрю, — взяв тетрадку, сказал Гага.

— Прошу вас, прочтите при мне!

— Громко читать? — улыбнулся Гага.

— Как хотите!

Сочинения учащихся похожи друг на друга, как щенки одного помета. Адыл же написал о том, что не укладывалось ни в какие рамки. Однажды он видел своего учителя за праздничным столом, слышал, как тот произносил тост, и подумал: «Эх, если бы и на уроках он был таким красноречивым!» Потом учитель читал в классе стихотворение, а у Адыла появилась мечта: «Если бы на уроке учителю можно было дать в руки бокал, как бы выиграло от этого стихотворение!..»

Гага положил работу Адыла на стол. Он знал: все, написанное мальчиком, — чистая правда.

— Ученику, может, и не положено писать такое, — негромко проговорил Гага, — но что греха таить...

— Вы говорите так, будто не я, а он учитель!

— Тогда сам придумай, как быть...

— По-моему, тут все ясно, думать не о чем.

— Что, исключить из школы?

— А вам жалко?!

— Слушай, — усмехнулся Гала, — давай лучше вызовем его в учительскую и отколотим...

— Какой-то хулиган втоптал в грязь имя учителя, а вы шуткой отделяетесь?! Я этого так не оставлю!

— Я уже сказал тебе! — взорвался Гала. — Адыл прав, ты не следишь за собой! Шатаешься в пьяном виде по улицам! Какой же ты учитель?! Какой пример подаешь детям?!

Учитель-универсал схватил со стола сочинение.

— Ну, что ж, — злобно сверкнул он глазами, — если так — посмотрим!..

Мстительный учитель вынудил Адыла бросить школу. Слустя некоторое время, сняли с должности директора Гала. Представитель района сказал о нем на собрании: «Не проявил гибкости, не создал условий для творческой работы коллектива учителей...»

Адыл слонялся бесцельно по улицам, и там, где он появлялся, возникали ссоры и драки...

На одном из колхозных собраний председатель сельсовета, взяв слово, провозгласил:

— Объявим войну тунеядцам! Прогошим тех, кто позорит наше село, прячась за спинами честных тружеников!..

Среди тунеядцев оказался и Адыл. Когда его стали сажать в машину, чтобы выслать из села, он крикнул:

— Гала, я не пропаду! Верьте мне!..

Годы шли один за другим, об Адыле не было ни слуху ни духу, и казалось, все начисто позабыли о нем. Но однажды учитель-универсал, брезгливо поморщившись, спросил Гала:

— Где же ваш любимчик Адыл? Вы ведь так гордились им...

— Человек везде останется человеком, — спокойно ответил Гала. — Впрочем, тебе этого не понять...

Оправдались надежды старого учителя. Адыл жив, Адыл прислал письмо.

Вот что рассказал он о себе: строил дома в Норильске, прокладывал каналы в безводных степях Средней

Азии, поднимал целину в Актюбинской области, искал алмазы в Якутии... При свете керосиновой лампы окончил техникум. Начал заочно учиться в институте...

Слушая Гала, Туган пытался сообразить: кто же этот учитель-универсал? Возможно, он и сейчас работает? Кто он? Постой, постой, не о нем ли опять речь? Не о соседе ли Азрыма? О дяде Хани... Да, это снова его фигура высунулась из прошлого... Вот он растопырил руки, пытаясь загородить дорогу Шахаму, Гала, Адылджери... Нелепая фигура, тщательно зачесанная плешь, хруст разгрызаемых леденцов, голос Азрыма: «Ах, это вы, учитель? А я думал, что сюда забралась чья-то свинья?..»

Потом Туган позабыл о Сосае — все мелкое отлетело, унеслось, и вспомнились вдруг слова Шахама: «Земля — не забава. Если ты бросил в нее семя, значит, ты в ответе за нее». И Тугану представилось осеннее поле — высохшие стебли кукурузы, золотистые початки, твердое зерно, и он подумал, что все это начало только, первый шаг, и впереди большая дорога и нужно идти по ней, не спотыкаясь на рытвинах.

Он видел лицо старого Гала, слышал легкий посвист теплого ветерка и шум быстрых вод Астаудона, и думалось ему легко и радостно о себе, о друзьях, о Хани, и он чувствовал себя счастливым...

## Белые стихи

### 1. Приходит твоя весна

Илюза жила в общежитии. Все студенты с ее курса знали об этом. Но Илюза жила еще в мечтах Бечмырза. Этого не знал никто, даже сама Илюза.

Сейчас Илюзу и Бечмырза разделяет один только стол. Стол всего-навсего, но за ним сидит Еруслан. Когда он заслоняет собой Илюзу, Бечмырза начинает беспокойно ерзать, и слова преподавателя скользят мимо него, как рыба мимо сети.

Та Илюза, что сидит впереди Еруслана, никогда не бывала в родном селе Бечмырза, и она не знает, что у него есть младший брат, который в прошлом году демобилизовался из армии. Брат недолго пробыл дома, неделю, полторы, потом заскучал, поеду, говорит, в Орджоникидзе, развеюсь немного, и — только и видали его — смотался в Душанбе. Через некоторое время прислал оттуда письмо: не волнуйтесь, жив я и здоров, чего и вам желаю. Писем от него больше не было, а следующую весть привез его товарищ. Он рассказал, что брат женился на русской, что у них родилась дочь. Илюза не знает и о том, что мать Бечмырза все время ворчит, ругает старшего сына, мол, женился бы ты вовремя, не пришлось бы твоему брату ехать на край света, сыграли бы ему свадьбу дома, всем селом, как положено.

Обо всем этом знает другая Илюза, та, что живет в мечтах Бечмырза. Вот она, красиво повязав косынку, подметает двор, а мать Бечмырза, ее свекровь, все время рядом, и у нее такое лицо, словно боятся она за невестку, словно из хрупкого стекла сделана та и, не дай бог, разобьется. Всю неделю мать с нетерпением ждала Илюзу и сына, все глаза проглядела, всматриваясь в дорогу, и,

кажется, даже потускнели они, потух их вечный свет... Но нет, нет, теплые огоньки материнских глаз не истлели за неделю, взгляд их греет Илюзу, и, кажется, вся усталость, накопившаяся за неделю в городе, моментально исчезает.

Та Илюза, что сидит впереди Еруслана, и другая, которая живет в мыслях Бечмырза, должны слиться, как две реки, слиться и течь в одном русле.

А лекции меж тем приближаются к концу. То там, то здесь нетерпеливо скрипят стулья. В эти минуты мысли студентов уже витают в столовой.

Вот сосед тычет в бок Бечмырза, приглашая оглянуться. Девушка с последнего стола растопыривает пальцы — осталось десять минут.

Сокурсники уже давно привыкли к тому, что Бечмырза к концу последней лекции обычно поднимает руку, просит разрешения выйти до звонка, и сразу же бегом в столовую. Потому что после лекции там не протолкнешься.

Бечмырза, словно поперхнувшись, кашляет раз, другой — иду, мол, в столовую, что кому взять? Первой передает на обед девушка, которая напомнила о времени. С тихим шелестом идут по рядам к Бечмырза деньги и записка с подробным перечнем обеденного меню. Когда записок набралось штук десять, Бечмырза поднял руку. Преподаватель не стал задерживать его, и Бечмырза понесся по коридору, просматривая на ходу записки.

«Беч, не забудь про меня. Возьми то же, что и себе. Илюза».

Беч! Ему приятно было, что имя его она написала сокращенно. Обычно так люди обращаются к близким...

Для себя и Илюзы он выбрал отдельный столик в углу. «Задержу ее немного, — с радостным возбуждением думал он. — А если сумею уговорить, пойдем в общежитие вместе». Кто-то из преподавателей сказал: «Слово — это оружие, когда умешь им правильно пользоваться». Бечмырза улыбнулся, посмеиваясь над собой: «Ну, пу, вперед, Цицерон!»

Однако, когда Илюза переступила порог столовой — какой удивительно легкий шаг у нее, ноги будто совсем не касаются пола, — он чуть не задохнулся, так встретилось его сердце, алым цветом полыхнули щени, дрогнули, разом вспотели руки.

Обычно он старался держаться поближе к девушке, но никогда, ни разу не сидел с ней за одним столом.

Илюза с насмешливым удивлением оглядела тарелки и стаканы, загромоздившие стол.

— Беч, все это нам? Только нам двоим? — улыбнулась она.

— Ну, подумаешь, — смутился Бечмырза. Он осторожно сел за стол и все же задел ножку стола, и суп колыхнулся в тарелках, а из стаканов, наполненных до краев, плеснулся чай. Бечмырза боязливо глянул на девушку, но та будто и не заметила ничего, она по-прежнему улыбалась.

— Моя бабушка обычно говорила: девушке хватит и полтора зернышка.

— Ловкие люди были наши предки, — глядя в тарелку, ответил Бечмырза, — тратили на девушку по полтора зернышка в день, зато потом какой калым за нее получали...

Бечмырза изнемогал от своей скованности. Он сторожил каждое свое движение. Мать часто ругала его: «Как ты ешь?! Будь аккуратным за столом!» А у него не получалось. То суп прольется, то масло к рукаву пристанет...

— Ты не торопись? — спросил Бечмырза.

— Что, — улыбнулась Илюза, — слишком быстро ем?

— Да нет...

— А почему ты спрашиваешь?

— Можешь пожертвовать мне двадцать минут?

— А если минутой больше или меньше, ты не согласишься?

— Дома попросили купить отрез на платье. Двоюродная сестра замуж выходит... А я не знаю, какой ей нужен отрез. Ты не могла бы мне помочь? — с надеждой глянул он на Илюзу.

— Для такого дела нет никого лучше Фати. У нее, кстати, и знакомые есть в магазинах.

— Фати — это Фати, а Илюза — это Илюза. Купим то, что найдем в ближайшем магазине.

— Ладно, мне это не трудно.

Они вышли на улицу и неторопливо пошли по тротуару.

Яркое весеннее солнце сияло над миром.

Эта весна — весна Бечмырза. Она должна принести ему счастье. У каждого человека должна быть своя весна.

Бечмырза хотел, чтобы она шла рядом, в ногу с ним, но походка у нее была мелкой, и, как он ни пытался подладиться к ней, ничего у него не получалось. Он с малых лет был медлительным. Сколько ни ругали его за это, измениться он не смог... «Если двух людей не связывает одна мысль, ничто не заставит их идти в ногу», — то и дело сбиваясь с шага, размышлял Бечмырза. Он посмотрел на девушку: «Она не замечает меня и не хочет замечать».

— Илюза! — прогремел он, будто хотел разбудить ее. — Илюза!

Но девушка давно уже привыкла к его голосу, еще с первых занятий в институте. Странный был у них тогда преподаватель. Как сядет за стол, так и не встает до конца занятий. Все жалуется на головную боль. И говорит он тихо, едва слышно. Даже скрип стула заставлял его морщиться. И надо же было ему на первом же занятии первым вызвать Бечмырза. Парень начал так громко, что никто даже не понял вначале, что происходит. Будто штукатурка с потолка рухнула. Все так и застыли на месте, а девушка, сидевшая за передним столом, испуганно вскрикнула.

— Послушайте, — скривился преподаватель, — нельзя ли потише?

Бечмырза умолк было, но тут же снова заговорил, и снова раздались громоподобные раскаты его голоса.

— Не кричи, ради бога! — замахал руками преподаватель.

— Голос у меня такой, — смутился Бечмырза.

— Иди, — показал преподаватель в конец аудитории, — иди к последнему столу. Говори оттуда...

Бечмырза пошел назад, но говорить он начал на ходу. Преподаватель пробовал остановить его, но не тут-то было. Вначале Илюзе показалось, что Бечмырза издевается над преподавателем. Но потом, когда в аудитории грянул смех, она и сама расхохоталась. А преподаватель стучал и стучал карандашом по столу и наконец, не выдержав, тоже улыбнулся...

— Знаешь, чем бы кончилось такое дело, если бы мы жили в старые времена? — с решимостью отчаянья спросил Бечмырза.

— Какое дело? — удивленно остановилась Илюза.

— То самое, которое не дает мне спать по ночам, о котором я все время думаю.

— Не понимаю...

— Я не стал бы к тебе сватов посылать, я бы просто-напросто украл тебя.

— Бечмырза! — улыбнулась Илюза. — Откуда у тебя вдруг такие страшные желания?

— Не вдруг, — смутился Бечмырза, — не вдруг...

Он знал, что Илюза замечает его только на лекциях, когда все поглядывают на него с нетерпением, ждут, не начнет ли он снова спорить с преподавателем, задавать вопросы, которые всегда вызывают хохот в аудитории. Все так привыкли к этому, что даже серьезные вопросы Бечмырза встречались смехом.

Илюза искоса поглядывала на него — какой он неуклюжий!..

— Весна не для того только приходит, чтобы цветы и листья распускались, — сказал вдруг Бечмырза. — Она и счастье приносить умеет... Мне сердце тихо подсказало: пришла ко мне моя весна...

— Ого! — засмеялась Илюза. — Белыми стихами заговорил! Запиши скорей, а то забудешь!

— Слова мои лишь смех рождают...

— Я не шучу, — смеялась Илюза. — Ты поэт! Самый настоящий!

— Слова поэта западают в душу и порождают светлые ростки, — с грустной укоризной проговорил Бечмырза. — Поэта слушают века... А я ни к славе, ни к бессмертию не стремлюсь. Мне просто хочется делить с тобою счастье, которое пришло ко мне с весной... Слова мои не звук пустой. Я столько раз их повторял в мечтах, чтобы сегодня высказать впервые и воплотить мечту в реальность...

— Ну, и шутник же ты...

— Ты — крепость неприступная, а я вооружен лишь робким словом...

— Ты не забыл еще о сестре?

— Есть у меня сестра, но ей не скоро замуж... Боялся я, что не пойдешь со мной так просто и потому отрез придумал. Хотелось мне побыть с тобой вдвоем, чтобы сказать, сказать все то, что я сказал бы перед целым курсом и даже перед человечеством сказал бы...

Илюзе стало вдруг весело, радостно... Что за девушка, которую не сватали несколько парней? Парни и раньше обращали на нее внимание, и признания их были ей при-

ятны, как новое платье, но такие слова она слышала впервые. Никто еще не приходил к ней с таким открытым сердцем. Она знала, что кто-то скажет ей, рано или поздно скажет сокровенные слова и верила, ждала того, кто скажет их. Того, избранного, ей трудно было сравнивать с кем-нибудь из знакомых. И уже никогда не пришло бы ей в голову, что он может оказаться похожим на Бечмырза. Из всех сокурсников им мог бы оказаться Еруслан. Да, Еруслан...

Она замедлила шаг, низко склонила голову, не смея поднять ее, боясь глянуть в глаза Бечмырза. Илюза сосредоточенно смотрела под ноги, но взгляд ее улавливал иногда грубоватые, поношенные туфли своего спутника. А брюки его так наглажены, что складки их похожи на острье ножа. Гладит их он сам, конечно, в женских руках вряд ли найдется столько силы.

— Я не имею права требовать от тебя что-либо... Вот я перед тобой, весь, какой есть. Ничего во мне особенного нет; конечно...

Илюзе хотелось, чтобы он сказал о себе: прямой, честный, добрый. Почему-то ей хотелось услышать это о нем, хотя бы от него самого...

Илюза шла рядом с Бечмырза, не зная, что сказать ему; и не смея больше молчать.

— Я не знаю, — пробормотала она. — Я ничего еще не знаю о жизни... Бабушка еще моих кукол не выбросила.

— Что ж, — вздохнул Бечмырза, — честное слово, как пуля, но слово должно быть честным...

— Самое главное для меня — это учеба... Да, наверное, не только для меня...

— Ну, что поделаешь, — попытался подбодрить ее Бечмырза. — Пусть весна эта будет для тебя счастливой... Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, не стесняйся. Как брату скажи...

Слезы навернулись на глаза Илюзы, но Бечмырза не увидел этого.

## 2. В этот же день вечером

Бечмырза хотел встретить кого-нибудь. Посидеть с кем-нибудь вдвоем. Бечмырза хотел говорить. В груди его горел огонь, который, казалось, никогда уже не потухнет. Бечмырза должен был встретить кого-нибудь, столкнуться лицом к лицу. Ему нужно было выговориться, отвлечься от мыслей об Илюзе...

Иногда идешь по улице и только успеваешь здороваться со знакомыми, а сегодня никого, хоть волком вой. Эх, где сейчас украинский парень Петро, с которым они вместе служили в Сибири? Где лезгин Агарза, с которым работали в Грузии на метеостанции, два года прожили рядом с облаками? Где балкарец Кайсын, с которым работали на руднике в Тырныаузе? А емаусский Асахмат, с которым сидели на одной парте в училище мехаппзации, жили в одной комнате, за одним столом ели? Вспомнил Бечмырза и о своем односельчанине Асте. Быть может, он в городе, ищет его сейчас, сидит в общежитии рядом с вахтером? Когда Бечмырза приедет домой, он, побыв с матерью и сделав кое-какие дела по дому, торопится к Асте. И гуляют они дотемна в поле, любятесь вечерним заревом в горах, и звучит их негромкая песня...

Бечмырза прошел через базар, прогулялся по проспекту Мира и, так и не встретив никого, поехал в общежитие. Во дворе, под акацией, он заметил девочку. Та, повернувшись лицом к забору, терла кулачками глаза. Когда он поравнялся с ней, девочка уткнулась лицом в ствол акации, сдерживая плач, и только плечи ее мелко подрагивали.

— Почему ты плачешь? — остановился Бечмырза. Он взял ее за плечи, повернул к себе. — Ну, — улыбнулся он, — такая большая и плачешь. В нашем селе девочки

твоего возраста уже доят коров на ферме... Ну-ка, вытри глаза и расскажи. Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет.

— А с кем ты сюда пришла?

— Ни с кем.

— В общежитии живет кто-нибудь из твоих? Брат, сестра?

— Соседский парень был. Но его уже нет. Он теперь в Нальчике учится.

Понемногу они разговорились, и Бечмырза узнал, что девочка учится в интернате, а мать и бабушка ее живут в селе. Девочке не часто приходилось бывать дома. А отвозил ее домой обычно соседский парень, тот самый, что уехал учиться в Нальчик.

На девочке было простенькое серое платье, красные туфельки, волосы ее были заплетены в две тоненькие косички. Была она худенькая, быстрая, живая.

Девочка вдруг повернулась и, не поднимая головы, пошла на улицу. Бечмырза бросился за ней.

— Ты куда?

— В интернат.

— А как тебя зовут?

— Дзеппа.

— Тебе очень хочется домой?

— Бабушка и мама будут ждать... Бабушка часто болеет.

— А сколько стоит билет до твоего села?

— Пятьдесят копеек.

В начале месяца, когда только получишь стипендию, кажется, что ее на все хватит. Можно, небрежно заглянув в меню, выбрать все самое лучшее, можно доброе дело сделать — пригласить к столу безденежного товарища. Кажется, стипендии конца не будет и руке твоей не придется шарить в карманах, как мышонку в пустой кладовой. Кажется, никогда больше ты не будешь сначала смотреть на цены в меню, а потом только разбираться, что кроется за этими ценами.

Сейчас у Бечмырза было около четырех рублей, а до стипендии оставалось ни много ни мало восемь долгих, как годы, дней.

— Пойдем, я провожу тебя до автостанции, — сказал Бечмырза.

— Нет, — замотала головой девочка, — я в интернат пойду.

— Идем, идем, — настаивал Бечмырза, — уже вечер, ты можешь опоздать на автобус.

— Сегодня меня не отпустят. Я по субботам езжу...

— Ну-ка, дай руку... Открой ладонь. — Бечмырза достал из кармана мелочь и отсчитал: — Это тебе на билет, это на трамвай, а это на лимонад... А теперь шагай в интернат. Если тебе что-нибудь понадобится, приходи в общежитие. Скажешь, что тебе нужен Бечмырза.

— Бечмырза, — смущенно улыбнулась девочка.

— Вон мое окно. На третьем этаже. Тридцать третья комната. Ну-ка, повтори, где я живу.

— Третий этаж, тридцать третья комната.

— Ну, вот и хорошо...

### 3. Прошел месяц

После лекций Бечмырза не сразу возвращался в общежитие. Он любил прогуляться немного, а потом до вечера сидел в читальном зале. Окончив школу, Бечмырза несколько лет провел без книг, и годы эти, как ветер, уносящий пыль, унесли с собой почти все, чему он когда-то учился. Теперь приходилось наверстывать, читать те самые книги, которые когда-то он так легко оставил и которые давным-давно прочитали все его сокурсники. Приходилось отдуваться за то время, которое утекло незаметно, как вода сквозь пальцы. И Бечмырза обычно возвращался в общежитие поздно вечером. Но сегодня он пришел рано. Дел у него в общежитии не было, и он хотел лечь, уснуть, ни о чем не думая.

Не думать о том, что Илюза и Еруслан не пришли на последнюю лекцию. Бечмырза и не заметил, как они исчезли. А потом он сидел, и никто не сомневался в том, что он внимательно слушает лекцию. Но Бечмырза, глядя на профессора, видел Илюзу и Еруслана... Вот они сошли на окраине с автобуса... Вот они идут по тротуару... Вот она, их дорога... Их дорога...

А профессор все говорил, голос его звучал тихо и дремотно, как полувывсохший ручей в жаркий полдень. Студенты клевали посами, обмякнув, точно поникшие на солнце листья. А профессор все говорил, говорил, говорил, и голос его преследовал Бечмырза даже по дороге в общежитие.

Во дворе он увидел Дзеппу. Что ж, Бечмырза — хозяин, Дзеппа — гостя, а хозяин, даже если у него горе,

должен достойно встречать гостей, чтобы хлеб его не казался им горьким.

— Здравствуй, Дзеппа, — грустно улыбнулся Бечмырза. — Вот ты и пришла.

Девочка, засмутившись, опустила голову.

— Почему ты так долго не приходила? — спросил Бечмырза и подумал о том, что он и не вспоминал о ней вовсе, не ждал ее, забыл совсем. — А может, ты приходила? Я ведь не всегда бываю дома...

— Да, — сказала Дзеппа. — Я однажды видела тебя на улице...

— И не поздоровалась?

— Ты был не один.

— Пойдем, я покажу тебе нашу комнату, чтобы в следующий раз ты знала, куда идти.

— Нет, — замялась Дзеппа, — меня подруга ждет на улице.

— Сбегай, позови ее.

— Она не пойдет.

— Тогда подожди меня здесь. Я сейчас вернусь. Не уходи...

В кармане у Бечмырза было всего лишь двадцать копеек, и, поднимаясь по лестнице, он думал: вряд ли у кого-нибудь найдутся деньги — стипендия послезавтра.

В одной из комнат он застал двух парней. Один лежал на кровати, раскинув руки и закрыв глаза, а другой сидел на стуле и настраивал гитару. На Бечмырза они даже не взглянули.

— Пошарьте-ка в карманах, — сказал он. — Мне пужно копеек сорок — пятьдесят.

— Я сегодня обедал в долг, — пожал плечами тот, что настраивал гитару. — Вечером придется нанести визит кому-нибудь из родственников...

Тот, что лежал на кровати, сказал:

— Он думает об ужине, а я все еще оплакиваю несостоявшийся обед...

Бечмырза вышел из комнаты, постучал в соседнюю дверь. Там никого не оказалось. Дальше жили девушки, а к ним он не смел обратиться. Наконец в одной из комнат Бечмырза добыл пятнадцать копеек. В следующей повезло больше — там наскребли сорок...

Дзеппа протянула руку так, будто он собирался сыпать ей на ладонь горящие угли.

— Где же твоя подруга? — спросил Бечмырза.

— Не дождалась, ушла.

— Тот, кто обманывает, не может быть хорошим товарищем, — он положил руку на худенькое плечо девочки. — Не бойся, — улыбнулся он, — Бечмырза тебя не обидит. Приходи всегда, когда соскучишься по дому...

Потом он проводил ее на улицу.

— Ты в каком пятернате?

— В четвертом.

— А учишься в шестом... или в седьмом?

— В седьмом...

Дзеппа ушла. Возвращаться в общежитие не хотелось. Солнце стояло еще высоко, припекало, и только в тени деревьев было прохладно. Бечмырза шел от дерева к дереву, и улица привела его в парк, к Тереку. Он сел на траву неподалеку от водопада, слушая грохот бурлящей воды и стараясь забыться, но вода, разбиваясь о камни, горестно всплескивалась: Илюза, Илюза...

А мимо шли пары, и Бечмырза провожал их взглядом. Мысленно он ставил себя на место каждого из этих счастливых парней. И каждому проигрывал. Нет, он бы так не смотрелся, нет, не смотрелся бы...

Бечмырза засиделся на месте, ему уже лень было вставать. Он хотел было подняться все-таки, но заметил троих, идущих в его сторону. И он ушел бы, но было уже поздно; они подошли совсем близко и наверняка бы заметили его, если бы он выдал себя движением. Бечмырза сгорбился, опустил голову — пусть они примут его за куст, за камень, пусть они пройдут мимо.

Они прошли, парень и две девушки: Еруслан, Илюза и ее подруга. Подруга, конечно, для отвода глаз.

Бечмырза поднялся, кружным путем побрел в общежитие, и долго еще звучал в его ушах хвастливый голос Еруслана и радостный смех Илюзы...

В тот вечер Бечмырза рухнул в свою постель, как усталый крестьянин, и не слышал даже, когда вернулся домой Еруслан...

Проснувшись рано утром, Бечмырза спрыгнул с кровати, как с неоседланного коня, схватил эспандер и стал растягивать его с таким ожесточением, что пружины, взвывая, чуть не лопнули. Потом пошел умываться. Вернувшись в комнату, увидел, что Еруслан уже проснулся и лежит себе, потягиваясь сладко.

— Слушай, — спросил Еруслан, — ты был вчера в парке?

— Нет, — краснея от стыда, выдавил из себя Бечмырза.

— А мне показалось, будто я тебя видел...

В это время кто-то тихонько постучал в дверь.

— Войдите! — гаркнул Еруслан.

В ответ снова постучали, как бы давая понять: выйдите, мол, вы ко мне. Бечмырза распахнул дверь и увидел Илюзу.

— Прошу, — широким жестом пригласил девушку Еруслан.

— Нет, — с виноватой робостью в голосе сказала Илюза. — Вот твой галстук, Еруслан. Ты забыл его вчера у нас... Когда приходил за конспектами...

Илюза открыла сумку, пошарила в ней, забеспокоилась, даже под ноги себе глянула.

— Забыла положить его в сумку, — смутилась она. — Сейчас принесу...

Она ушла, а когда прошло столько времени, сколько потребовалось, чтобы дойти до лестницы, взбежать на четвертый этаж и вернуться, в дверь снова постучали. На этот раз пришла подруга Илюзы, которую Бечмырза видел вчера на берегу Терека с Илюзой и Ерусланом.

— Ты забыл у нас... Вот, — она открыла сумочку, вытащила из-под тетрадей пестрый галстук.

— Будь всю жизнь счастливой, — поблагодарил ее Еруслан. — Заходи, погости у нас.

— Спасибо, я в институт спешу.

— Пойдем вместе, — предложил Еруслан.

— Нет, нет, я побежала...

Она ушла, а Еруслан нацепил галстук, поправил ворот рубашки, глянул в зеркало и довольно покачал головой:

— Ну и артистки!

#### 4. Год спустя. Осенний вечер

Радость застилает глаза человека розовой пеленой. Илюза была так счастлива, что даже не пыталась скрыть этого. Да и чего скрывать, когда рядом с ней был Еруслан, и они вместе, вдвоем вышли из общежития и шли по улице, осиянной солнцем. Илюзе было радостно идти в ногу с Ерусланом, ей казалось, что от их присутствия посветлел, похорошел город. Ей хотелось, чтобы Еруслан все время говорил, а она слушала, внимала каждому его слову.

Эти теплые осенние дни были похожи один на другой, как листья, тихо опадавшие с деревьев. Лес, начинавшийся сразу за городом, яркий осенний лес манил к себе. Город кончился, остались позади последние дома, тропа петляла среди запущенного фруктового сада, тропа вела к лесу. Так далеко они еще никогда не ходили, и Илюза забеспокоилась, оробела.

— Еруслан, — сказала она мягко, — тому, кто знает, куда ведет дорога, легче идется...

— Дорога не уходит дальше человеческих мыслей, — усмехнулся Еруслан.

Илюза замолчала.

— Здесь можно, наверное, набрать шиповника, калины или терпа, — сказала она чуть погодя.

— Облепихи, сосновых шишек...

— Я серьезно...

— Илюза, — спросил вдруг Еруслан, — кого ты больше боишься — медведя или волка?

— Ой, не надо, — засмеялась девушка, — я и ящерицы боюсь!

— Ну, а все-таки?

— Ты рядом, мне нечего бояться...

Верхушки деревьев сплелись друг с другом, солнечные лучи едва проникали сквозь густую листву, и, казалось, в лесу наступили сумерки.

— Давай вернемся, — попросила Илюза.

— Ты же только что хвасталась, что ничего не боишься, — усмехнулся Еруслан.

Он все шагал и шагал, и лицо его было мрачным. Илюза подумала: может, он сердится? Но тут же оправдала его: он мужчина, не может же он свои чувства выставлять напоказ. А в сердце все же оставалось сомнение.

— Ты так торопишься, — с укоризной сказала она, — будто твою возлюбленную похитили, а ты только теперь вспомнил об этом...

Нет, не похитили ее, ту, которую любил в юности Еруслан. Пока он служил в армии, нашелся другой... Еруслан сначала каждый день перечитывал ее письма, днем и ночью чудился ему ее голос. Он чувствовал себя так, будто его начисто обокрали, сжимались кулаки, ему хотелось мстить...

Лес становился все гуще, а Еруслан шагал и шагал как заведенный.

— Еруслан, — несмело сказала Илюза. Она глядела сбоку на его красивое тонкое лицо. — Еруслан...

— Ты что, сомневаешься во мне?

— Нет...

— Чего же ты беспокоишься?

— Говорят, у тебя было столько девушек...

— Поменьше бы ты прислушивалась к таким разговорам.

— Что бы ни говорили, верю-то я тебе...

Еруслан никогда не искал знакомства с девушками, они сами оказывались вокруг него. Ему оставалось только сказать первое слово, а слово, сказанное вовремя, — это заброшенный аркан. Девушки становились доверчивыми, старались предупредить его малейшее желание... Илюза тоже одна из них, он видит ее насквозь: мечтает о любви, о верности, мечтает всегда быть рядом с ним... Глупые девчонки...

Он не любил откладывать задуманное в долгий ящик. Еруслан жил сегодняшним днем, и он не собирался впу-

стю коптить институтское небо еще целых три года. Нет, он не согласен взирать на проходящую мимо жизнь сквозь двойные стекла институтских аудиторий. Недавно он разговаривал с одним своим родственником, директором продуктового магазина, и тот обещал устроить его на денежную работу. А где деньги, там и жизнь — это Еруслан знал точно. Учиться же можно и заочно. Диплом всегда пригодится, диплом — это хороший щит...

Тропа тянулась в самую глушь, и Илюза, едва поспевая за Ерусланом, уже не рада была, что согласилась на эту прогулку.

— Где-то здесь есть овраг, — Еруслан, остановившись, показал рукой в сторону. — Через овраг переброшен узенький мостик. Говорят, если пройти по нему три раза, исполнится любое твое желание.

— Еруслан, послушай меня...

— Это здесь, где-то близко.

Он свернул с тропинки и зашагал по хвойному насту соснового леса. Илюза тащилась за ним. Он вдруг остановился, расстелил на земле свой пиджак.

— Отдохнем, — улыбнулся он, — иди сюда. Сидеть всегда лучше, чем стоять.

Илюза почувствовала слабость в ногах. Садясь, она коснулась рукой Еруслана, и ее будто жаром обдало. Едва она успокоилась, как сильные руки Еруслана обхватили, обняли ее. Ей показалось, что дрогнула, закачалась земля под ней, и в тот миг она почувствовала его горячие губы на своих губах...

— Еруслан, Еруслан, — сопротивлялась она.

— Не бойся, ничего не бойся...

— Еруслан...

— Сколько я ждал этой минуты...

Илюза, растерявшись, не знала, что ей делать. Но и свалившийся в пропасть надеется уцепиться за куст. Отчаявшись, Илюза впилась зубами в щеку Еруслана, тот вскрикнул от боли и отпустил девушку. Она вскочила и, не разбирая дороги, бросилась бежать. Продиралась сквозь кусты, прыгала через ямы, сбилась с дороги и только час спустя увидела впереди огни.

Еруслан догнал ее уже на улице.

— Не вздумай сказать кому-нибудь об этом! — услышала она насмешливый голос.

— Что?! — вспыхнула Илюза. — Думаешь, меня некому защитить? Никогда не прощу тебе... никогда!

— Пожалуйста, — ухмыльнулся Еруслан, — можешь всем растрезвонить! Себя опозоришь, и только!

Илюза быстро шла по тротуару, и расстояние между ними все увеличивалось.

## 5. Вот и третья весна пришла

Весна, разукрасив зеленью улицы, не обошла и Дзеппу. По новому заблестели ее глаза, зарумянились щеки, стало нарядным вдруг ее простенькое школьное платье.

Дзеппа заметила, что она повзрослела. Эта весна разбудила ее первую девичью мечту, робкую, как ранние почки на вербах.

Одни и те же мысли утром и вечером, на уроках и переменах; одни и те же мысли рождали то грусть, то радость. Дзеппа искала уединения, ей хотелось побыть со своими мечтами. Она бродила по весенним улицам и каждый раз, сама того не замечая, сворачивала в переулок, который вел к общежитию, где жил Бечмырза.

Мать Дзеппы еще в прошлом году хотела познакомить-ся с ним. Она не раз говорила об этом. Надо, мол, испечь три пирога, нарезать курицу и навестить парня. Однажды она совсем уж собралась было, но какие-то дела задержали ее, и она все откладывала поездку в город.

Женщина не забывала о доброте незнакомого парня, почитала его как близкого человека, и все же сказала как-то дочери:

— Не ходи к нему больше. Может, последнее отдаст... Да и большая ты уже... Неприлично это...

Слова матери стали, как плотина в русле реки. Девочка, не смея обойти препятствие, перестала ходить к Бечмырза...

Дней прошло столько, что из них можно было сложить несколько месяцев. Но наконец Дзеппа преодолела робость и отправилась в общежитие к Бечмырза. Краснея, она думала о том, что Бечмырза опять не станет разговаривать с ней, а, пошарив в пустых карманах, побежит

к друзьям занимать деньги. Нет, Дзеппа ни копейки не возьмет у него, она не позволит ему даже заикнуться о деньгах. Но сделать это нужно как-то так, чтобы и не обидеть его, и не вызвать усмешки. Дзеппе хотелось, чтобы он говорил с ней, как равный с равной...

Дзеппа глянула на окна третьего этажа, но не смогла вспомнить, которое из них показывал ей Бечмырза. И тогда она пожалела, что ни разу не постучалась в дверь его комнаты.

Кто-то высунулся из окна:

— Кого вы ждете, девушка?

Дзеппа, смутившись, повернулась и пошла к воротам.

— Это же сестра Бечмырза! — услышала она другой голос. — Бечмырза, твоя сестра пришла!

Дзеппа шла не оглядываясь, шла так, будто перекачница эта ее не касалась. Она остановилась, только когда ее позвал сам Бечмырза.

— Дзеппа! — крикнул он из окна. — Иди сюда!

Она покачала головой.

— Тогда подожди, я сейчас...

Она была уже у ворот, когда он догнал ее. В руках его болталась авоська, набитая пустыми бутылками. Бечмырза улыбнулся Дзеппе. В светлых, широко открытых глазах его таилось удивление. «Как ты выросла, — говорил, казалось, он, — стала настоящей девушкой».

— Здравствуй, — сказал он, протягивая Дзеппе руку. — Ты что не появлялась так долго? Обиделась на меня?

— Нет, — она несмело глянула на него.

— Почему же не приходила? — он отпустил ее руку. Дзеппе показалось, слишком уж скоро отпустил.

— Не знаю, — пожалала она плечами.

— А теперь ты надолго исчезнешь?

Девушка опустила голову.

— Ну, Дзеппа, — улыбнулся Бечмырза, — если бы за откровенность награждали, тебе бы ничего не досталось. — Он глянул вперед, потом назад. — На трамвае поедем или пешком? Нам до базара...

«Наверное, там принимают пустую посуду, — подумала Дзеппа и заволновалась: — Вдруг сунет мне авоську в руку, как маленькой, и пошлет на приемный пункт. Ни за что не соглашусь, ни за что».

— Чего ждать трамвая, — сказала она, — тут же близко. Они зашагали по улице. Бечмырза шел слева, и в пра-

вой его руке покачивалась авоська. Дзеппе уже не казалось, что он ведет себя с ней, как с ребенком, но ее раздражала эта болтающаяся между ними авоська. Они бы смотрелись куда лучше, если бы он взял ее под руку; сердце девушки испуганно заколотилось от этой мысли.

— Дзеппа!

Она вздрогнула так, будто нечаянно высказала то, о чем думала, и он услышал это.

— Знаешь, как выглядит недогадливый человек!.. Уши у него заложены ватой, а видит он не больше, чем сова в полдень...

Дзеппа улыбнулась.

— Если ты никогда не встречала такого человека, взгляни на меня, — сказал он.

Она посмотрела на него, и ей захотелось повторить все те добрые слова, которые говорила о нем ее мать.

— Когда ты исчезла, только тогда я и подумал, что никогда не спрашивал тебя о твоей семье... Бабушка, наверное, скучает по тебе?

— Когда я была маленькая, она меня нянчила и баюкала. И брата моего, и сестренку...

— Мне показалось почему-то, что ты побавляешься свою мать...

— Нет, — улыбнулась Дзеппа, — она добрая.

— Никогда не причиняй ей горя. Она согласится одной водой питаться, лишь бы у тебя все было хорошо... Если будешь прислушиваться к ее советам, дорога твоя всегда будет прямой и легкой... А что она больше всего любит? — спросил он вдруг. — Какое кушанье?

— Она никогда об этом не говорит... Работает на консервном заводе, консервы делает из овощей и фруктов... А ест то, что бабушка на стол поставит...

— Дзеппа, тебе еще не надоели мои вопросы?

— Нет, не надоели...

— А почему ты ничего не рассказываешь об отце?.. Мой отец давно уже умер, а мне все еще кажется — вот приеду домой, а он возится во дворе...

— У нас нет отца...

— Нет в живых?

— Он ушел от нас...

— ...

— Как-то соседка показала мне его на автостанции...

Он держал за руку маленького мальчика... Живет с другой женщиной, в другом селе...

— И ты никогда больше его не видела?

— Однажды в интернате мне сказали: тебя ищет какой-то мужчина... Но я не вышла к нему. Я смотрела на него через окно, он долго стоял под окнами. Сердитый, мне показалось — он пришел ругать меня...

— Матери ты рассказывала об этом?

— Я ничего от нее не скрываю. Мама говорит: не бойся остаться голодной, бойся нечестного слова...

Приемный пункт размещался в подвале. Бечмырза спустился по каменным ступенькам крутой лестницы, глянул снизу вверх на девушку:

— Я сейчас...

Дзенпа, опустив голову, пересекла улицу, свернула за газетный киоск, остановилась. Ей казалось, что все вокруг знают, что она не просто так стоит здесь, все смотрят на нее и осуждают. И, вспыхнув от стыда, она сорвалась с места и бросилась бежать...

Бечмырза, будто из-под земли вынырнул, выскочил из подвала, огляделся. Постоял на тротуаре, пожал недоуменно плечами и пошел потихоньку в сторону общежития.

## 6. В сумерках

Было довольно светло, уличные фонари еще не горели. Поравнявшись с Бечмырза, вдруг резко затормозила и остановилась, приткнувшись к тротуару, машина. Распахнулась дверца:

— Бечмырза!

Из машины вышла женщина, тепло, не по погоде одетая. На ней было пальто, толстый шерстяной шарф, вязаная шерстяная шапочка.

— Добрый вечер, — сказала она.

— Илюза?! — удивился Бечмырза. — Ты?!

— Да, — грустно улыбнулась она. — Вот, выползла...

Он стоял и смотрел на нее, а думал все еще о Дзеппе. Дзеппа поразила его сегодня. Он понял, что она приходила вовсе не за деньгами. Бечмырза было приятно думать об этом, и вечер, казалось ему, нес в себе какую-то теплую, тихую радость...

Илюза же... Бечмырза не надеялся встретиться с ней. Он знал, что дороги их когда-нибудь сойдутся снова, но почему-то был уверен, что произойдет это не скоро, и, думал он, чем позже, тем лучше.

Бечмырза нехотя протянул ей руку и смутился, поймав, что она заметила это.

— Как живешь? — спросил он. — Как здоровье?

— Какое там здоровье? — ответила она.

Рука у нее была влажная и холодная, каждая косточка прощупывалась в ней, каждая косточка... Илюза отдернула руку, сунула в карман.

— Лучшее средство от болезни — это бодрый дух...

— Бодрый дух, — насмешливо покачала головой Илюза. — Сегодня я видела во сне свой погребальный парад... Все такое светлое, красивое...

Сколько времени прошло? Шесть, может быть, семь месяцев. В прошлом году, в конце осени, она еще ходила в институт. Никто и не слышал о ее болезни. В одну из суббот Илюза еще сидела на лекциях, а в понедельник ее уже не было... Она-то, конечно, знает все, что о ней говорили. Разное говорили — и черное, и белое. Больше черного. Но Илюза не знает, наверное, что и Бечмырза слышал эти разговоры. Один слух порождал другой; слухи, как снежный ком, катящийся с горы. Илюза — свеча, а слухи — это ветер, погасивший огонек. Илюза — родник, а слухи — это обвал, заваливший его...

— Главное — не падать духом,— сказал Бечмырза.

— Спасибо,— улыбнулась она.— Я верю в твою доброту... Но что это мы все обо мне? Расскажи, что нового в институте? Как там наши девушки?

— Разве ты не заходишь в общжитне?

— Пока там живет твой сосед,— опустила голову Илюза,— ноги моей там не будет...

— Соседа давно уже нет. Я и забыл уже, когда он ушел. Учитесь теперь заочно.

Бечмырза слышал мельком о делах Еруслава. Кто-то видел его в Моздоке за прилавком магазина, в белом халате и белой полотняной шапочке.

— Ты не торопись, Бечмырза?

Усталое лицо девушки печально и бледно, как осеннее вебо. Глаза ее не светятся больше — тоска и отчаяние в них...

Илюза заметила, наверное, что он старается не смотреть на нее. Когда-то в глазах ее танцл утренний свет...

Бечмырза слушал ее голос и вспоминал ту Илюзу.

— Я к тебе с открытым сердцем,— сказала она.— У меня и родители есть, и родственников немало, но то, что я скажу тебе, никто из них не услышит... Знаешь, как в пословице говорится? «Бескрылый, а увязался за птицами». Так и я... Так оно и должно было быть, большего я не стою. Я никого не виню, кроме себя. Любила я твоего соседа, только не заставляй меня произносить его имени...

Говорили: Илюза поймала Еруслава, обработала его, и скоро они поженились. Затихли эти разговоры, начались новые: Еруслав заманил Илюзу в кусты, что там было — никто не знает, но оттуда они вышли порознь. Прошло немало времени, и снова разговоры: Илюзе пришлось изба-

виться от ребенка, потому что Еруслан знать ничего не хотел...

Бечмырза старался не слышать этих разговоров, делал вид, что это ему безразлично...

— Сколько раз я вспомнила тебя, — сказала Илюза. — Сколько раз... А тебе, наверное, даже думать обо мне было противно. Так мне казалось. Но теперь я вижу: ты веришь мне...

— Человеку нужно верить, Илюза, — улыбнулся Бечмырза. — Не переживай больше, чем нужно. Выздоровляй. Твое место в аудитории ждет тебя...

По худым щекам девушки текли слезы. Вытерев их белым платочком, она склонила голову:

— Спасибо, Бечмырза... Большое спасибо...

## 7. Пора экзаменов

Илюза трет ладонью усталые глаза, а строчки тянутся и тянутся одна за другой, и конца им нет. Девушке кажется, что она не читает, а поднимается в гору с тяжелым грузом на плечах.

Илюза уверена, что экзамены она сдаст. Она сдаст и эти экзамены и государственные, она знает — придет день, и ей вручат диплом. А сейчас она просто устала. Она много пропустила, пришлось наверстывать, заниматься дни и ночи. Она устала, строчки расплываются перед глазами, и думает она не о том, что прочитала только что, а о той весне, когда они шли с Бечмырза по улице, вспоминает белые стихи. Счастье тогда было совсем близко, стоило только протянуть руку... Меж той весной и этой годы выросли, как горы...

Из окна общежития Илюза видит ноги сидящих под акацией девушек, видит книжки на их коленях. Она следит за теми, кто входит в общежитие и выходит из него. Бечмырза еще не выходил, значит он дома. По утрам он ходит на стадион, пробегает несколько кругов по гаревой дорожке, подтягивается на перекладине, потом завтракает и с книгой под мышкой отправляется на берег Терека. И только вечером он ненадолго появляется на улице, прогуливается и снова усаживается за учебники.

Бечмырза сдает государственные экзамены.

...Сегодня он был один. Сначала все получалось так, как хотелось Илюзе: увидев его, она сунула книги в стол, покрутилась у зеркала в коридоре, стремительно сбежала вниз по лестнице...

Все эти дни она сторонилась его, хоть давалось ей это не так-то просто. Что ж, время покажет, время все расста-

вит на свои места... Но сколько должно пройти времени, прежде чем появится ясность в их отношениях? Илюза устала ждать. Она мечтала о встрече, она хотела знать, что думает Бечмырза, она надеялась...

Надо было устроить так, чтобы встреча их казалась нечаянной. Надо было совершенно случайно встретить его на улице.

Бечмырза вышел из общежития, прошагал через двор, задержался немного у ворот и двинулся вниз по улице. Илюза перебежала на другую сторону улицы и, постояв чуть, пошла следом за ним.

Бечмырза свернул на другую улицу. Илюза затаилась за углом, чтобы пропустить его чуть подалее. Когда она выглянула, у нее чуть не оборвалось сердце: Бечмырза шел назад, к ней. Рядом с ним была эта девушка, Дзеппа. Илюза повернулась, не помня себя побежала и спряталась за дерево.

Что она знала о Дзеппе? Сначала в общежитии говорили, что Дзеппа — его родственница. Говорили о доброте Бечмырза, о том, что он сам останется голодным, но последнюю копейку отдаст ей. А девушка между тем подросла, похорошела, и тогда заговорили о другом. Илюза слышала не раз: «Хитер Бечмырза, смотри-ка, невесту себе вырастил».

Илюза остановилась, стала издали следить за ними.

Да, видно, правду говорили в общежитии. Родственники так не ведут себя. Бечмырза и Дзеппа шли молча, не глядя друг на друга, шли, как люди, которых связывает не осознанное еще до конца, робкое чувство.

Любопытство толкнуло Илюзу, и она пошла следом за ними. Наверное, думают они об одном и том же, чувствуют одно и то же и ничего не замечают вокруг, будто никого, кроме них, в этом мире нет.

Сколько времени они идут, сколько улиц осталось позади? И Еруслана с Илюзой манили тихие улицы, безлюдные места. Спрячутся, бывало, за деревьями, и даже прохожих не замечают... Илюза хотела вернуться, но любопытство ее разгоралось, и она не могла заставить себя остановиться, она готова была вслед за ними и речку вброд перейти. Наверное, думала она, лицо у этой девушки огнем горит. Впрочем, какая она девушка, девчонка еще. Доверчива, наверное, во всем. А он сейчас остановит ее где-нибудь под деревом, обнимет, девочка попытается вырваться,

но не сможет разжать его руки. Руки его сомкнутся, как железные обручи.

«Если ты сделаешь это, Бечмырза, если ты сделаешь это, — шептала про себя Илюза, — кому еще смогу я верить? Слова твои проросли добрыми ростками в душе беззащитной девочки — не погуби их, Бечмырза, не погуби. Будь великодушен, иначе чьим же именем еще смогу клясться?!»

Бечмырза и Дзеппа остановились. Илюза тоже остановилась и, спрятавшись за деревом, следила за ними. Она смотрела на Бечмырза и боялась встретиться с его взглядом.

Они постояли немного, потом Бечмырза проводил девушку до трамвайной остановки. Дзеппа уехала, а Бечмырза вскочил в подошедший автобус. Илюза замешкалась, удивленная неожиданным поворотом событий, и, когда она подбежала к остановке, автобус уже ушел. Но Илюза не грустила. Она успела отметить, что Бечмырза не стал провожать Дзеппу, что они расстались просто, как добрые знакомые, не больше.

Илюза села в следующий автобус. Отлетели, забылись все тревоги, сердце снова согрелось теплом надежды. Девушке казалось, что автобус идет слишком медленно, что он слишком часто останавливается на перекрестках, а ей так хотелось догнать Бечмырза, встретить его возле общежития. Сейчас в глазах его можно было бы все прочесть. Когда рядом с ним эта Дзеппа, Бечмырза, наверное, тревожится, места себе не находит. Думает, наверное: «Ну, что мне с тобой делать? Ты хочешь летать, но ты ведь птенец неоперившийся. Сиди пока в гнезде, подожди, пусть крылья окрепнут. Меня ты можешь не бояться, но как бы не села ты на другую ладонь... Как бы не обломал кто-нибудь твои крылышки...»

Илюза не встретила Бечмырза. В ту ночь она не сомкнула глаз, думая о нем и о Дзеппе. О том, что Дзеппа — совсем еще юное деревце, но пусть бы это деревце росло себе в другом месте...

## 8. Трудный разговор

Илюза не знала фамилии ее, не знала, откуда она родом, спросила наугад у одной девчонки:

— Дзешпа мне нужна. Она здесь у вас учится, не то в девятом, не то в десятом... Худенькая такая, чуть повыше тебя...

— Знаю, — улыбнулась девчонка, — позвать ее?

Илюза кивнула:

— Я здесь подожду.

Дзешпа вышла во двор, осмотрелась по сторонам, и Илюза поняла: не знает она ее, да и откуда может знать?

— Дзешпа, — Илюза попыталась улыбнуться, но улыбка получилась бледной, как пламя свечи в солнечный день, — ты пужна мне по одному делу... У тебя есть время?

— Да, — ответила, недоумевая, Дзешпа.

— Ойдем в сторонку.

Как неохотно она пошла!

— По-моему, ты не знаешь меня. Ты викогда меня не видела? — спросила Илюза.

— Нет.

— В твоём возрасте я тоже была не слишком внимательна, — заговорила Илюза. — Как мотылек была. Порхала беззаботно... А мотыльки, знаешь, не всегда отличают цветок от пламени... О чем это я? — улыбнулась она. — Знаешь, с каких пор я знаю тебя?

— Нет, — покачала головой Дзешпа.

— Как-то я проходила здесь. Года три или четыре прошло с тех пор... Твои подружки играли, а ты стояла в стороне. Ты почему-то стояла в стороне...

Илюза сбилась с мысли и замолчала. Сколько раз она представляла себе этот разговор, сколько раз веско и значительно произносила свои слова, но все это наедине с собой,

а теперь, когда нужно было говорить вслух, все получалось совсем иначе, и ей стало вдруг страшно, ей показалось, что она сама, своими собственными руками роет себе яму.

— Тот, кто приносит подарок человеку, — нерешительно продолжала она, — или чувствует свою вину перед ним, или чем-то обязан ему... Тому же, кто приходит с добрым словом, цены нет. Я ничем не обязана тебе и ничего хорошего для тебя пока не сделала...

Дзеппа слушала ее, безразлично глядя в сторону: ни интереса, ни удивления.

— Девушку можно сравнить со стеклом, — продолжала Илюза. Ее злило спокойствие Дзеппы, и ей захотелось почему-то обидеть девочку. — Если о грязном стакане когда-нибудь сказали, что он чистый, то и девушке что-нибудь простили... Сколько человек пройдет мимо девушки, столько и судей. Все знают все. Высчитали уже, сколько раз ты появлялась во дворе общежития, сколько раз тебя провожал тот парень, к которому ты приходишь...

— Что ж, мне и на улице пельзя появиться? — с обидой спросила Дзеппа.

— Мне от тебя ничего не нужно... Делай, как знаешь. Но помни — один неосторожный шаг и... пойдут разговоры. Такая, мол, юная, а, смотри-ка, с ровесником своего отца связалась.

— Я не сделала ничего плохого...

«Кто она? — думала Дзеппа. — Кто она такая? Может быть, сестра матери? Та вышла замуж очень рано и уехала куда-то на север... Может быть, кто-то из городских родственников, которых Дзеппа не знает еще? Но и сестра матери и городская родственница прежде всего назвала бы себя...»

Дзеппа устала от этого разговора, устала так, будто в ненастную погоду ждала, пока разгорятся сырые дрова, а дрова все не разгорались, и вместо огня лишь едкий дым валил от костра. Ей казалось, что слова Илюзы спутали ее, как паутина. Дзеппе хотелось вырваться, сказать что-то дерзкое, но то, что она могла бы сказать родственнице, здесь не годилось... Потом слезы комом подкатили к горлу; Дзеппу так и подмывало убежать и крикнуть издали: «Что ты ко мне пристала?!» Она и убежала бы, но ее остановила мысль: «А что, если она из нашего села? Что, если мать поручила ей проведать меня?»

— Никто не может сказать обо мне плохого, — едва проговорила она сквозь слезы.

— Если ты не виновата, нечего и переживать, — пожалала плечам Илюза. — Но люди все равно скажут что-нибудь... Когда парень и девушка находят друг друга, все следят за ними...

«Я уже взрослая, — думала вчера вечером Дзеппа, — я совсем уже взрослая». Она раздобыла пудру, напудрила чуть нос и щеки, провела по губам помадой, но тут же, засмутившись, стерла и снова провела — чуть-чуть, незаметно почти. Бечмырза, когда увидит ее, удивится и скажет: «Как ты выросла, невеста, и только!»

Бечмырза сдает последние экзамены. Он сдаст их и уедет в родное село. И Дзеппа хотела встретиться с ним: пусть посмотрит на нее, прежде чем уедет.

Нужно было придумать предлог для встречи, и девушка, явившись к Бечмырза, пожаловалась:

— Мне парень один проходу не дает... Пристает все время.

— Что за парень? — ни в чем не усомнившись, спросил Бечмырза.

— Не знаю.

— Чего он хочет?

— Спрашивает, как меня зовут, где учусь, где живу... Схватит за руку и не отпускает, пока не заплачу...

Весь вчерашний вечер они искали этого несуществующего парня. Дзеппа сворачивала то на одну улицу, то на другую, и если вначале она побаивалась, что Бечмырза разоблачит ее, то потом успокоилась и только удивлялась его открытому сердцу и доверчивости. Но, удивляясь, она понимала, что он не простил бы ей обмана, никогда не простил бы, если бы узнал.

Они долго ходили по улицам — строгий, насупленный Бечмырза и Дзеппа — обиженная девочка. И, глядя на него, она поняла, что так и осталась для него маленькой девочкой, младшей сестренкой, не больше. Ей стало обидно, она заскучала, поникла, стала отвечать ему невпопад, спотыкаться на ровном месте... Вскоре они разошлись по домам.

— Ты и вчера с ним была, — слышала она голос Илюзы. — Хочешь, я тебе скажу, как его зовут? Бечмырза...

— Да, Бечмырза! — взорвалась Дзеппа. — Я люблю его, и никому до этого нет дела!..

## 9. Последний день

Илюза потеряла покой после этого разговора. Даже по двору общежития не могла пройти лишний раз — все ей казалось, что где-нибудь там, в тени акации, стоит Дзешпа. По улицам Илюза ходила крадучись, поминутно оглядываясь, боялась столкнуться нечаянно с ними, с Дзешпой и Бечмырза. Ей явственно представлялось, как Дзешпа, прячась за спину Бечмырза, покажет на нее: «Вот она, та, что приходила в интернат».

Невесело размышляя об этом, Илюза вышла из общежития и, опустив голову, торопливо зашагала через двор к воротам.

— Илюза! — услышала она и, узнав голос, испуганно остановилась. — Илюза!

Она посмотрела вверх, на окно, из которого последний раз ее ошаривал еще Еруслаи.

— Подождешь? — улыбнулся Бечмырза.

Илюза кивнула, отошла в сторону, достала из сумочки зеркальце — лицо бледное, глаза лихорадочно блестя. Привычным жестом поправила волосы. «Ну, ну, — пыталась подбодрить она себя, — чего раскисла? Он ведь дорожке всех для тебя»...

— Сколько мы с тобой не виделись, Илюза?! — улыбнулся Бечмырза, протягивая ей руку. — Здравствуй...

— Здравствуй, — сказала она.

— Я уж было решил, что ты уехала домой.

— Нет, я здесь... И ни от кого не скрывалась, между прочим.

— Да, — смутился Бечмырза, — если бы я искал тебя, конечно, нашел бы...

— Я не об этом...

— Слушай,— оживился он.— Бечмырза, твой хороший знакомый, окончил институт... Неужели ты не хочешь поздравить меня?

— Ты первым зашел на последний экзамен,— сказала Илюза.— Первым ответил... В коридоре тебя окружили. Поздравляли, спрашивали о чем-то. Какая-то девушка потянула тебя за рукав, отвела к окну. Ты стал объяснять неловкий ей вопрос...

— Почему же я тебя не видел?

— Я стояла в стороне.

— Прости, Илюза, радость сделала меня слепым. Знаешь, я представляю себе, как приеду домой. Никто ведь руку мне не протянет, никто не обнимет — все бросится смотреть диплом. В нашей семье диплома еще не было, это первый...

Илюза отвернулась, вытерла повлажневшие глаза:

— Жаль, что я отстала от вас...

— Не грусти,— улыбнулся Бечмырза,— оглянуться не успеешь, как год пролетит.

Их обогнали какие-то парни с чемоданами, рюкзаками и связками книг.

— Завтра я уезжаю,— задумчиво сказал Бечмырза.

Илюза печально глянула на него:

— Не торопись... Когда еще приедешь в город...

— Не могу, сердце домой рвется...

Илюза остановилась, увидев, что они идут прямо к знакомому ей интернату, что они обязательно должны пройти мимо него.

— Что ж, Бечмырза,— протянув руку, сказала она,— счастливой тебе дороги.

— Быстро же я тебе надоел!

— Мне нужно зайти в одно место... Дела...

Никто из них не решался сделать первый шаг.

— Так вот разойдемся и никогда больше не встретимся? — спросил Бечмырза.

— Кто-то будет вспоминать прошлую весну,— Илюза теребила платок,— а для кого-то она только придет...

— Сказавший «а» должен сказать...

— Что говорить? — пожала она плечами.

— Ладно уж, выкладывай...

— Может быть, встретимся когда-нибудь, тогда и поговорим. А теперь давай прощаться...

— Не знаю, — сказал он, — наверное, мне было бы легче, если бы ты сейчас ударила меня...

— За что, Бечмырза? Ты ведь чист, как родник.

— Мне с той еще весны слышатся мои слова... До сих пор еще краснею, как вспомню их...

— Твои слова были, как отборные зерна, но упали они в мерзлую почву...

— Из неуклюжих слов я пытался сочинить белые стихи...

— Не надо, — покачала она головой. — Не надо...

— Не нашлось во мне силы, Илюза. Не смог я... Знал ведь Еруслана, но не сказал тебе, побоялся...

— Я не услышала бы твоих слов, я была слепа и глуха, как кукла.

— Я старался не видеть тебя. Не мог видеть тебя страдающей.

— Помнишь, что ты сказал мне однажды вечером? Твои слова вселили в меня уверенность... Почему ты сказал их? Пожалел меня?

— Нет, Илюза. Я отношусь к тебе так же, как той весной. Но теперь я не надеюсь на себя и не уверен в себе.

— Что было, то прошло... Настанет и твоя весна, Бечмырза.

— Без тебя мне пусто в мире...

— Не забывай, что твои слова запали в сердце юной девушки...

— О чем ты?

— Ее зовут Дзеппа...

Бечмырза оглянулся, будто кто-то стоял у него за спиной.

— Как ты могла! Зачем ты обижаешь мою маленькую сестренку?

— Не такая уж она маленькая, и не сестренка...

— Язык у тебя без костей!

— Ладно, ладно, — Илюза обиженно опустила голову, стала разглядывать пыльный тротуар.

Они стояли, а мимо шли люди. Люди говорили о чем-то, смеялись. Шуршали шины автомобилей. Красный, желтый, зеленый — вспыхивал светофор на перекрестке.

Красный, желтый, зеленый...

---

## Рассказы



## Начало биографии

У меня есть враг, лютый враг! В каком только обличье он не является ко мне! При нем я становлюсь мягким, как воск. Игольное ушко — моя бойница, яичная скорлупа — броня... Раздеть бы врага моего догола и отходить его красивой!..

Однажды, когда я был еще маленьким, парни и девушки собрались на площадке возле сельского клуба. Яркое светила луна, весело пела гармошка... На этой площадке мы обычно гоняли юлу. Хлещешь ее прутиком, и она крутится все быстрее и быстрее, шероховатости и пятна на ней исчезают, юла становится гладкой и блестящей, такой красивой, будто выточена на токарном станке... Тот, кто выходил в круг и плясал под гармошку, тоже делался похожим на юлу...

Мне очень хотелось посмотреть на танцующих, и я протиснулся между парнями, стоящими кругом и хлопающими в ладоши. Один из парней нагнулся ко мне, схватил за шиворот и поднял, точно котенка.

— Сейчас будет танцевать Гарцо! — торжественно объявил он.

Вот тогда-то мой враг и явился ко мне впервые. Вмиг оказался возле меня, зашептал на ухо: «Не соглашайся! Убегай! Опозорись ты с этим танцем!» Мне тут же представилось, как усмехнется гармонистка, как захохочут парни и девушки, даваясь от смеха, станут вытирать платочками повлажневшие глаза. Вырвался я — никто бы не смог меня удержать — и бросился наутек. Парень погнался за мной, слова его летели, как бульжники, ударили меня одно больнее другого. Я прыгнул через плетень, пробежал огородами, спрятался за сараем в своем дворе...

Вскоре улицы для меня и моих ровесников стали тесны, речные заводы, в которых мы купались, стали мелкими. Мяч можно гонять день, другой, третий, но на десятый он надоест тебе. Нужно было придумать что-то новое, и самым смекалистым из нас оказался Гаги... Вечерело, и потому, быть может, слова его казались особенно зловещими. Меня пробирала дрожь, мне хотелось, чтобы из дома напротив вышел хозяин, схватил Гаги и задал ему хорошую трепку... Гаги придумал испытание для меня, и замысел его был несложен, но и не так прост, как казалось на первый взгляд. Мне не хотелось ввязываться в это дело, но как только я встал, чтобы уйти домой, ко мне подскочил мой враг, подскочил и зашипел злобно: «Ты куда?! Трусом прослыть хочешь?!» В тот же вечер я выкопал в колхозном саду пару саженцев и принес их Гаги, который тут же посадил их на своем участке...

Саженцы, может быть, и принялись, но дружба наша с Гаги несколько приувяла. В это же время с кем-то поссорился и Батако. Он пришел ко мне, излил душу, я ответил ему тем же, и мы побратались. А дружба побратимов крепка, как крепостная башня, она свята, для нее мало одной жизни. Мы стали каждый день ходить друг к другу. Я узнал вскоре, сколько тарелок у них и ложек, а Батако мог с завязанными глазами найти все, что хранилось у нас в кухне. Как-то раз мы сидели за столом и уплетали пирог с сыром. Батако сделался красноречивым, он говорил, будто открывал передо мной какой-то сказочный мир. Будь у нас княжалы, мы бы в память о нашей дружбе оставили зарубки на дверной раме. Но дружба должна на чем-то основываться, и Батако, подумав, предложил:

— Если что-нибудь будет у нас — будем кушать у нас, если будет у вас — будем кушать у вас.

Я понимал, что этого недостаточно для настоящей дружбы, и уже собрался было сказать об этом, как откуда-то выскочил мой извечный враг, выскочил и зашептал на ухо: «Хватит тебе и этого! Не считай себя умнее других!..»

Один из моих одноклассников больше всего на свете любил читать. Едет в город — в руке книга, идет вечером за скотиной — берет с собой книгу. Как-то раз мы встретились с ним, и я спросил:

— Куда путь держишь?

— В библиотеку, — ответил он. — Решил устроить себе праздник.

И я устроил себе праздник. Принес из библиотеки книгу, ушел в сад, уселся под развесистым тутовником. Праздник мой был в самом разгаре, когда уши уловили легкий шорох. Я замер, прислушиваясь. Вокруг было тихо, мир, напоенный зноем, дремал. Но едва я перевернул очередную страницу, комок земли больно ударил меня по руке, и в тот же миг возле меня возник Кима. Презрительно усмехаясь, он процедил:

— Дезертир! Уткнулся в паршивую книжку! Ну-ка, бросай свое чтение и пойдем!..

Я хотел оборвать его, но меня остановил мой лютый враг. «Не обижай, — зашелестел он, — человек к тебе с добром пришел!»

И вот я плетусь следом за Кима. Во дворе у них пир горой, и нас назначают виночерпиями. Мы на совесть выполняем свои обязанности.

Потом, когда часть гостей расходится, нас усаживают за стол. Я хочу увильнуть, спрятаться куда-нибудь, но старшие подбадривают меня:

— Ты же мужчина!

Я неумелой рукой поднимаю бокал... Почему не принято фотографировать человека в тот момент, когда он пьет свою первую рюмку?..

Этот день внес в мою жизнь большую тревогу и жгучую боль.

Я отправился вслед за хрупкой своей мечтой, перешагнул порог института, осмелился подать заявление, написанное собственной рукой. «Мечтаю стать строителем», — значилось в заявлении.

Может быть, мечта моя родилась на берегу реки. Из мокрого песка я возводил дома, похожие на наши сельские, и наградой за труд мне была радость. Но радость часто оказывалась такой же непрочной, как мои песчаные строения... Может быть, мечта моя окрепла, когда я увидел соседа-старика, который складывал каменную ограду. Камень ложился на камень, стена поднималась все выше и выше, и я боялся, что она рухнет, не выдержав собственной тяжести. Но ограда стояла, и я, удивляясь этому, стал испытывать ее. Бросил камешек величиной с воробьиное яйцо, потом булыжник, потом уперся в ограду плечом, навалился,

но она стояла, и тогда я поверил, что камень может липнуть к камню...

С того момента, как я подал заявление в институт, мой враг стал неотступно преследовать меня и каркать: «Конкурс, конкурс, конкурс! На одно место десять заявлений, — бубнил он, пророча несчастье. — Десять, десять...»

И вот я стою во дворе института, стою у доски, на которой вывешены результаты экзамена. «Ну, что я тебе говорил?! — торжествует мой враг. — Не знаешь ты математику... Неуд! Ка-кой позор!..»

Разлетелась, разбилась вдребезги моя хрупкая мечта...

— Гарцо! Гарцо!

Я лежал на берегу реки, зарывшись в горячий песок. Кто-то сильной рукой схватил меня за плечо, стал трясти так, что голова моя моталась, словно тряпичная.

— Гарцо, проснись!

Голос был бодрый, радостный и очень знакомый. Передо мной стоял мой сосед, окончивший школу два года назад. Он разделся, повалился рядом со мной на песок и стал рассказывать:

— Еду в Москву в Энергетический институт... Может, ты ищешь работу? Иди на мое место...

Так я начал работать на ферме. Моя должность — скотник. Орудия труда — вагонетка, лопата, вилы и метла. Утром вывожу навоз и вечером тоже. Так изо дня в день — вчера, сегодня, завтра...

А дома на дне чемодана лежит себе мой аттестат.

Махаю я лопатой, махаю вилами, а доярки насмешничают, задирают меня. Как-то одна из них прибегает и сообщает:

— Гарцо! Тебя вызывает заведующий! Поторопись...

Открыл я дверь, вошел в кабинет заведующего и остолбенел, будто в сказку попал — такую красавицу увидел.

— Что же вы остановились? — улынулась фея. — Входите.

Я так растерялся, что не смог слова вымолвить. Поглотался на месте и вышел из кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь. Но околдованное сердце мое осталось там, оно больше не принадлежало мне... Будь я сказителем — я сложил бы об этой девушке песню, будь я художником — языком красок поведал бы о ней.

У феи было земное имя — Кати. Она проходила на нашей ферме практику. Приехала из города и остановилась у каких-то своих дальних родственников. Как только она появилась у нас, среди молодых доярок начался переполох. Они стали сооружать немыслимые прически, наряжаться в пестрые платья, рабочие косынки заменили легкими, как весенние облака, платочками. И все же нашим девушкам далеко было до гостьи, и они завидовали ей, и с наслаждением, словно скороговорку, повторяли слово «стиляга». Одна из доярок никак не могла дать кличку корове. С приездом красавицы безымянное животное стало зваться Стилягой.

Но Кати не обиделась на доярок. Она надела простенький халат и стала работать наравне со всеми. А я следил за каждым ее шагом, любовался ее лучистыми глазами, и все обыденное казалось мне праздничным. Я искал слова, достойные ее слуха, но никак не мог найти их. Возле нее я робел, делался молчаливым, готов был сквозь землю провалиться. Я старался никогда не оставаться с ней наедине...

Недалеко от фермы был маленький пруд. Вокруг него в три ряда росли старые тополя. Здесь было мое убежище. Я усаживался в тени, раскрывал книгу, но... мысли все мои были о Кати. Я сидел и думал, что практика ее скоро кончится и она навсегда уедет от нас.

Как-то раз мне вспомнились слова Кима. Кима, друг моего детства, после восьмилетки поступил в педучилище, а любимым его занятием стало фотографирование. Увидит человека — щелк — карточка готова, новый человек — новая карточка... Недавно он рассказал мне, как бы сообщая самую приятную весть:

— Я часто устраиваю выставки из своей коллекции... Для девушек... И они больше всего любят разглядывать твой портрет. Не веришь? Клянусь честью!

Слова Кима я принял, как тайный подарок. Стащил у доярок зеркальце, повернулся лицом к солнцу и стал разглядывать себя. Я так увлекся, что не заметил, как ко мне подошла Кати.

— Хорошо здесь, прохладно, — сказала она тихо, но мне, застигнутому врасплох, голос ее показался громким, как шум водопада.

А она стояла рядом, так близко, что я мог коснуться ее рукой, и я снова не знал, о чем говорить, стоял, как пень, пряча за спиной зеркальце и глупо ухмыляясь.

— Сыграем? — улыбнулась она, достав из кармана миниатюрные дорожные шахматы. — Люди говорят, что Гарцо — настоящий гроссмейстер...

— Если со мной играть без ферзя, я могу сойти за Петросяна, — осмелел я.

Мы уселись в тени под деревом, и радости моей хватило бы на весь мир...

Как жаль отрывать листки календаря! Я отворачивался, когда доярки срывали их. Один за другим, один за другим... Срывал их и Гаги. Тот босоногий, юркий Гаги, который так любил чужие сады и огороды...

Однажды, когда я катил вагонетку, нагруженную доверху жмыхом, меня окликнули.

— Гарцо, тебя парень какой-то ищет!

Там, где листья тополей серебрились в ярких лучах солнца, на берегу пруда меня ждал Гаги. На нем была белая нейлоновая рубашка с засученными рукавами и расклепанные брюки.

— Салют ветерану трудового фронта! — бодро выкрикнул он и протянул мне руку, на которой было вытатуировано его имя.

Тропы нашего детства давным-давно заросли травой, но детские клички не забылись. Тогда мы звали Гаги «агрономом», потому что он мечтал владеть своим собственным садом, собирался выращивать фрукты... Что такое талант? Мне кажется — это умение видеть не только то, что перед глазами, но и то, что скрыто от взгляда... Когда я смотрел на спелое краснощекое яблоко, у меня текли слюны, когда на это же яблоко смотрел Гаги, ему слышался звон монет....

Колхозный сад каждый год пополнялся новыми саженцами. Но один из десяти саженцев всякий раз пропадал. Темные ночи крепко хранили тайну. А саженцам все равно, в какой земле расти, тем более что Гаги умел ухаживать за ними. Он берег свой сад и от людских глаз, и от вредных козлят, — сад был обнесен высокой оградой, по гребню которой тянулась колючая проволока.

— Я к тебе с великой просьбой, — сказал Гаги. — Только ты мне можешь помочь.

— Чем может простой скотник помочь агроному? — пожал я плечами.

Гаги не понравилось, что я назвал его агрономом, и он

обиженно напомнил, что работает строителем. Действительно, как я мог забыть, что Гаги ведь уже два года как живет в городе и работает арматурщиком.

Я ждал, когда он выложит свою просьбу, но Гаги не спешил. Он, будто карманы мои выворачивал, расспрашивал обо всем: сколько раз в день я беру в руки метлу, сколько кормов перевозжу на вагонетке, сколько лет своей жизни собираюсь посвятить коровам? Потом он выпрямился, как восклицательный знак, и глаза его восторженно засияли.

— Все знаю, все,— сказал он, как бы укоряя меня.— Сюда в тень тополей приходит скотник и красавица-практикантка. Они склоняются над шахматной доской и забывают о времени...

Он повернулся к ферме и проникновенно зашел:

Эй, голубка,  
Краса гор!..

Глаза его погрустнели, затуманились, он склонил голову и заговорил:

— Я случайно увидел ее, и места с тех пор себе не нахожу. Не знаю, как заглянуть в ее сердце, как подступить к ней? И вдруг — о радость,— я узнаю, что Катя твоя родственница! И вот я перед тобой...

Каково мне было слушать все это?! Я стоял, не зная, куда деваться. Мне и уйти было неловко, и оставаться невмоготу. К счастью, со стороны фермы послышался гомс нашей доярки:

— Эй, Гарцо! Забери свою вагонетку, проход загородил!

— Черт возьми! — радостно воскликнул я. — Совсем забыл про нее!

Я бросился бежать, Гаги закричал мне вслед:

— Позаботься обо мне! Я на тебя надеюсь, на двух приеду!

Но «на днях» приехал не Гаги, а Батако...

С Батако наши пути разошлись давно. Он построил на краю села кирпичный дом с верандой, купил мебели, дорогой посуды и ковров, и понять его было не так-то просто... Окончив восемь классов, он уехал в город, долго не появлялся в селе, и я ничего о нем не знал. Потом стали поговаривать, что друг моего детства работает продавцом. А недавно в селе пронесся слух, что Батако купил машину, стал владельцем «Москвичка»...

И вот «Москвич» этот стоит в тени тополей, а его хозяин, глядя на меня, улыбается:

— Клянусь богом, тебя подменили! Что случилось с тобой? Куда ты пропал? Почему не приходишь к нам?

Я превратился в мишень, а он словно из пулемета строчил. Не замолкая ни на минуту, он вытащил из машины и постелил на траву клетчатый плед, уселся сам и меня пригласил.

— Знаю, о продавцах песен не слагают, — говорил он. — Что-то не помню я таких песен... Но нам и без них кое-что перепадает, — Батако глянул на меня, пытаюсь понять, видимо, как я отношусь ко всему этому. — Такие вот дела, — продолжал он. — Мой напарник уходит на пенсию. Думал я, думал, кем его заменить, прямо пзвелся весь. А вчера вечером вспомнил о тебе, и сразу спокойно и радостно стало у меня на душе...

— Мне не справиться с этой работой, — растерянно проормотал я.

— Не бойся, научишься, привыкнешь! Не боги горшки обжигают...

Батако испытующе смотрел на меня. Он ждал, что я загорюсь, запылаю, но я превратился в сырой пень. Меня нужно было сдвигать рычагом, и рычаг у него нашелся — Батако достал из машины бутылку, конфеты и пластмассовые стаканчики. Бутылка повернулась ко мне этикеткой — армянский коньяк с четырьмя звездочками.

— Слово имеет «капитан»! — возвестил Батако.

Коньяка мне пробовать еще не приходилось, только слышал о нем, и вот представился случай познакомиться. Пока я размышлял обо всем этом, Батако наполнил стаканчик, схватил меня за шиворот, и не успел я ахнуть, как мое знакомство с «капитаном» состоялось. Потом мы перешли с ним на «ты», и я стал мягким, говорливым и сентиментальным. Я уже открыл было рот, чтобы поведать другу детства о своей любви, но Батако, опередив меня, положил тяжелую руку на мое плечо и заговорил:

— Чувствую я, пришло мое время... Пора играть свадьбу, и я решил, что лучшего шафера, чем ты, мне не найти. — Батако приосанился. — А кто голубка, которая влетит в мой дом? Кто она? — он приблизил свое лицо к моему и прошептал: — Она находится так близко, что я слышу ее дыхание...

Я спросил, будто стрелял в упор:

— Ты пмешь в виду Кати?

— Я знал, что мы пойдем друг друга! — обрадовался Батако. — Ты будешь главным заправилой на свадьбе!.. А теперь скажи мне — одобряешь мой выбор? Только ничего не скрываай от меня... Что о ней говорят? А? Ведь даже в сплетнях кроется доля правды...

Вечером на ферме состоялось комсомольское собрание. Оно затянулось, и в село возвращались мы уже в темноте. Дороги хватало и для песен, и для шуток. Я и пел со всеми, и смеялся, но весело мне не было. Доярки, заметив это, взяли чесать языки:

— Не заболел ли ты, Гарцо? Или аппетит у тебя пропал?

— Ну, и конкурс устроила наша Катя! Говорят, женихов, имеющих собственные машины, вместе с Батако стало пятнадцать!

— И наш поглядывает на нее! Только на что он надеется — непонятно!

Это в мой огород бросили камень.

От камня, который бросили в тебя, можно увернуться, от слова же — никуда не денешься. Слово ранит даже сквозь время...

В эту ночь я долго не мог заснуть. Пуховая подушка казалась мне жесткой, как колода для рубки дров. Едва я закрывал глаза, как мне представлялся длинный дом в конце нашей улицы. Вот я подхожу, осторожно открываю окно, кладу на подоконник алый тюльпан...

Нет, мне никогда не сделать этого, нет...

Среди ночи я вскочил с постели: мне приснилось, что Катя в белом свадебном платье входит в дом Батако... В отчаянье я выбежал во двор, прислушался.

Во весь голос хохотали серебряные звезды на небе.

Я вернулся в дом, устал на кровать...

Переделав все свои дела на ферме, я взял с собой учебник алгебры и пошел к пруду, в тень тополей. Впрочем, я знал, что заниматься не буду: задача, которую задала мне жизнь, была посложнее алгебраических. Я лег на траву, под-

ложил под голову учебник и закрыл глаза. Бессонная ночь дала себя знать, и я не заметил, как уснул.

Разбудили меня чьи-то шаги. Подняв голову, я увидел незнакомого парня, стоявшего рядом.

— Прости, что потревожил тебя, — сказал он.

— Это мне нужно просить прощения, — улыбнулся я, — улегся на твоей дороге.

Он смотрел на меня сверху вниз, я на него — снизу вверх. Парень шагнул — осторожно вынес вперед негнушующую правую ногу, пошатнулся, но левая нога тут же поспешила на помощь, и вся тяжесть тела пришлось на нее.

— Я присяду, пожалуй, — сказал он, виновато улыбувшись.

Он медленно опустился на землю, и я увидел такое, что забыть невозможно... Правая рука прищельца выпрямилась, как палка, и застыла, пальцы свело судорогой. Парень рванулся, словно пытаюсь спастись, убежать от надвигающегося кошмара, но было уже поздно... Так падает птица с перебитыми крыльями...

Руки незнакомца оледенели, холод их остудил мои ладони. Чтобы подбодрить себя, я представлял, как эти руки косят сено, держат штурвал комбайна или смычок фандыра...<sup>1</sup>

Я не заметил, как возле нас очутилась Кати. Теперь четыре руки сражались с болезнью... На четырех кольях можно сплести плетень, на четырех столбах — поставить дом...

— Ему лучше, — словно думая вслух, проговорила Кати. Она достала из кармана платочек, вытерла пот со лба незнакомого парня. — Ему стало лучше...

Глаза незнакомца наполнились светом. Он долго смотрел в небесную синь, потом ясным голосом произнес:

— Вот я и пришел к тебе, Кати...

Радость озарила лицо девушки.

— Здравствуй, Керим, — тихо проговорила она.

— Вот я и пришел, — повторил Керим.

Слова его грели, как лучи весеннего солнца, и Кати вбирала это тепло, как мерзлая земля. Тепла было столько, что оно коснулось и меня...

Мы идем по дороге, я и Кати. Вокруг такая тишина, что

<sup>1</sup> Фандыр — музыкальный инструмент.

в ней гложут наши шаги. И кажется, что в тишине этой едва слышно звучит волшебная песня — может быть, где-то пастух играет на свирели?

— Знаешь, Гарцо,— говорит Катя,— я перед тобой в большом долгу. Ты даже не догадываешься, в чем дело... Я ждала Керима, очень тосковала,— она задумчиво улыбалась своим воспоминаниям...

...Отец Керима был лесничим. Сколько деревьев спас он от безжалостного топора! Дровосек, который сидит на арбе, полной дров, едет домой с песней. Тот же, кто возвращается из леса порожняком, прячет в сердце злобу. Лесничий не раз ловил браконьеров и штрафовал их, и кто-то в отместку пустил слух, что он накопил полный сундук денег и скоро уедет в город и станет жить там в свое удовольствие...

Лесник, как дерево, поваленное бурей, умер внезапно, оставив жену и четверых сыновей. Старшим из них был Керим, он и заменил отца. Парень стал работать в лесничестве и учиться в вечерней школе. Окончив школу, он поступил в институт. Там Катя и познакомилась с ним. Перейдя на четвертый курс, они решили пожениться... В то лето Катя уже не осмеливалась пробегать по двору босиком — она ждала сватов.

Но сваты не пришли в назначенную субботу. Не пришел они и на второй день, а на третий Катя узнала, что Керим, схватившись в лесу с браконьером, был ранен... Трудным был путь девушки от своего порога до больницы, в которой лежал ее жених...

Потом Керим уехал лечиться в санаторий, в Абхазию...

— Только не обижайся, Гарцо,— улыбнулась Катя,— во ты всегда напоминал мне Керима... Ты такой же застенчивый, немногословный...

Домой я пришел еще засветло. Умылся, переоделся и только прилег на диван отдохнуть, как увидел свой старый проигрыватель... Помню, соседки приходили к нам послушать музыку, я заводил им пластинки, ставил их одну за другой...

Едва я подумал о музыке, как перед глазами моими предстала та площадка возле сельского клуба, на которой мы гоняли юлу... Бледная луна осветила площадку, заиграла гармоника... Кто-то схватил меня за шиворот и поднял,

точно котенка... Прозвучал чей-то громоподобный голос:

— Сейчас будет танцевать Гарцо!..

Я вскочил с дивана.

С легким шипением кружилась пластинка... Пол в комнате стал скользким, как дорога в гололедицу... Кто-то мелькнул в окне... Это был мой давний, лютый враг... Как только я увидел его, ноги мои подкосились, а он, хихикнув, скрылся на мгновение и появился вновь. И не один — с ним была моя мать, соседка, еще одна соседка, еще одна, все наши доярки, фотограф Кима, садовод Гаги, продавец Батако, Кати и Керим... Враг мой снова хихикнул, и вслед за ним захохотали все собравшиеся у окна, захохотали стены комнаты, деревья во дворе...

Нет, враг мой, нет!

Я повернулся к окну и громко, чтобы на всю улицу было слышно, крикнул:

— Орц-тох!

Я заплясал, закружился, как юла...

## Пока катится колесо

Перед самой войной, в мае 1941 года, Хаджисмел получил отпуск и отправился в родные края. Из Ленинграда, где он служил, до Москвы Хаджисмел летел на самолете, из Москвы до Беслана ехал на поезде, в Беслане сел в полупустую машину и соскочил с нее там, где от шоссе отходила проселочная дорога. «Теперь придется подождать чью-нибудь арбу», — подумал Хаджисмел, огляделся, но не то что арбы — ни одного попутчика не увидел. Путь предстоял ему не близкий, времени терять не хотелось, и, вскинув чемодан на плечо, Хаджисмел зашагал по пыльной дороге. Ему казалось, что он и добежал бы до самого дома, и бег его был бы легок и неутомителен — ни капли пота не выступило бы на его лбу; и тяжести чемодана он бы не чувствовал, потому что давно уже не был дома. С тех пор как он последний раз вышел за околицу своего села, прошло столько времени, что младенцы, родившиеся тогда, уже привыкли слушать сказки. Хаджисмел, шагая, думал об отце, о матери, о сестре... Всякий раз, приезжая в отпуск, он заставал их живыми и здоровыми, но, уезжая, всегда тревожился: ему казалось, что родные, оберегая его, скрывают все неприятное, все свои заботы.

Дорога извивалась, как брошенная на землю веревка — то огибала курган, то ложилась в долину... По обе стороны дороги зеленело кукурузное поле, и в глубине его работали женщины, махали тялками, выщипывая сорняки, и они были так далеко, что, глядя на одинокого путника, вряд ли могли рассмотреть звездочку на его фуражке и ремень с портупеей. Хаджисмел знал, что за кукурузным полем начнется яблоневый сад, потом луга, потом орешник... Притомившись, он присел на чемодан. «Не может быть, чтобы по дороге не

проехала хоть какая-нибудь телега», — подумал он и в тот же миг услышал скрип колес. Из-за кургана появились две пары рогов, ярмо — арба, запряженная волами. Волы медленно переступали ногами, медленно жевали жвачку: возница сидел на доске, перекинутой поперек кузова, и дремал, надвинув на самые глаза широкополую войлочную шляпу.

Волы поравнялись с Хаджисмелом и прошли мимо. Он подхватил свой чемодан и, догнав арбу, обратился к вознице:

— Счастливой дороги, брат!

Возница нехотя повернулся, и Хаджисмел увидел его лицо — влажные, будто спросонья, глаза, давно небритые щеки.

— Клади свою ношу, — хозяин арбы кивнул на кузов и отвернулся.

Хаджисмел пристроил свой чемодан и двинулся за арбой. Он хотел сесть рядом с возницей, надеясь, что тот разговорится, но войлочная шляпа снова надвинулась на переносицу, и Хаджисмел так и не дождался приглашения. Радость возвращения понемногу угасала, сменяясь раздражением. Боясь, что ему придется плестись пешком до самого села, Хаджисмел зашагал быстрее и, поравнявшись с передним колесом, сказал:

— Дай-ка, сяду рядом с тобой.

Возница смахнул с доски соломинки и нехотя подвинулся.

Когда арба подпрыгивала на ухабах и Хаджисмел невольно прикасался к соседу локтем или плечом, тот отстранялся, недовольно ворча что-то себе под нос... Обут он был в самодельные чупьяки, подшитые сыромятной кожей, ветхие брюки его давно продырявились в коленях, и он прикрывал прорехи обветренными растрескавшимися руками. Хаджисмел чувствовал себя неловко, потому что хозяин арбы был, пожалуй, постарше его, но смущался, как ребенок.

— Что нового у нас? — спросил Хаджисмел. — Прости, может, ты не из нашего села?

— Я тебя знаю, — сказал возница. — Когда выгоняют на пастбище быка, которого откармливают к твоему приезду, то все только о тебе и говорят.

— В селе, наверное, откармливают не одного быка...

— Да, но тот, которого посвятят Хаджисмелу, выделяется в стаде...

— Мне стыдно признаться, но я не знаю тебя...

— Не знать меня — к лучшему.

— Каким же именем я назову тебя при встрече? — спросил Хаджисмел.

— Каким угодно, мне все равно.

Возница слез с арбы и пошел рядом, будто на колючки ступая.

— Обиделся ты на меня, что ли? — спросил Хаджисмел.

— Ноги затекли, вот я и решил размять их...

— На волах давно работаешь?

— Немошные волы мне достаются. А окрепнут чуть — их тут же передают другому.

Он не жаловался: слова, таящие обиду, звучат громче. Возница же говорил, будто вспоминал что-то давнее, почти безразличное ему.

— Рассердись однажды и никому не отдавай их, — посоветовал Хаджисмел. — Можешь так сделать?

Возница промолчал... Когда его волов передают другому, он тоже, наверное, отворачивается, стараясь ничего не видеть.

— А на лошадях ты никогда не работал?

— Когда отбирают моих волов, каждый раз обещают — скоро дадим тебе лошадей... Лошадь умна, слово понимает...

— И девушек на лошади умыкают! — улыбнулся Хаджисмел.

— И алам<sup>1</sup> на лошади проносят...

Возница оживился, в голосе его впервые прозвучали радостные нотки, и Хаджисмелу захотелось рассказать случай какой-нибудь, историю о лошади, и он вспомнил все, что слышал или читал. Поговорили о скачках, о джигитовке, и, когда возница поправлял шляпу, Хаджисмел увидел его сияющие глаза.

В это время их догнала быстрая четырехколесная бричка. Лошади с коротко остриженными гривами бежали, горделиво изгибая длинные шеи, высоко держа головы. Бричка, обогнав арбу, промчалась было мимо, но тут же остановилась.

---

<sup>1</sup> А лам — фрукты и сладости, напизанные на нить и подвязанные к шесту. По древнему осетинскому обычаю алам проносили скачущие по селению всадники в день поминования.

— Хаджисмел! — крикнул возчик.

— Батрадз! — отозвался Хаджисмел.

Они спрыгнули на землю, обнялись, закружились на радостях. Батрадз, остыв немного, бросился к арбе и схватил чемодан.

— Оставь, — запротестовал Хаджисмел. Он кивнул на возницу в войлочной шляпе: — Подпути мы проехали вместе, вместе доедем и до конца.

— О чем ты говоришь?! Садись скорее и помчимся в село!

— Поезжай сам и скажи моим — пусть накрывают столы!

Батрадз покачал головой:

— Ты что, побратался с ним?

— Нет, но доедем мы вместе, — ответил Хаджисмел и двинулся к арбе.

— Не знаю, что и сказать, — Батрадз сел в телегу и взмахнул кнутом. — Не нравится мне это...

Лошади рванули с места, и волы сами тронулись следом за бричкой.

— Садись, — позвал Хаджисмел своего возницу.

Тот даже головы не поднял, шагал и шагал следом за арбой. Хаджисмел вдруг вспомнил, что Батрадз никакого внимания не обратил на возницу, не поздоровался с ним и, более того, говорил о нем так, будто тот не стоял здесь же рядом.

Кукурузное поле кончилось, дорога вышла на луга, на пастбище, вильнула в сторону и устремилась к высокому кургану. Волы остановились, хотя никто их не останавливал. Возница грузно взошел на вершину кургана, повернулся лицом в ту сторону, откуда они приехали, и долго смотрел куда-то вдаль. Потом поправил на голове войлочную шляпу, подтянул штаны и стал спускаться с кургана. Как только он достиг дороги, волы, так же, без поучения, тронулись с места.

И снова вильнула дорога, повернув на этот раз к сельскому кладбищу.

Кладбище... Покрытые дерном низкие могилы. Резные каменные памятники... Волы опять сами остановились. Парень протянул в кузов руку, достал откуда-то из-под мешков горсть красных слив, положил в карман и пошел между могилами в самый конец кладбища. Остановился

возле одного из памятников и застыл. Долго стоял, потом нагнулся. Может, сливы положил на могилу?..

Когда он возвратился, Хаджисмел сошел с арбы и, опустив голову, произнес:

— Светлая память покойному... Прости, я ничего не знал о твоём горе...

Они молча шли по обе стороны арбы. Печаль возникшая передалась и Хаджисмелу, и от той радости, с которой он проснулся утром, ничего уже не осталось.

— Когда же случилось это несчастье?— спросил Хаджисмел, глянув на своего спутника через арбу.

— Все расскажут тебе,— ответил тот.— Даже спрашивать не придется...

— Кого не надо будет спрашивать?

— Тех, кто увидит нас вместе...

Въехали в село. Перед самыми рогами волоз завертелись, шая, босоногие мальчишки. Хаджисмелу казалось, что запрыгнут сейчас они в кузов и растащат все, что найдут в нем. А мальчишки сбегались, разбегались, возбужденно шушукались о чем-то, и Хаджисмел слышал свое имя.

На втором перекрестке он взял чемодан и, поблагодарив возницу, свернул за угол. Арба же продолжила свой путь и скрылась. Прошагав немного, Хаджисмел услышал мальчишечьи крики, потом тоненький ясный голос:

Дзыбын — обормот,  
Толстобрюхий бегемот!  
Дзыбын — дьявол, домовой,  
У Дзыбына глаз дурной!  
Сглазил он свою арбу —  
Тащит сено на горбу!

Что-то еще кричали мальчишки, но слов их уже нельзя было разобрать...

Три дня длилось застолье, звучали тосты, горел, не угасая, жаркий огонь в печи... Дети тянулись к Хаджисмелу, лезли к нему на колени, надевали на себя его фуражку, трогали петлицы... Старшие чествовали Хаджисмела, как героя, потому что он участвовал в боях у озера Хасан и на Халхин-Голе и отличился там...

Три дня длилось застолье, а на четвертый, когда все стихло, к Хаджисмелу пришли его ровесники, друзья, и среди них Батрадз... Мать снова накрыла стол, и закипело веселье, и словам приветствия не было конца, и наконец,

когда все утомились и успокоились немного, Хаджисмел сказал, обращаясь к Батрадзу:

— Мне кажется, что Дзыбын на тебя обиделся.

— Ты это на лбу его прочитал?

— Да, он не слишком словоохотлив...

— О чем же вы все-таки говорили?

— Да так, ни о чем... Он показался мне каким-то странным...

— Ты здесь не живешь и ничего не знаешь. Поговори с односельчанами, они тебе кое-что расскажут... Я раньше смеялся над их разговорами, но однажды и сам столкнулся с этим Дзыбыном... Обогрел его теплом своего сердца, поделился с ним пищей, и вот сели мы в арбу и поехали в лес. Там, на поляне, я накопил сена. И нужно было отвезти его домой... Дзыбын подавал, я складывал, и вскоре тронулись мы в обратный путь. Вдруг сено осело, повалилось на землю. А дорога-то была ровная, как вот этот стол!.. Стали мы опять грузить сено — Дзыбын подает, а я складываю. Я от злости чуть не лопалось, а он даже глазом не моргнул. Поехали наконец... Забегал я вокруг арбы, то там поддерживаю сено вилами, то здесь. Одну лошину одолели — ничего, реку переехали благополучно, но как только колеса покатались по ровной дороге и я отвлекся немного, чтобы пот вытереть, сено опять оказалось на земле!.. Но и на этом не кончились мои муки — едва мы въехали в село, как выскочили спицы левого колеса. А с левой стороны шел Дзыбын...

— А ты когда-нибудь до этого складывал сено? — спросил Хаджисмел.

— Сколько сена я заскирдовал — ты и во сне не видишь! — обиделся Батрадз. — Как-то с Дзабо они поехали в лес за хворостом, — продолжил он. — Дзабо всю жизнь проработал лесорубом, и никогда ничего с ним не случилось... А в тот день отсек себе топором пальцы правой ноги.

— У Дзыбына глаз дурной? — вспомнив ребячью дразнилку, улыбнулся Хаджисмел. — Сглазил он свою арбу, тащит сено на горбу?..

— Ты не смейся! — горячился Батрадз. — В глазах его — яд! В словах — отравка!.. Как-то раз зимой его послали с отарой в Кизляр. Чабаны в отчаяние пришли, увидев его, во председатель стоял на своем...

— Ну и что? — спросил Хаджисмел.

— Сулягные овцы повыкидывали, не доносив...

— От кого ты это слышал?

— Знаю, ты не веришь мне... Но можно ведь и других спросить. Каждый тебе скажет...

К любому и каждому Хаджисмел не стал обращаться и пошел к бригадиру...

Тот одной рукой ухватил руку Хаджисмела, а другой держал повод своего коня. Конь покусывал удила, будто пробуя на зуб их прочность, бригадир радовался встрече с гостем, а Хаджисмел не сводил глаз с коня. Дзыбын мечтал о таких вот лошадях...

— Пока не справим твою свадьбу, не отпустим тебя,— говорил бригадир.

— Свадьба тоже дело,— отвечал Хаджисмел,— но вот запрячь бы пару таких лошадок в бричку и промчаться во весь дух по селу!

— Пожалуйста, катайся на здоровье...

— Нашлись бы у тебя сейчас свободные лошади?

— Почему «нашлись бы»? Есть они у нас!

— Вот и отдай их Дзыбыну!

Бригадир оторопел.

— Сделай это, прошу тебя...

— Кто он тебе, этот Дзыбын?— пробормотал бригадир:— Родственник, что ли?..

Когда они в тот день сидели рядом на доске, перекинутой поперек кузова, Хаджисмел подумал: «Интересно, поглядывает ли он на кого-нибудь из девушек? Он ведь, наверное, не женат».

— Я кое-что знаю о нем,— сказал Хаджисмел.— Задумал он жениться, а девушка говорит ему: «Сватов ты сможешь прислать только в тот день, когда прокатишься по нашей улице на бричке, запряженной лошаадьми...»

— Девушка из нашего селения?— спросил, удивившись, бригадир.

— Когда Дзыбын пошлет тебя сватом, тогда и узнаешь...

— О девушке я ничего не слышал, но то, что Дзыбын мечтает о лошадях, мне известно... Только молва о нем дурная идет... В народе, знаешь, как говорят? Если люди в один голос утверждают, что ты слеп на правый глаз, зажмурь его и не открывай больше...

— И ты все принимаешь на веру?

Бригадир пожал плечами, вздохнул.

— Ты знал его мать?— спросил он.

— Может, и знал, не помню.

— Странная она была. Будто перепуганная. От людей отворачивалась. Уставится в глухую стену и смотрит, смотрит, будто взглядом хочет пробить в стене дыру... Часто ходила на курган, который за кладбищем. Многие и до сих пор боятся в сумерках пройти мимо него...

— Она давно умерла?

— Четыре года назад.

— Врач, наверное, как-то называл её болезнь?

— Поверили бы врачу или нет, не могу сказать, а вот в словах Гурджена никто не усомнился...

— Кто такой Гурджен?

— Старик. Совсем недавно умер... Он клялся, что однажды встретил Далимона...<sup>1</sup> Было это существо похоже и на женщину, и еще на кого-то... Волосы на нем были, как конская грива, глаза, как горящие угли. Схватило оно Гурджена за грудки, опалило огненным дыханием, сдавило железными пальцами горло. Когда старик очнулся, то увидел, что лежит у чужого плетня. Он так и пролежал всю ночь: если увидишь нечистого и зайдешь в освещенную комнату, станешь припадочным — так говорили истари.

— А Далимон, конечно, был похож на мать Дзыбына?

— Точно! Говорят, на второй день Гурджен в их дом привез мешок муки...

— Значит, я зря приходил со своей просьбой?

— Лошади есть у нас, но и охотников сколько хочешь, — покачал головой бригадир, — каждый, кто хоть день поработал на прополке, требует лошадей. Сам знаешь, какой у нас народ...

Тому, что говорили о Дзыбыне, не было ни конца, ни начала. Слова эти возвращали Хаджисмела в те времена, когда он бегал босиком по улочкам небольшого горного селения. Там, на клочке земли, равной шкуре быка, строили саклю, сеяли зерно. Там для людей было тесно, для чертей — просторно, и история Дзыбына, конечно, тянулась оттуда, из горной глухомани.

Хаджисмел спросил об этом у матери. Та, появив, о чем идет речь, растерялась, глянула умоляюще на сына:

— Нам обязательно нужно говорить о нем?

— А если Дзыбын зайдет к нам во двор, куда мы от него спрячемся?

---

<sup>1</sup> Д а л и м о н — дьявол, черт.

— Он же никуда не ходит!

— Неужели он откажет, если я приглашу его?

— Не делай этого, сынок! Дзыбын приносит беду! Он колдун!

— Что же вы терпите? Вынесли бы ему всем колкозом приговор, сожгли бы его на костре...

— Не смейся! — рассердилась мать. — Лучше послушай!

И она стала рассказывать о той давней жизни в горном селеции, о семье Дзыбына... С мальчиком, видно, что-то приключилось еще в детстве. По ночам он залезал в деревянное ведро, ведро переворачивалось и выкатывалось из дома, останавливалось на краю пропасти, расправляло крылья... Мальчик ходил по стене так же свободно, как по ровной дороге. Кто это видел? Никто. Но все раскрылось благодаря Тохсыру. Как-то пропал его осел, и он всю округу обшел, день искал, другой, и все напрасно. Однажды, возвращаясь после неудачных поисков домой, Тохсыр повстречал возле чертова омута мальчишку. Тот назвался Дзыбыном и сказал, что видел осла возле старой крепостной башни. Пошли они вместе, мальчик и Тохсыр. Мальчик шагал сначала легко, чуть ли не приплясывая, но потом с ним случилось что-то, и он повалился на землю. Тохсыр взял его на плечи и нес до самого села. Как только показались первые сакли, мальчик рванулся, спрыгнул и убежал. «Хватай меня за хвост!» — крикнул он на прощание... Возле старой башни никакого осла, конечно, не оказалось. Ночью Тохсыр зарезал черного козла — принес его в жертву нечистой силе, а утром зашел к Дзыбыну. Но родители мальчика и слова вымолвить ему не дали. «Наш сын, — твердили они, — уже целую неделю со двора не выходил»... С тех пор Тохсыр каждый год режет черного козла...

— Ну и дела! — засмеялся, выслушав все это, Хаджисмел.

— Ты ни во что не веришь, — рассердилась мать. — Всем перечишь...

— Мама, а где же сейчас Тохсыр?

— Он здесь живет, в нашем селе.

— А черный козел?

— Тоже здесь, пасется на пастбище.

— Тогда я сдаюсь! — Хаджисмел, улыбаясь, поднял руки. — Сдаюсь!

Во дворе Хаджисмела собирались люди. Девушки надели праздничные платья, кружевные платки, украшения. Мужчины жали руку Хаджисмела, чувствуя, что молодость их прошла и славные дни не вернутся больше. И они старались передать в рукопожатии часть своей былой доблести.

И вот наконец во двор зашел Тохсыр. Все повернулись к нему, почтительно склонив головы. За столом Тохсыр всегда занимал место тамады. Когда он произносил тост, все слушали, и все смотрели на него, а сейчас Тохсыр хотел пройти по двору незамеченным. Он хотел посидеть в тени, отдохнуть, но не успел. Кто-то подал голос:

— Тохсыр накормил своего козла, значит, и нам уже пора садиться за стол!

— Интересно, когда он будет его резать? Сколько зазубрин должно быть на его рогах?

— Кто ест козлятину — твои домочадцы или черти?

— Начали опять, — проворчал Тохсыр и ушел в сторону.

Настала наконец пора застолья. Теперь все слушали Тохсыра. Он восславил всевышнего и передал первый бокал Хаджисмелу. Тот, кому передают первый бокал, говорит слова благодарности, пьет и, снова наполнив бокал, возвращает его старшему. Это обычай предков, и не всякий решится нарушить его. Но Хаджисмел ждал этой минуты, он хотел говорить сейчас, когда все еще трезвые, и слова, которые он собирался высказать, тоже нужно было произнести трезвым голосом. Его мысли должны были стать такой же явью, как деревья, под которыми сидели старики. Если радость можно разделить, как пирог, на две половины, то Хаджисмел свою радость хотел разделить с Дзыбыном.

Все, сидящие за столом, повернулись к нему, все ждали слова, и бокал в руке Хаджисмела словно отяжелел. Хаджисмел встретился взглядом с Тохсыром. Тот покровительственно кивнул ему, приосанился, готовясь слушать, pokrutil правый ус, левый, и Хаджисмел чуть не прыснул со смеху. Чтобы не выдать себя, он прикрыл лицо рукой, но кто-то из старших все же одернул его:

— Как ты стоишь?!

— Простите меня, — Хаджисмел смущенно опустил голову. — Случилось недоразумение. Когда ошибается один человек, это не такая уж большая беда, но если ошибаются все... Прошу вас, уделите мне немного времени...

Слова Хаджисмела подняли людей из-за обильного сто-

ла и увели на двадцать лет назад, вернули в маленькое горное село...

Хаджисмел был любопытным мальчиком, и больше всего его интересовала дорога, связывающая горы с равниной. Тот, кто хоть один день проводил на равнине, видел столько всего, что рассказывал потом целую неделю. Хаджисмелу еще расти и расти было до того времени, когда он сможет пахать или сеять, но ему очень хотелось своими глазами увидеть борозду длиною от зарп до зарп. Хотелось ему всласть пабегаться по ровной земле, где и на спор не найдешь ни скалы, ни камня...

Люди уходили из ущелья. То в одной сакле, то в другой не загорался вечером огонь, со двора не слышался лай собак... Хаджисмел не решался подойти к деду. Свой секрет он поведал матери, она шепнула об этом средней невестке, а та — старшей. Вскоре желание мальчика стало известно деду. Узнав, что внук хочет жить на равнине, глава семьи нахмурился, велел дать Хаджисмелу хворостину и отправить его на гумно, погонять быков. Но Хаджисмел не сдался так просто. Однажды он увидел, как дальние родственники его грузят в арбу свой скарб. Они собралась в путь, и мальчик долго смотрел и наконец решился... Он знал, что просить бесполезно и, улучив момент, нырнул под арбу, лег на деревянную ось и крепко обнял ее... Когда село осталось далеко позади, мальчик выбрался из-под арбы, он не мог больше лежать на осп — так трясло его и колотило. Ни просьбы, ни слезы не помогли — родственники прогнали мальчика. Хаджисмел притаился за камнем, а потом двинулся следом за ними. Он долго шел и, когда решил, что его уже не прогонят, снова показался родственникам. Те выпущены были посадить мальчишку в арбу. Но радость путешественника была недолгой — навстречу им попала арба, едущая в соседнее село, и Хаджисмела пересадили в нее. Слезы мальчика были такими горькими, что чуть не выжгли борозды на его щеках... Вскоре полугчики, свернув к своему селу, высадили мальчика и сказали:

— Ты уже большой, что тебе стоит добежать до дома...

Уже смеркалось. Хаджисмел брел наугад по едва различимой дороге. Вдруг ему показалось, что за его спиной кто-то топчет. Мальчик оглянулся — никого сзади не было. Он прислушался, но все заглушал рокот бурлящей в ущелье реки. И тогда Хаджисмел вспомнил, что ему придется идти мимо Чертового оута. Люди рассказывали, что

он бездонный. Говорили, что с противоположного откоса черти ныряют в омут и достают из воды волшебные зеркала. Покажут тебе такое зеркальце, околдуют тебя и уведут с собой... Хаджисмелу хотелось плакать. Хоть от страха никакой силы в его руках не осталось, он все же поднял продолговатый острый камень, оцупал его грани и чуть приободрился, будто вооружился кинжалом. Потом ему снова стало страшно, он шел и завидовал соседским мальчишкам, которые сидят по домам возле печек и горя не знают. Вспомнилось ему, что он ушел из дому тайком, и Хаджисмел подумал, что там, наверное, уже подняли тревогу, и в его сердце родилась надежда...

На дороге показался призрак, и мальчик, трясясь от страха, спрятался в расщелину. Призрак приблизился, прошел мимо, и Хаджисмел, уверившись, что это не черт, а человек, пошел за ним следом. Шел, шел, а потом и голос осмелился подать:

— Возьмите меня с собой...

Человек, вздрогнув, оглянулся.

— Ты кто? — испуганно спросил он. — Что ты здесь делаешь?

— Ищу свою корову, — соврал мальчик.

— А у меня осел как сквозь землю провалился, — пожаловался человек. — Ты случайно не видел его?

— Видел, — снова соврал мальчик.

— Пусть всевышний наградит тебя! — обрадовался человек. — Где же ты приметил его?

— Возле крепостной башни...

Пошли они к башне. На вопросы своего спутника Хаджисмел отвечал уклончиво.

— Чей же ты сын? — насторожившись, спросил человек.

Мальчик назвал имя не своего отца, а человека, живущего неподалеку от них.

Когда они подошли к селу и все страхи остались позади, Хаджисмел пропустил своего спутника вперед, а сам бросился что было духу домой.

— Теперь лови меня за хвост! — крикнул он на прощание...

Через несколько дней отец отвез Хаджисмела на равнину. Мальчик окончил школу, поступил в военное училище... Хаджисмел улыбнулся Тохсыру и высоко поднял рог:

— Пусть беда обходит вас стороной!

На следующий день Тохсыр пригласил к себе своих ровесников-стариков, Хаджисмела и Дзыбына. Повалили черного козла и дали нож Дзыбыну...

Лошади бежали легкой рысцой. Дорога вилась вдоль реки, взбиралась на холмы, спускалась в низину и нигде не обрывалась... Лошади слушали песню колес. Иногда они слышали свист кнута и настораживались, но удара не следовало. Лошади не все пока понимали. У них был новый хозяин. Он то и дело останавливал их, разнуздывал и доставал из кармана золотистые зерна. Ладонь его была велика, но зерен на ней помещалось столько, что можно было почувствовать их вкус. Лошади жевали и прислушивались к тому, что шептал их новый хозяин.

И снова бежали они по бесконечно вьющейся дороге...

Хаджисмелу слышалась какая-то необычайно красивая мелодия. Может быть, это пело сердце Дзыбына? Кто знает, как проявляется человеческое счастье?

Хаджисмела собирались провожать на вокзал чуть ли не всем селом. Предлагали ему единственную в селе машину, но он поручил себя Дзыбыну. Хаджисмел не мог уехать, не возвратив ему долга.

Когда у дороги зазеленела молодая кукуруза, Дзыбын впервые глянул на Хаджисмела.

— Мальчишкам ничего не нужно, — улыбнулся он, — только дай им прокатиться в бречке.

— Я видел, как они гнались за нами, — сказал Хаджисмел. — Думал вот-вот запрыгнут в кузов.

— Тебя постеснялись, а то битком набиваются...

— Мальчишки любят лошадей.

Дзыбын помолчал немного, потом задумчиво проговорил:

— Если в тебя верит хоть один человек, то ты каждое утро можешь радоваться восходу солнца... Я всегда буду помнить о том, что ты сделал для меня. Буду помнить, пока катится колесо... Если бы жива была моя мать... — Дзыбын улыбнулся вдруг. — А отец мой больше всего на свете любил травы. На ощупь мог узнать каждую из них. Раны залечивал, исцелял больных. Люди благодарили его, но все же кто-то пустил слух, что он колдун... Рассказывают, что мать моя в молодости славилась красотой. Сватался к ней один человек из соседнего села. Родители ее были со-

гласны, и тогда мой отец похитил ее... Он часто ходил в лес, собирал травы. Однажды ушел и не вернулся... Мать по ночам выходила за село, ждала его. Днем шла на курган и снова ждала... Люди, встречая ее ночью, пугались. Кто-то со страху упал в реку... Чье-то колесо перестало катиться, чья-то корова перестала давать молоко... Я бы ушел из этих мест, если бы не был уверен, что правда когда-нибудь раскроется...

Лошади легко бежали по проселочной дороге. Колеса пели, и Хаджисмел, слушая их веселую песню, был спокоен и радостен. Он не знал, что поспеет в свою часть к самому началу войны, и долго будет идти ее трудными дорогами, и в заснеженных окопах, в дыму пожарниц — всюду будет вспоминать слова Дзыбына и мечтать о том, чтобы колеса всегда катились по мирной и доброй земле...

## Дорога

Холодно в степи, пустынно и ветрено, изморозь на земле, изморозь на сухих кукурузных стеблях. Коснешься стебля — будто ледяными иглами пронзит тебя. Мерзнут ноги, а сено в чучьяках свежее, нерастоптанное, но, может быть, и в сене изморозь, или протерлись шерстяные носки. Аузби не чувствует на себе одежды, весь он обернут, окутан холодом, ни ватник не греет его, ни брюки, ни бязевое белье, потому, наверное, что латок на них больше, чем звезд на небе. И уши замерзли. Надо размять, растереть их, он знает это, но руки окоченели, руки не слушаются его... А ветер несет, несет, швыряет жесткие ледяные иглы.

Слезы наворачиваются на глаза, расплывается, меркнет свет хмурого дня. Слезы напоминают мальчику давнее. Теперь, подпрыгнув, он касается рукой потолка своей комнаты, а раньше и со скамьи не дотягивался. Тогда отец еще был дома, он смастерил сыну лук и стрелу. Стрела — из конопляного стебля, наконечник — жестяной, лук — из гибкого вишневого прутика, тетива из сученой дратвы. Кто-то в сказке пускал одну стрелу, а возвращались к нему две, три, четыре. Стрела же Аузби воткнулась в потолок. Мальчик смотрел на нее, задрал голову, умолял ее вернуться. Она качнулась вдруг, высвободилась, упала и наконечником ткнулась ему в левый глаз. Что-то сверкнуло, будто порох воспламенился, вспыхнул и разлетелся искры; потом, открыв глаза, мальчик почувствовал, что левый зрачок как бы сдвинулся в сторону...

Радость несет Аузби.

Младший брат выбежит ему навстречу. Мать теплыми ладонями согреет его щеки.

Аузби знает — радость похожа на солдатскую со звезд

дой пилотку, на чурек с цифрой II — отпечаток горячих клещей, на зерно, выскочившее из ручной мельницы...

Дорога запутана, как бег мальчика, гонящегося за бабочкой. Дорога длинна, как полет осенней птицы; шаг Аузби короче и медленнее, чем мысль ребенка.

Если бы утром какая-нибудь подвода собралась в село, Елбызд не отправил бы мальчика в путь...

Как сладкий утренний сон, ласкают мысли Аузби... Елбызд, наверное, съел уже миску дзарна<sup>1</sup>; вот он отер потный лоб рукавом, поправил бороду — сначала левую часть ее, потом правую; сполоснул миску и воду вылил к законченной печке; присел на край лежанки, застеленной брезентом, стал вить веревочки из поскони, чтоб залатать сапетку. Потом он наденет старую замызганную шапку, скрипнет немазаная щелястая дверь, и сразу, перешагнув порог, Елбызд окажется в чистом поле. Посмотрит из-под ладони в ту сторону, куда вчера еще утром, оставляя глубокий след на дороге, укатила арба с плетевой наделкой и откуда вечером, подскакивая весело, должна была появиться. Когда Елбызд устанет смотреть в поле, мысли его оборвутся, схватит их ветер, унесет прочь. Потом появится другое, тревожное: встанут перед его глазами разбитые оглобли, лопнувший обод колеса, поломанный комут, перевернутая набок арба...

Аузби остановился. Ему показалось, что он, оглянувшись, может еще увидеть Елбызда. Он посмотрел назад, но след исчез. Мальчик понял, что прошел уже немало, и вотник теперь казался тоненьким, как тетрадный листок, и мешок, отяжелев, впился веревочными лямками в плечи.

Мудрее тот, кто больше видел. Елбызд предостерегал: не отдыхай на ровном месте — камень или яма где-нибудь да встретятся...

Старая колея, проложенная арбами, вьется по гладкой степной дороге, на которой не то что камня, даже камешка для рогатки не найдешь.

Аузби сошел на обочину, присел на корточки, опершись рукой о землю, качнулся, потеряв равновесие, упал на спину, на тяжелый свой мешок. И он увидел над собою небо, печальное, как осеннее поле, пустое, и понял свою ошибку. Дорога его, конечно, не оборвется здесь — он и в мыслях такого не держал — но мешок будто примерз к земле, его

<sup>1</sup> Д з а р н а — вареные зерна кукурузы.

нужно будет поднять потом, когда Аузби отлежится, и мальчик заранее знал, как трудно ему придется, как это будет мучительно.

По небу разбрелись мутные холодные облака. Но Аузби виделись и яркие, светлые полосы, похожие на зеленые огороды, умытые дождем, и он чувствовал мягкое тепло осеннего солнца.

Руки его отошли немного, и он мог теперь пошевелить пальцами, собрать их в кулак, выпрямить; хотелось пошевелить еще немного, закрыв глаза и не думая ни о чем, но ему показалось вдруг, что ноша его стала легче, и он сначала одну, затем другую высвободил из лямок руки, лежа потянулся к кукурузному стеблю, стоявшему рядом, сорвал сухой лист, сорвал другой, третий, крепко прижал их друг к другу, сунул под лямки, чтобы не так резало плечи, и он уже не чувствовал тупой, тянучей боли: боль снялась, исчезла. Но кто сосчитает, сколько раз он пытался оторвать мешок от земли, когда нужно было встать и идти дальше, сколько раз сверкало и гасло у него в глазах...

Если бы вчера вовремя вернулась арба, Аузби нес бы сейчас сапетку с кукурузой к куче. Это совсем недалеко — метров сто, может быть, двести. Подойди, стань рядом, и даже нагибаться не нужно, просто наклони сапетку, и с плеч не груз, радость падет. И снова метры эти отмеришь легкими шагами... Елбызд только улыбнется, если Аузби на три его початка бросит в свою сапетку один.

Когда Аузби не знал еще, что фронтные письма сворачивают треугольником, Елбызд объезжал поля верхом. Он бригадир, но ломает кукурузу вместе со всеми, потому что в колхозе теперь не две бригады, в бригаде не пять звеньев, в звене не двадцать пять человек. Если бы вчера вечером вернулась арба, кукурузу бы не стали рушить ночью... Когда Елбызд завязывал мешок, он мог бы взглянуть мальчику в глаза. Елбызд никогда не держал книги в руках, но по глазам, по лицу он читать умеет. Аузби не сказал, как страшно ему думать о дороге, как дрожат его руки, как слышится ему вой голодного волка, видится кто-то, выполняющий на дорогу. Слово, как спаситель, за словом можно спрятаться. Но не было в мире причины, которую уважил бы Елбызд...

Ноги Аузби отяжелели, шаги стали медленней и короче. Он слышит странные звуки, не степью рожденные, придуманные им самим.

Путь свой мальчик разметил заранее: засветло он пройдет через два села, ночь не должна его застать в дороге; как первые вечерние звезды, засветятся окна родного селения. Но эта картина, возникнув, будто резникой стертая, исчезла — половина дороги терялась во мраке ночи, и тогда он подумал, утешая себя: он вернется обратно на полевой стан и вместе с Елбыздом будет ждать возвращения арбы, будет ждать день, пять, десять дней, жажду вытерпит, голод...

Хрупкими, как осенние павшие листья, показались ему его страхи, и он не убавил шага, не оглянулся.

Кормильцем называют его. Слово это звучит нежно, когда его произносит мать, и совсем иначе, когда говорит Елбызд. Кормильцем называют Аузби, и он знает теперь смысл этого слова.

Елбызд станет громко проклинать войну и немцев, но что скажет он про себя, если Аузби вернется с полдороги? Что подумает он? Холодом повеет от него, неприязнью...

Счастье улыбнулось мальчику, встретился ему камень, замшелый, приземистый — такой не стронешь с места, и плуг его обходит стороной, и борона. Аузби опустил мешок, будто край теплого чурека отломил, будто вдохнул запах свежего хлеба. И подумалось ему успокоительное, радостное. Он помнил, что мысль не должна быть скороспелой, она должна утвердиться, как шаг идущего в атаку солдата, и он не торопился. Руки его устало легли на шероховатое тело камня. Представилось ему, как сосчитает он семь шагов, выроет яму. Кукурузное зерно не пачкается. Половину можно отсыпать из мешка и зарыть, и дорога тогда станет короче, и не нужно будет искать, как потерянные деньги, эти ямы, бугры и камни.

Он хотел было развязать мешок, но увидел буквы, когда-то написанные отцом. Буквы — А. У. С. — все равные по высоте, и после каждой точка. Первые две уже не такие ясные, как раньше, но прочесть их еще можно. Третья наполовину скрыта латкой. Если бы мать умела читать, она бы не закрыла букву, положила бы латку иначе.

Вспомнилось ему: недавно в лесу он вырезал на стволе липы буквы — А. У. С. Вспомнилось еще: как-то раз младший брат его разломил свою долю чурека на десять маленьких кусочков и стал выковыривать из них тертую репу, которую мать добавила в тесто. Аузби толкнул бы брата, отругал бы его, но синеватая полусырая начинка из репы

была так неприятна даже на вид, что его чуть не стошнило.

Вспомнилось это теперь, не раньше, когда Елбызд ругал отборные початки, и не тогда, когда полная арба покатила со стана, вспомнилось это сейчас, когда он собрался развязать мешок.

Аузби глянул на ту часть мешка, где стянется завязка, если половину зерна отсыпать. В этом мешочке мать носила солод на мельницу, и там он терялся среди других, гораздо больших мешков, терялся, будто в нем не было ни объема, ни веса.

И, словно упрек услышав, Аузби не стал рыть яму, не стал тратить времени. Он обрадовался, вдруг подумав, что мыши не доберутся подземными ходами до янтарных отборных зерен. И будто помог ему кто-то, одним махом взвалил он на спину свою пошу. И Аузби понял, что радость будет продолжительной, почувствовал это с первых же шагов, с первых же движений.

Вспомнилось ему и то время, когда они, деревенские мальчишки, играли в чижика. Каждая игра, как испытание, — кто красивее заточит концы чижика, чей чижик выше подскочит, кто отыщет красивее плитку или круглый, как мяч, камень. Забавам не было конца. Кто, интересно, первым придумал эти игры, подумал Аузби и позавидовал. Жаль, что хлеб, который нес он, не был таким легким и веселым, как игра в чижика. Тогда и дорога виделась бы до конца легкой, прямой...

Далеко впереди стояли, словно кто-то поднял их торчмя, две метлы. Аузби подумал, что должен был увидеть их раньше, и понял, что все это время он ждал их. Дорога тянулась к метлам и, казалось, уходила под них. Аузби услышал собак — тоже из-под метел — гав! гав! гав! Потом один раз — гав! И снова три раза. А мальчику слышалось, звенело в ушах — кау! кау! кау!

Мысль его парила легко, как ласточка: до тех пор пока метлы не увидятся тополями, нечего думать об отдыхе. Дорога проходит через село, и по улицам его надо шагать, не чувствуя усталости, будто не мешок за плечами, а охапка шерсти.

Он подошел совсем близко к селу, остановился у ручья. Чистая бегучая вода казалась вкусной, а юркие волны возбуждали в Аузби нетерпенье. Он смотрел на ручей и не мог

---

<sup>1</sup> Деревня, село.

насмотреться. Тут же улегся бы он на землю и стал пить — ни ведра не нужно, ни кружки. Но мальчик знал, что надо остыть сначала, и потому сдерживался.

Младшего дружинника из отряда сельской самообороны вспомнить бы ему потом, когда он уже встал и взвалил себе на плечи мешок. Но мальчик, сидя еще, вспомнил его неожиданно, как неожиданно рыба выплескивается из воды.

Этот дружинник обязательно встретит его. Аузби станет объяснять, будто документы показывать. Дружинник, и сам еще мальчишка, заговорит, поигрывая карабином, и слова его будут, как выстрелы. Аузби не хотел бы встретиться с ним, и он не знал, почему младший дружинник всегда нетерпеливее, вспыльчивее других...

Холодные дома прятались под заиндевелыми деревьями, мутными окнами смотрели вслед мальчику. Тропинка, как всегда, была протоптана не посередине улицы, а с краю, вдоль заборов. Старухи глядели на Аузби, козырьком прижав ладонь ко лбу, глядели, переговариваясь негромко.

Мальчишки, такие же, как он, и еще меньше, стояли на углу. Одеты они были не по росту, кто в чем, ватники и пальто на них, как бурки.

Не дойдя до окраины, Аузби остановился. Не потому, что вокруг никого не было, и не потому, что, прислонившись к тутовнику, можно было стоя отдохнуть. Он вдохнул теплый вкусный запах чего-то жареного. Этот запах, давно забытый, шел из дома напротив, из закопченной трубы, из окон, из каждой щели. Мальчик сглотнул слюну, вместе со слюной запах картошки на сале, и саму картошку тоже. Будто и не существовал никогда, как сквозь землю провалился младший дружинник. Аузби радовался, что никто не сможет догадаться, почему стоит он здесь, и никто не будет подсмеиваться над ним: просто человек устал в дороге, остановился передохнуть. Кусок чурека, который дал ему Елбызд, оттопыривал карман. Мальчик знал, что чурек черствый, твердый, как камень, и отломил чуть, не потому, что солнце клонилось к западу, и не потому, что раз за разом сглатывал слюну: слишком силен был запах жареного, и чурек вроде бы стал мягче и теплее.

Проглотив последний кусочек, он вдохнул еще и, тронувшись в путь, еще раз вдохнул запах жареной на сале картошки...

Гуси цепочкой переходили дорогу, шли куда-то к воде, шаверное. Свинья, тощая, длинномордая, с острой, как пила,

спиной, рылась в земле — корень пырея напрасно считает землю надежным укрытием для себя. Теленок со вздувшимся брюхом — рано отняли от материнского вымени — стоял понурившись. Аузби знал, что теленок к нему не подойдет, видел, что на лбу его нет белого пятна, но все же повернулся, позвал: годо, годо, годо<sup>1</sup>.

Дома у Аузби тоже есть теленок. Проведи рукой по шерсти — захочется еще раз провести, — весь он упругий, в коленях крепок. Как-то Аузби, шутя, потянул его за хвост. Теленок наострил уши, взбрыкнул ногами, потащил за собою мальчика...

Воспоминания разгоняют усталость. Будто угли под пеплом, светятся мечты.

Тогда в селе было еще спокойно. Никто не открывал дзери прикладом или носком ботинка, со двора еще слышался собачий лай. Мальчишки, ровесники Аузби, и другие, постарше, рыскали всюду, искали колеса. Подметенные улицы выглядели слишком гладко — ни следа воловьих копыт, ни следа подков. И вдруг из ворот выкатывают тележку. Сколько нужно тележек вместо одной арбы... И Аузби увлекся, бегал, искал колеса. Но колеса не валяются на прибрежной гальке, и мечты его возносились до горных вершин, до неба. И сейчас тоже — Аузби будто порог сказки перешагнул. Ему показалось, что он нашел колеса, сделал арбу, к длинным оглоблям прикрепил гладкое, как стекло, приятное на ощупь ярмо и запряг своего теленка. Груз расположил так, чтобы не перевешивал ни вперед, ни назад. Катится арба по дороге, подпрыгивает на комках. Аузби насвистывает песню.

Мальчику почудилось лошадиное ржание, и он поверил в это так же, как верил в свет угрюмого дня. Он даже услышал шум колес — когда оси обильно смазаны, колеса катятся без скрипа. Впереди никого не было и позади тоже, и мальчик никого не ждал, не думал и не надеялся на встречу. Сколько ему еще идти, трудно сказать, но скоро — приятно было верить в это — догонит его старик на подводе. Обгонит, остановится, послышится усталый старческий голос; Аузби ловко закинет свой мешок в кузов и, когда согласится сесть сам, вскочит легко, пружинисто. Старик будет петь песню о Таймуразе<sup>2</sup>, часто повторять какие-то

<sup>1</sup> Ласковое обращение к теленку.

<sup>2</sup> Легендарный герой.

слова и подпевать сам себе, понукать лошадь без нужды — нуа! Высохшую жилистую руку он положит мальчику на плечо и станет выпрашивать, не родственники ли они, нет ли у них общих знакомых.

Если бы Аузби оглянулся, он услышал бы тяжелые, как удары сердца, свои шаги. Но он не глянул назад, потому что тогда пришлось бы уйти из сказки. Тогда лошадь старика не была бы черной, как свежевспаханная земля, и шерсть ее не блестела бы, не лоснилась... Эту лошадь отец всегда запрягал справа, а другая, та, которую он запрягал слева, была пегая...

Заревой рассвет ушел в прошлое, затерялся в днях... Так рано Аузби никогда не вставал. Птицы пели одна другой краше, а восход полыхал, будто огромный костер. Аузби сидел рядом с отцом на доске, перекинутой поперек брочки и застеленной мягким войлоком. Щеки отца атели, как лицо ребенка, прибежавшего в дом с мороза; широкополая войлочная шляпа так ладно сидела на гладко выбритой отцовской голове — чуть набекрень, чуть сдвинувшись на лоб, — и шляпа тоже казалась алой. Отец держал вожжи, вытянув вперед сильные волосатые руки, и шел громко. Мальчику виделось: у Таймураза, о котором говорилось в песне, тоже были крепкие волосатые руки.

Какой простой и легкой казалась мальчику жизнь: кукурузные поля расстилались до горизонта, желтые пузатые огурцы кучами лежали на земле, а люди проходили мимо, не замечая их; дозорная вышка торчала до самого неба, и никто не боялся, что ветром свалит ее; ночью ли, днем ли, отец спокойно отправлялся в дорогу один...

Отец сказал как-то, что в колхозе не хватает земли и что им выделили участок в Сухой балке, а это далеко, и придется иногда работать там с ночевкой. Тогда Аузби не понял его...

Слева у дороги показался курган, голый, овальный. Мальчик еще не разглядел его как следует, но вдруг почувствовал запах родника, запах вспаханной по весне почвы. словно лысый этот курган превратился в арбуз и... лопнул, едва полосатой шкуры его коснулось острие ножа...

Курган приютил Аузби.

Мысли мальчика перенеслись в прошлое, перед ним возник соломенный шалаш, дозорная вышка поодаль — четыре столба, лестница, дощатый настил наверху, поручни, двускатная крыша. Там, где сейчас валяется сухая карто-

фельная ботва, лежали арбузы, грея на солнце полосатые животы, и их так много было — не сосчитать. Усатый сторож выкатывал из шалаша один арбуз за другим, один больше другого, выкатывал и улыбался. Отец, вынув нож, примеривается к арбузу...

Аузби увидел двух путников. Шли они в ту сторону, откуда пришел он; мальчик пожалел их, будто им ни за что не дойти, будто дороге их не будет конца... Мать в блеклом стареньком платке шла впереди с котомкой за плечами; сын нахлобучил на уши шапку, сжал кулаки, натянул на них рукава шерстяной рубашки, ссутулился. Наверное, он был голоден, он едва волочил ноги. Аузби ждал, что они свернут к нему, — не для того, чтобы расспросить, узнать, кто он, — женщина должна была сказать ему, что он засиделся уже, а путь не близок. Потом, показав на своего сына, она вздохнула бы с завистью: когда наш-то дорастет до тебя...

Мальчику показалось, что они очень быстро прошли мимо и быстро уходят, и он не мог сидеть больше, надо было вставать и идти.

Еле-еле, будто курган взвалил себе на спину, поднял он свой мешок...

Вдали показался лес — видны были только верхушки деревьев, темные, затуманенные дымкой. Дорога тянется по лесу подолго — на руках можно пройти шутя, раза два отдохнув, не больше, но мальчика страшит эта часть пути. Ему кажется, что ночь уже дошла до леса и скапливается там, как вода в запруде, чтобы прорваться потом, пасть на мир непроглядной тьмой, и спотыкайся тогда, вздрагивай перед каждым кустиком...

Вдруг померещилось мальчику, придумалось, что он не один, что рядом друзья. По правую руку его идет Ладе, долговязый, бледный — ребята дразнят его, что он сделан из воздуха; по левую руку — Горги, коренастый низкорослый, рябой. Идут они неторопливо, спокойно, будто несут из леса вязанки хвороста, а дорога прямая, ровная, где захочешь, там и оборвется. Аузби слышит то одного, то другого, слышит он и себя, слова свои. Горги показывает на кусты шиповника вдалеке — там они остановятся, отдохнут. Горги не очень-то верит, что сможет пройти столько, но поблизости ни камня, ни бугорка, ни кусточка. Ладе немногословен. Кивает себе головой и помалкивает, лишь изредка вставит словечко. Аузби соглашается — он не остано-

вится, пока не дойдет до шиповника. Не верить в себя хуже, чем увильнуть от борьбы, когда товарищи твои меряются силами где-нибудь на поляне.

Так они идут до конца — Горги слева, Ладе справа, а лес давно уже позади, и дня остается столько, сколько остается его, когда пастух пригоняет стадо в село...

Аузби сидел на земле, оперев мешок на старый трухлявый пенёк. Но и теперь, расслабившись, он помнил, что ему еще придется встать не раз и не три, и не десять... Мальчик вспомнил, что чурек еще должен быть в кармане, но нащупал лишь маленький кусочек, маленький, как истертая карандашная резинка. И хоть кусочком этим мальчик мог только раздражить себя, он все же нетерпеливо сжевал его.

Встав, Аузби удивился: не почувствовал тяжести мешка за спиной. Всему бы он поверил, но не этому, — что ноша его осталась где-то, что ноша его не при нем... В кармане ватника он нашел несколько кукурузных зерен, ощутил пальцами твердость их и прохладу. Эти зерна помогут ему забыться: пока согреются во рту, пока обдерут их передние зубы, измельчат корешные, он успеет отсчитать много шагов.

И хоть отдохнул он неплохо и было ему так легко вначале, будто показались впереди огни родного селения, усталость быстро возвращалась, хотелось снова присесть, посидеть. Колени словно огнем облизало, болели мышцы — вот-вот что-то в них оборвется...

Елбызд сказал, отправляя его домой:

— Возьмешь с собой немного кукурузы.

За спиной Аузби тяжелеет мешок, дорога превратилась в бесконечную веревку, копец которой привязан к мальчику; веревка ползет по камням, буграм, путается в бурьяне, в кустах. Аузби идет, идет, идет, и, если споткнется вдруг, ноги его подломятся, дорога оборвется.

Он вспомнил мальчика из сказки, вспомнил, как жалел его. Тогда Аузби сидел возле печки и слушал мать, а мальчику было трудно в сказке, и был он невелик и слаб, как Аузби. Сейчас, в эту минуту, кто-нибудь, может быть, Горги, может, Ладе, сидят у огня, а Аузби стал тем мальчиком из сказки...

Люди голодали: у них не осталось ни единого зернышка, в амбарах мышь бы ничего не нашла, нечем было даже сеять. Люди стали тихими и печальными, будто каждый смотрел в могилу. Судьбе угодно было: пусть самый млад-

ний из вас, самый маленький будет вашим избавителем. Кто знает, может, его тоже звали Аузби... Люди, произнося его имя, стояли у дороги, как свечи. Мать, словно кусочек хлеба давала, говорила это имя ребенку. Имя стало святым. Дорога Аузби была длиннее дум голодного человека; но пути его рушились горы, разливались, свирепели реки, но мальчик из сказки — тот, другой Аузби — выдержал, все прошел, потому что он нес жизнь, потому что он был маленьким и никто на него не надеялся...

Аузби, как дорогу перед собой, видел мальчика из сказки. Его тоже ждут люди — Ладе, Горги, мать, братишка... Час, когда он войдет в село, Аузби все тянул, откладывал; час, когда понесут его на руках, когда ему скажут какие-то особенные слова в благодарность за свет и радость, которые он несет, — об этом жалко было думать пока. Эту мысль он берег на потом, потому что опускались сумерки, и дорога впереди была видна не дальше того места, куда он смог бы забросить камень своей уставшей, слабой уже рукой.

Потом дорога разделится на две — впереди должна быть развилка, но Аузби думал, что это еще не близко, и когда впереди он увидел силуэты деревьев, ему стало так хорошо, будто перед ним неожиданно возник крайний дом селения. Два силуэта, две акации, два гонца, возвестивших: здесь дорога делится, здесь развилка... Та, что ответвляется вправо, незнакома мальчику; он должен идти прямо, в свое село, к младшему брату...

Аузби не мог не остановиться возле деревьев. Впервые он ясно увидел свой путь до конца, до самого порога.

Безмолвная степь простиралась вокруг. Он оглядывался в холодную мглу и видел... глубокие воронки по обеим сторонам дороги. Дрогнет земля, стекла посыпятся из окон, он оглохнет на мгновение и лишь потом услышит злобный рев самолетов. Ему придется снять мешок, высвободить руки, подойти к ручью. Он хватит воды пересохшими губами, смочит виски, промоет запорошенные землю глаза... Глубоки воронки по обеим сторонам дороги, в них может спрятаться какое-нибудь чудовище. Но Аузби не посмотрит туда, пройдет, не оглядываясь, он будет идти, идти, только идти.

Это было вчера, в сумерки, как сейчас, или чуть раньше. Когда мешок для мальчика был приготовлен, Елбызд сказал:

— Попробуй-ка,— вот все, что слышал мальчик от старика,— взвали-ка дорогу на плечи, всю дорогу взвали, хватит ли тебе дня?

Аузби не должен был встретиться с ночью в степи; Елбызд не отпустил его, если бы знал.

Теперь мальчик шагал наугад по едва заметной полосе дороги. Вскоре акации стали воспоминанием. Дорога пошла вниз, отсюда до самого села мяч прокатился бы без заминки. Идти стало легче, боль в ногах поутихла. И снова явью стало то летнее утро, когда Аузби с отцом ездил в поле... И другое... Мать сидит у печки, подбрасывает в огонь дрова. Все чаще она топит печь просто так, чтобы из трубы шел дым, чтобы люди знали — дом живет. И сколько дров ни тащи на себе, все не хватает, все мало. Яркое пламя бьется в печи, гудит, рвется наружу. Еще ярче радость матери.

В полдень через плетень улыбнулся им почтальон, остановился, заколотил в калитку весело, громко, часто. Младший брат выскочил из дому, подбежал к нему, крикнул что-то, но мать не разобрала слов; брат поднял тонкую руку к небу, а в руке, как горящий факел, треугольное письмо. И все вокруг засветилось, засверкало, слова уже ничего не значили: матери так легко, так хорошо стало, будто не три месяца, а только три дня ждала она этого письма. Яркие, радостные слезы текут по ее щекам, и она, смущенная, прижимает письмо к лицу; свое маленькое солнышко, своего младшего сына поднимает она высоко, целует...

Потом братишка бежит искать Ладе или Горги. А мать теплой ладонью разглаживает письмо, и буквы кажутся ей емкими, большими, и, глядя на эти буквы, она видит небритое светлое лицо солдата. Видит котелок, вверх дном поставленный на коленц, грязный измятый лист на котелке, огрызок карандаша... Перед взором солдата возникает сначала младший сын, потом Аузби, потом она.

И чудится ей не дым пожарниц и не пороховая гарь, а запах пропотевшей солдатской рубашки, не стиральной давно, очень давно не стиральной ее руками... Потом, как скупую радость, мать достала бы щепотку пшеничной муки, отломпла бы кусочек сыра от припрятанного где-то круга; три треугольных пирога<sup>1</sup> величиной с солдатское письмо появятся на столе. Младший брат, наглотавшись

---

<sup>1</sup> Три треугольных пирога пекут в торжественных случаях.

слюшны, станет часто повторять «аммен», прерывая молитву матери...

Дорога ползла нехотя, дорога петляла, хотела спрятаться. Аузби часто сбивался с пути, и он не хотел бы съесть весь пирог сразу. Сначала он снял бы верхнюю корочку так, как спимают ее с фыджина<sup>1</sup>. С верхней корочки он начал бы потому, что на ней меньше сыра, а нижнюю корку и крошки сыра на ней он бы съел после.

Аузби сбивался с дороги, потому что мать сидела рядом, глядела на буквы, будто умеет читать, и говорила голосом, полным радости и слез... Аузби упрямится: сколько раз он уже писал отцу, что дров у них достаточно, что в дровах нужды нет... Ноша его тяжелеет, тяжелеет... Аузби не хочет писать об этом. А если останется еще бумага, он положит на лист худую руку брата и обведет ее карандашом, рука получится чистой, белой, — отец не узнает про грязь под ногтями...

Крик петуха раздался в ночи — Аузби будто споткнулся об него, но тут же понял, что ему почудилось, и он не увидит света... Если бы лампа горела до петухов, кончился бы фитиль, и свернутая трубкой газета — продолжение разбитого стекла — покрылась бы копотью, а на следующий день со стеклянной банкой в руке мать обходила бы соседей, выпрашивая керосин.

Аузби снял со спины мешок, положил его на дорогу, лег и вытянул ноги.

Ему было жарко, и было так приятно коснуться ладонями холодной земли.

Казалось, что ветреное сегодняшнее утро было так далеко, как то летнее, заревое, когда он ездил с отцом в поле.

---

<sup>1</sup> Фыджин — пирог с мясом.

## Три солнца, три счастья

Будь я председателем сельсовета, я бы издал приказ, запрещающий женщинам таскать воду. А поглядите на наших девушек! На какую ни глянешь — словно луна и солнце разом светятся, а улыбки их прекраснее зари. Где пройдут наши девушки, там цветы поднимаются.

Истинно так!

О женщинах я начал говорить... Если собрались они вместе у родника, значит, в центре непременно Чызнал. Сказал бы, что летят они к ней, как пчелы к цветку, да не хочу душой кривить. Говорят, ей и в восемнадцать далеко было до цветка. Есть люди — хоть сто раз их увидишь, а лица не запомнишь. Но если Чызнал однажды попадетсЯ вам на глаза — будьте уверены, она навсегда останется в вашей памяти. Кто считал ее года? Как ни разглядывай — возраста этой женщины не определишь.

Бывает, что на мельнице кончается зерно или река мелеет, но словесный родник Чызнал не иссякает никогда. Больше всего на свете она любит шнырять по дворам. То, что услышит сегодня, пересказывать будет целую неделю.

Доходят ее сплетни и до меня: старуха моя старается. Выходит из дому порожняком, а возвращается с полным коробом новостей. Не нужно быть ясновидцем, чтобы догадаться — опять угодила она в паутину Чызнал. Когда моя старуха начинает болтать, я забиваюсь в угол, делаю вид, что занят чем-то, стараюсь ничего не слышать. А она мельтешит передо мной, и не дай бог заметит, что я не слушаю — язык ее становится острее бритвы. А разольется — хоть святых выноси...

Когда пришло время и стали мы готовиться к свадьбе младшего сына, старуха особенно волновалась, все прини-

мала близко к сердцу... Ожидание свадьбы похоже на ожидание счастья. Запасут араки, сварят черного пива, выберут самых тучных овец и тогда только вздохнут свободно — все, кажется, готово.

Не обессудьте, раньше я таким не был. Старость пришла. Слезы на глаза наворачиваются... Пусть ваши несчастья падут на мою голову... Три сына было у нас, три сельца. Старший корабли водил, в море чувствовал себя как рыба. Второй от предков унаследовал силу небывалую, богатырей на лопатки клал, танк ему подчинялся... Вон там, за селом, на кладбище их пустые могилы... Светом глаз моих были сыновья, почему же не погасли глаза вместе с ними? Когда говорят о войне, встают рядом со мной мои дети. Там, где сражаются за правду, там — мои сыновья...

И младший такой же. Вот он стоит рядом. Молчит, но хочет, видно, сказать что-то важное. Кто лучше отца поймет взгляд сына?.. Сегодня наш младший достойно носит фамилию своих братьев... Вот и готовили мы его свадьбу, равную трем свадьбам...

Искреннее слово должно доходить до самого сердца, как первый утренний вдох. Уж коли начал о старухе, все, как на духу, выложу... Не могу поклясться, что она, услышав новость, не добавит к ней своего узелка. Не знаю, откуда что берется, но ни одна из женщин не лишена этого таланта. В нужный момент моя старуха такие слова отыщет, как косой по лугу пройдет... А стряпает она... Да что хвалить ее стряпню — милости просим, заходите!..

Расскажу вам по секрету, как она готовилась к свадьбе. Когда-то моя мать сшила ей подвенечное платье, и вот взялась она по старым выкройкам шить наряд для своей будущей невестки. Ну, что тут сказать? Все светлое в мире — от книг, и частью этого света владеют наши дети. Звезды за гривы ловят, а мы пытаемся затолкать их в старые мерки...

Старуха у меня суровая, хмурая... Но она только со стороны такой кажется. Сердце ее переполнено любовью, да только она ничего напоказ не выставляет. Есть такие, что араку на собственной злости настаивают. Говорю старухе: «Вот где строгость бы твоя пригодилась». Отвечает она: «Моя арака другая». И действительно, выпьешь стаканчик — возрадуешься, вспомнишь старые песни, сбросишь полвину прожитых лет, танцевать захочешь.

Этой аракой старейшины нашего села благословили молодых...

Не судите меня строго, но для того, кто на свадьбу приходит ради своей утробы, торжество и кончается, как только встанет из-за стола. На нашей свадьбе таких не было, люди пришли порадоваться вместе с нами... А для меня этот день стал поводом счастья. Молодость вернулась ко мне. Сказочная птица спустилась к нам во двор и принесла в дом счастье.

А голос невестки звелел, словно ручеек. Голос ее — песня юности. Сказал бы вам, что я даже в бессмертие поверил, но боюсь, засмеете вы меня. А старикам ведь тоже хочется жить, ой, как хочется!..

Главной моей заботой после свадьбы стала старуха. Говорить я ей ничего не говорил, только взглядом упрасивал — ради бога, не обижай молодую. Не нравится тебе, как она кровать застилает, — поправь тайком, чтобы невестка не заметила; подметет двор не так — сама убери... Пусть не блекнет румянец на ее щеках. Распахни ей навстречу свое сердце, не пожалей самых нежных, самых добрых слов — тогда и ее взгляд будет ласковым и будет она стараться во всем угодить тебе...

Старуха моя поднимается с первыми петухами. Старается ухватить часть ночи и удлинить день... Подмигнул я сам себе — проведу старуху. Всю ночь донимал ее разговорам, даже вздремнуть не дал. Дело пошло к рассвету, а у меня ставни наглухо закрыты, окна плотно завешены... В это утро без ее понуканий слетели куры с насеста. Когда проехал городской автобус, она встрепелась, спрашивает меня: «Что это сегодня никак не светает?» Я молчу, будто и не слышу ее вопроса... Сколько времени было, кто знает? Я на часы не смотрел, а старуха встала, открыла окно и за голову схватилась — какими, мол, глазами я теперь на невестку посмотрю?! Опозорилась навеки!..

И еще раз подмигнул я самому себе: когда свекровь виновата перед невесткой, а не невестка перед свекровью — мир будет в семье...

Дни катились, как воды горной реки. Одна мысль омрачала душу: уедут молодые, и останемся мы одни. И старухе моей не слаще было. Как грамотей по книге, так я по глазам ее все читал. Сама хмурится, а в глазах скрыто такое... Другой и не понял бы, а я все вижу: «Эх, — думает она, — вынянчи сына, вырасти его, а потом хоть плачь —

только мельком его и увидишь». Упорхнут молодые, начнут жить своей, отдельной жизнью, а про стариков и думать забудут. Сын наш и до этого был не из тех, кто любит писать, а теперь уж и вовсе всточки от него не дождешься. И другое... Сейчас невестка всем хороша, а как-то дальше дело повернется? Вдруг начнет вертеть нашим единственным, и останемся мы, как на льдине...

Прядет старуха свои тревожные мысли, тяжкие мотки мотаает. А я и виду не подаю, что на душе у меня творится...

Новый член нашей семьи с одной стороны — невестка, и мы ее опекаем, как можем, с другой — инженер, тут и не знаешь, как подступиться к ней... Приходилось ей вмещаться в старухины мерки, стесняло это ее, я понимал. «Надо помочь ей,— думал,— надо помочь»... Взять хотя бы платок — причину раздора невесток и свекровей. Легче пуха он, а иной раз таким грузом навалится! И кто только выдумал, что невестка и в доме, и во дворе, и на улице — всюду должна быть в платке? А наша молодая даже повязывать его не умела, никогда не носила до этого, вот он и съезжал с ее головы, все поправлять приходилось. Не выдержал я как-то раз и громко, чтобы старуха слышала, говорю невестке: «Когда сядешь в автобус и он наберет скорость, высунь голову в окно, словно на бабушку нашу глянуть хочешь, а ветер этому платку живо найдет место»...

И еще одно беспокоило меня... Старуха моя души в невестке не чаяла, грелась под ее солнцем, а я в своем собственном доме шнырял, как вор полуночный. Ни выйти мне свободно, ни войти. Все с оглядкой, крадучись. Невестка все-таки. А я — свекор. Обычай требует строгих отношений, и старуха зорко следила за этим... Но в груди-то моей не трухлявый сучок и не кусок льда! Невестка мне родней, чем другим, мне и поговорить с ней, и посмеяться хотелось...

Думал я, думал, как это сделать, и наконец решил... Брат моей старухи не смог приехать на свадьбу. Заболел... А почтальон был моим старым приятелем, ну, и принес он телеграмму — так, мол, и так, если хочешь застать брата в живых, выезжай немедленно... Поехали мы. Прибыли. Встреча, радость... Только не поймут никак родственники, откуда взялась эта телеграмма. Я же держусь, как ни в чем не бывало. Уговорил старуху погостить у родных, распрощался с ней и к вечеру вернулся домой. Зашел к соседям, переоделся, надвинул на глаза войлочную шляпу так, что-

бы лица почти не было видно, сгорбился, взял в руки палку... А с сыном у меня был уговор — он должен был уйти из дому в это время... Слова застряли у меня в горле, когда невестка отворила дверь...

— Хозяин дома мне нужен, — пробормотал я. Потом, коверкая слова, объяснил, что, мол, кабардинец я, друг хозяина, повидаться приехал. Сумел обмануть невестку, обвел ее вокруг пальца.

— Нет его дома, — сказала она, — в гости уехал.

— Что ж, подожду, — ответил я, выбрав себе местечко в тени, уселся. Раз «друга» нет дома, значит, и говорить не о чем... Невестка же быстро накрыла стол, пригласила меня. Но едва я успел поблагодарить ее, как у калитки слышался голос моей старухи.

— Господи, — выругался я, — явилась! Никуда от нее не денешься!..

Так вот, дорогие мои...

Кончился отпуск сына, пора им было ехать на край земли.

Сели они в машину, помахали на прощанье и скрылись. Увезли наше счастье. Слезы выступили у меня на глазах, и, боясь, как бы старуха не заметила этого, поспешил я за машиной, повторяя:

— Счастливого пути вам, светлой дороги...

Вечером, когда затихает все на земле, я устраиваюсь возле своей старухи и, словно сказку о вечной юности, рассказываю ей:

— ...и вернутся они к нам с тремя сыновьями, и снова у нас будет три счастья, три солнца... Старшего назовем в честь старшего, среднему дадим имя среднего, а младшего...

И тело мое полнится силой жизни, а душа — радостью...

## Содержание

---

Земля пребудет вовеки . . . . . 3

### Повести

Тепло очага . . . . . 7

Дети великого Гаго . . . . . 81

Белые стихи , . . . . 176

### Рассказы

Начало биографии . . . . . 211

Пока катится колесо . . . . . 223

Дорога . . . . . 237

Три солнца, три счастья , . . . . 250

**Григорий Харитонович  
Бицоев**

**ТЕПЛО ОЧАГА**

**Повести и рассказы**

---

Редактор **Н. Гавриловец**  
Художник **В. Шорц**  
Художественный редактор **Б. Мокли**  
Технический редактор **В. Никифорова**  
Корректоры **Н. Попикова, О. Голсва**

Сдано в набор 17/VI—1974 г. Подписано  
к печати 24/X—1974 г. А07011. Формат  
бум. 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1. Печ. л.  
8. Усл. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 13,32.  
Тираж 100 000 экз. Заказ № 2344. Цена  
64 коп.

Издательство «Современник» Государст-  
венного комитета Совета Министров  
РСФСР по делам издательств, полиграф-  
фии и книжной торговли и Союза писа-  
телей РСФСР  
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика № 1 Росглавополи-  
графпрома Государственного комитета  
Совета Министров РСФСР по делам из-  
дательств, полиграфии и книжной тор-  
говли, г. Электросталь Московской обла-  
сти, ул. им. Тевосяна, 25,

